ISSN 0130-6464

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2010

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

“МЕЖДУ ВОЙНАМИ: ПРОЗРЕНИЯ И ПОИСКИ”

Основан в 1955 году

[8]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Между войнами: прозрения и поиски

Свидетельства времени

3 Сельма Лагерлёф *Мемуары ребенка. Морбакка* II. Главы из книги. Перевод со шведского и вступление Татьяны Линденер

34 Эрнест Хемингуэй *Очерки.* Перевод с английского Елены Фельдман

41 Антуан де Сент-Экзюпери *Трагическая гибель самолета "Максим Горький".* Репортаж. Перевод с французского М. Кожевниковой

44 Зигмунт Хаупт *Рассказы.* Перевод с польского и вступление К. Старосельской

61 Лёринц Сабо *Стихи.* Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

67 Владимир Познер *Разъединенные Штаты.* Фрагменты записных книжек. Перевод с французского Л. Пружанской

100 *"Разъединенные Штаты": книга отчаяния, книга надежды.* Интервью Ноама Хомского. Перевод с французского Л. Пружанской

Вглубь стихотворения

105 Редьярд Киплинг *Soldier, soldier.* Переводы с английского. Вступление В. Скороденко

№

116 Симона Вейль *Дружба.* Глава из трактата "Формы неявной любви к Богу". *Из переписки.* Перевод с французского и вступительная статья Петра Епифанова

В поисках новой эстетики

162 Альфред Дёблин *Горы моря и гиганты.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой

197 Роже Витрак *Виктор, или Дети у власти.* Пьеса. Перевод с французского и вступление Татьяны Чугуновой

258 Г.К. Честертон *Критик.* Фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу". Перевод с английского Т. Казавчинской

Ничего смешного

268 Михаил Матвеев *В "Глоб" по Стрэнду – с Вудхаусом*

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Е. А. Полякова
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Сельма Лагерлёф

Мемуары ребенка. Морбакка II

Главы из книги

Перевод со шведского и вступление Татьяны Линденер

Творчество классика шведской литературы, лауреата Нобелевской премии 1909 года Сельмы Лагерлёф отлично известно российскому читателю. В детстве мы с восторгом читали и перечитывали своеобразный учебник географии "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции", который она написала по заказу шведского объединения учителей в годы работы в школе. А повзрослев, зачитывались "Сагой о Йёсте Берлинге", трилогией о Лёвеншёльдах, романом "Иерусалим", новеллами.

Лагерлёф необычайно популярна и любима в Швеции. Она рано, еще в детстве, решила стать известной писательницей — "а мои мечты обычно исполняются", — писала она подруге. Детство Сельмы, домашней, впечатлительной девочки, сильно хромавшей вследствие болезни (хромота останется на всю жизнь), прошло в шведской провинции, где у ее родителей — отставного офицера и учительницы — было имение Морбакка с небольшим хозяйством и работниками. Здесь жила вся семья — родители, пятеро детей, бабушка, тетя, гувернантки, подолгу гостили многочисленные родственники.

© Albert Bonniers Forlag AB 1930
© Татьяна Линденер. Перевод, вступление, 2010

Предки Сельмы владели Морбаккой с XVIII века, и девочку завораживали предания, легенды, мифы и подлинные истории, услышанные от нянь, крестьян и родственников. У каждого здания была своя история, каждая вещь в доме — символ, с которым связаны фамильные ритуалы, — кресло-качалка отца, кровати в тесной детской, обеденный стол, "вечерний стол", стол для игр...

Когда Сельма уехала учиться в Высшую учительскую школу в Стокгольм, ее небогатые родители продали Морбакку и перебрались в город. Для Лагерлёф, которая не завела свою семью, тот родительский дом оставался олицетворением всего, что ей дорого. Едва издав первые книги, Лагерлёф задумалась о возможности вернуть себе дорогую Морбакку. Но... "Делай что угодно, только не выкупай Морбакку обратно", — сказала мама. "У тебя не будет времени на литературу", — твердили друзья. Тетя Луиса сказала: вспомни колодец, и как скребли полы, как стирали в холодной воде, так что юбки стояли замороженные, как надо было постоянно напоминать, чтобы нарубили дрова, — и сравни эти муки с городской жизнью в Фалуне: свет — только щелкнуть выключателем, телефон, водопровод, паркет. Но нет, Сельма была непреклонна. "Что-то есть необыкновенное в воздухе Морбакки, — писала она подруге. — Здесь рождается энергия, но она пропадает, стоит выйти в большой мир. А в Морбакке она лежит, как поле под паром". Большие тиражи первых же книг позволили ей выкупить любимый дом, а Нобелевская премия — и угодья вокруг него. Лагерлёф считала, что почти всем в своей жизни обязана Морбакке — и говорила об этом в своей Нобелевской речи.

С тех пор все доходы Сельмы шли на обустройство поместья. Параллельно у нее зрела идея написать книгу о Морбакке ее детства. Лагерлёф была не вполне уверена в успехе замысла и оправдывала написание воспоминаний тем, что только она может "поднять мертвых из земли". Но уже первая глава, опубликованная в газете "Свенска Дагбладет", неожиданно вызвала множество откликов. После Первой мировой войны, среди бедности и безработицы, ее Морбакка ощущалась островком безмятежности и умиротворенности. Читатели и издатели просили продолжения. Так появились три книги: "Морбакка" (1922), "Мемуары ребенка. Морбакка II" (1930) и "Дневник Сельмы Оттилии Ловисы Лагерлёф" (1932), сразу изданные в Швеции, в Европе и в США.

Первая книга повествует в основном о событиях, произошедших до рождения Сельмы, третья описывает "город в городе" глазами девочки-подростка, живущей у родственников в Стокгольме. А вторая, "Мемуары ребенка" с подзаголовком "Морбакка II", воссоздает тот самый особый, безмятежный и незыблемый мир Морбакки, который так полюбила Лагерлеф. Двадцать четыре главы, практически самостоятельные повествования, описывают разные стороны жизни семьи и переживания маленькой Сельмы. Действие происходит в 1860-х годах в провинции Вермланд. Сегодня мы представляем пять глав из этой книги. Для Сельмы Лагерлёф Морбакка была идиллией. Покажется ли она идиллией современному читателю?

Омбергсхедская ярмарка

ПОСЛЕ отъезда тетушки Наны Хаммаргрен на усадьбе началась горячая пора. Надо было и хмель собрать, и яблоки, и меду нацедить, и хрустящих хлебцев напечь, и все перестирать — а на все про все лишь пара-тройка дней. Ума не приложу, как тетя Лувиса с экономкой и прислугой обернулись, но они все успели — и слепили из воска свечи, и намололи картофельную муку, и сварили легкое пиво, и почти сорок литров сидра. Правда, мы, дети, конечно, тоже то и дело заглядывали на кухню и помогали, чем могли.

Потом забивали овец и голубей тоже — их расплодилось больше сотни, и всех каждый день приходится кормить, для нас это чересчур. Когда забивают голубей, папа целый день ходит сам не свой. Он, конечно, понимает, что голубей развелось слишком много, но ничего не может с собой поделать. Он их так любит, что готов часами любоваться ими. Наверняка, он бы предпочел, чтобы их сожрал ястреб.

Все надо успеть в сентябре, до большой Омбергсхедской ярмарки, которая начинается в Сунне в первую пятницу октября и заканчивается к концу следующей недели: к ярмарке со всеми хлопотами надо разделаться. Но вот настает канун первого ярмарочного дня: весь дом прибран и отдраен, а в окна вставлены вторые рамы, как на Пасху или в Рождество.

Мне даже кажется, что канун ярмарки, как мы называем день перед ее открытием, — чуть ли не самый торжественный день в году. Кругом тишина и покой, на пол постелены новые коврики, медные кастрюли и кофеварка отливают красным блеском. А от двойных стекол в окнах в доме становится особенно тепло и уютно. И все вокруг делаются дружелюбными и словно ждут каких-то радостных событий.

Папа в сентябре тоже не сидит сложа руки. К нему приезжает инспектор Нюман, и они уединяются внизу в конторе и начинают подсчитывать доходы и расходы за целый год.

Потом папа приносит из банка в Карлстаде увесистые пачки денег и вечером накануне ярмарки раздаем всем жалованье. Первым из работников в контору заходит Ларс по прозвищу "Лондонец", затем по очереди все остальные — управляющий и кучер, мальчик-конюх и мальчик, который пасет овец, за ними экономка и все служанки. В конце подходит очередь гувернанток. А напоследок заходим мы, дети, и полу-

чаем по риксдалеру, чтобы нам было что потратить на следующий день.

И только экономка всегда отказывается от наличных, она просит, чтобы папа положил деньги ей на счет. А служанки выходят из конторы разрумяненные и сияющие, с новыми хрустящими купюрами в руках, а потом целый вечер подсчитывают, что они смогут на них купить.

Конечно же, насчет покупок все советуются с мамой или тетей Лувисой. А няня Майя делится с мамой, что хочет купить черные перчатки, чтобы ходить в них в церковь. На что мама отвечает, что Майе не стоит покупать такие дорогие перчатки, она и без них хороша, и даже в черных садовых рукавицах выглядит красавицей.

Ближе к вечеру дорога становится оживленной. Многим приходится проделать долгий путь. Крестьяне, которые едут издалека, из Рансетера и Уллерюда, и даже из Роды и Экскерада, прибывают заранее. Кто-то добирается пешком, кто-то на повозках, и почти все ведут с собой лошадей, или коров, или коз, или овец на продажу. Это большая радость для нас, детей. Люди нас не интересуют, идут себе и идут, едут и едут. Ничего особенного. Другое дело — козлики, бараны, телята и жеребята, для них, похоже, дорога — настоящее приключение, и мы любуемся ими, до чего же они игривые и забавные.

И вот мы, дети, выходим с Элин Лаурель на аллею поглядеть на ярмарочный народ и стоим довольно долго, а потом к нам присоединяется папа, и тут-то и начинается самое интересное — папа заговаривает с прохожими. Он спрашивает, откуда они, почем у них живность и так далее. Один малый говорит, что его жеребенок до того хорош, что сам папа не сможет удержаться и обязательно купит его. А какая-то женщина плачет и рассказывает, что все зерно на хуторе померзло и теперь ей придется продать свою красавицу телку, которую она выхаживала два года. Но ничего не попишешь — не помирать же ей и детям зимой с голоду.

И разные мошенники тоже спешат на ярмарку. Они едут в маленьких повозках и ведут с собой вереницы лошадей — на обмен и на продажу. У них все лошади гладкие и резвые, но папа говорит, что с этими мошенниками нельзя иметь дела. Ни покупать, ни выменивать лошадей у них нельзя, потому что они дают лошадям арсеник или что-то вроде того, и потому лошади в первый день выглядят здоровыми и ухоженными. А потом сдуваются и становятся тощие и плоские как доски.

Это первый раз, когда Элин Лаурель оказалась в Морбакке во время Омбергсхедской ярмарки, и ее удивляет, что мы

отмечаем это как большой праздник, но ей тоже весело, тем более, что она никогда такого не видела. Она говорит папе: странно подумать, что вот так же точно стекался в этот день народ на ярмарку и много-много лет назад. И в незапамятные времена хозяева Морбакки так же стояли на дороге и заговаривали с ними, как папа сегодня.

— Мне кажется, — говорит она папе, — будто я перенеслась на сто лет назад.

— Неудивительно, — соглашается папа. — Но должен тебе признаться, что Омбергсхедская ярмарка сейчас — ничто по сравнению с ярмарками моей молодости. Тогда вечерами накануне ярмарки Морбакка превращалась в настоящий постоялый двор. Торговец Кьеллин из Омола, который был женат на моей сестре Каролине, привозил сюда несколько повозок с товаром, да еще с ним были разные лавочники, и все они тут ночевали, пока ярмарка не закончится, а продолжалась она самое малое неделю. И знакомые моего отца один за другим приходили и просились на ночлег, потому как больше им негде было переночевать, кроме как в своей повозке. И у хозяев во Фриксдалене существовал обычай: каждый по очереди угощал всех приезжих в старом здании, оно находилось на Торговой площади и называлось "Салон". Ох и нелегко приходилось маме, когда наступал ее черед готовить на всех еду. Понимаешь, самые знатные купцы из Карлстада, Филипстада, Кристинехамна и Омола в то время сами ездили по ярмаркам, и они любили поесть — сытно и вкусно. А нынче, как понастроили всех этих лавок да крытых рынков, пришел конец давним традициям и веселью.

Мы начинаем замерзать, потому что стоим на аллее уже очень долго. Чтобы согреться, нам нужно немного размяться, и мы идем вверх по дороге. Папа идет с нами, ему тоже невмоготу стоять на осеннем холоде. Они с Элин Лаурель идут рядом и вспоминают давние благословенные времена в старом Омбергсхеде. И он рассказывает свои маленькие истории, и нам становится весело.

Но как только мы доходим до высокого темного пригорка к северу от пасторской усадьбы, папа останавливается.

— Странно, — говорит он. — Вот ты, Элин, только что вспоминала, как я и все, кто жили в Морбакке, в этот вечер выходили встречать гостей и заговаривали с приезжими. А я как сейчас вижу перед собой моего отца. Как он стоял однажды ровно на этом месте в канун ярмарки. Хотя если подумать — нет, не в канун, но точно в один из ярмарочных дней. — Папа приподнимает шляпу и проводит рукой по лбу,

словно хочет освежить свою память. — Вот как это было. Мы вышли из дома: отец, моя сестра Нана и я — поглазеть на ярмарочный люд. Отец всегда так делал, я у него перенял эту привычку. Значит, это было не накануне открытия ярмарки и не в первый день, когда отец обычно ездил в Сунне и накупал там всякой всячины. Нет, должно быть, это было на второй день, под вечер, когда народ, все продав и купив и закончив дела, разъезжался кто куда.

— Ты, дядя, был тогда еще мальчишкой? — спрашивает Элин Лаурель.

— Да нет, представь себе, мне было в ту пору больше двадцати, как и Нане. Почему я был дома той осенью, я не помню. Обычно я выезжал на работы, меня туда посылали от управы по землеустройству, но отец, видно, начал стареть, понемногу сдавать, и ему понадобилась помощь с бухгалтерией. Он, кстати, тогда заключал гораздо более крупные сделки, чем я сейчас. Так вот, мы стояли на аллее и смотрели на проезжающий люд, и начали замерзать, а потом отправились пройтись по дороге, точно как мы сегодня. Нана шла, держа отца под руку. Они всегда очень ладили. Он любил ее больше всех нас.

— Она ведь была очень красивая? — спрашивает Элин Лаурель.

— Да, она была очень хороша собой. К тому же смешливая и жизнерадостная, так что папе не приходилось с ней скучать. Но дайте вспомнить! Да, это было, наверно, в начале сороковых, Нана еще не была ни замужем, ни помолвлена, потому что я хорошо помню, что родители говорили мне, что тревожатся за ее будущее. В ту пору пастор из соседнего Халле стал так стар, что не мог служить и поэтому нашел себе в помощь адъюнкта. Это был молодой статный малый, и мать с отцом стали замечать, что он не прочь поухаживать за Наной и что она тоже к нему неравнодушна. Вообще-то старики не возражали против этой партии: адъюнкт был весьма неглуп, к тому же подавал надежды, из него вполне мог получиться неплохой проповедник. Но до них стали доходить слухи о том, что адъюнкт не дурак выпить, а кому хочется выдать дочь за пропойцу?

— Еще бы, — соглашается Элин.

— Забавно, сколько всего сразу вспоминается, — продолжает папа. — О чем мы разговаривали, когда прогуливались тут с отцом и Наной, не скажу, зато я точно помню, о чем мы думали. Мы шли и все трое думали об одном и том же — проехал ли уже мимо адъюнкт с ярмарки или нет? Отец повстречал его там в первый день, и тот был уже вдрызг пьян. Мы

точно знали, что его не было дома накануне вечером, так что, идя к дому пастора, мы гадали, добрался ли он целым и невредимым домой или продолжает кутить в Сунне. Но мы, конечно, держали эти мысли при себе, потому что это была очень болезненная тема.

— Словом, прогулка выдалась не слишком веселая, дядюшка, — говорит Элин Лаурель.

— Да, веселой я бы ее не назвал. Мне показалось, что Нана встревожена и ей нелегко болтать и шутить с нами, как ни в чем не бывало. Я пытался как мог разрядить обстановку, но у меня ничего не вышло. Время от времени мы останавливались и перекидывались парой слов с приезжими: ведь отец прожил в Морбакке сорок лет, и все его знали. Так не спеша мы миновали пасторскую усадьбу и остановились как раз здесь, на пригорке. — Тут папа оглядывается и показывает тростью на высокие темные ели, окаймляющие дорогу. — Было так же мрачно и уныло, как и сейчас, — говорит он. — Даже, наверное, мрачнее, потому что, мне кажется, деревья тогда были повыше, а дорога поуже и покруче. Едва мы дошли сюда, как увидели, что внизу из-за поворота вынырнула повозка. Мы сразу узнали пасторскую лошадь и пасторского кучера. И, конечно, догадались, по какому делу он ездил в Сунне — его послали разыскать и привезти домой адъюнкта. Ведь это был субботний вечер, и надо было его найти, чтобы он успел проспаться и протрезветь к воскресной службе.

— Дядюшка, ты так увлекательно рассказываешь! — говорит Элин.

— Увлекательно! — сердится папа. — Вы, молодые, так вычурно выражаетесь. А это был кошмар, когда я увидел, что работник едет один, стало быть, ему так и не удалось вытащить адъюнкта. Нана побелела как полотно, а мой старик — полковой бухгалтер — напрягся и рассвирепел, я его никогда таким не видел. Но, представь себе, в тот самый миг, когда повозка проезжала мимо нас, он разглядел темную фигуру на полу повозки и дал кучеру знак остановиться.

— Вот оно что, так ты его разыскал, Ола, — сказал он.

— Да, но гляньте, в каком он виде!

Сказав это, пасторский Ола обернулся и поднял шапку, прикрывавшую лицо адъюнкта. Мы стояли так близко, что не могли не увидеть, но Нана отвернулась и, наверное, убежала бы, если б отец не удержал ее за руку.

— Полюбуйся на него! — сказал он и притянул ее поближе, чтобы вынудить взглянуть на адъюнкта, который валялся опухший, красный, грязный и совершенно неузнаваемый. —

Смотри, смотри! — повторил отец. — Тебе это полезно. Несчастна та женщина, которая выйдет замуж за такого забулдыгу! Мне кажется, что Нана не слушала, что он говорит, она даже не поднимала глаз, пока отец не отпустил ее руку и не разрешил вознице ехать дальше.

— Какой ужас, — сокрушается Элин Лаурель.

— Вот именно. Ты ведь знаешь, что другая моя сестра была замужем за Ваченфельдтом, и отец, конечно, больше всего боялся, чтобы его любимица Нана не повторила ее судьбу. Нана разозлилась, расстроилась, и всю дорогу до дома шла на шаг впереди нас и молчала. Отец насупился, но было заметно, что он все-таки доволен. Наверняка он думал: хорошо, что у Наны раскрылись глаза.

Тут папа замолкает, мы разворачиваемся и идем к дому. Элин идет рядом с ним и они продолжают беседовать.

— Надо же, дядюшка, — говорит Элин. — А я всегда думала, что тетя Хаммаргрен очень счастлива со своим мужем. Никогда бы не подумала, что ей нравился кто-то другой до замужества.

— Возможно, между ними и не было ничего серьезного. По крайней мере, тосковала она недолго. Опять же была ярмарка, и Кьеллин из Омола наведывался в наши края, и мать с отцом уговорились с ним, что он заберет Нану с собой в Омол к сестре Каролине на всю зиму. И там, на юге, она познакомилась с Тиллиусом Хаммаргреном, он тогда учительствовал в мужской школе, с ним-то она и обручилась, когда вернулась весной домой.

Теперь Элин не задает вопросов, но я не могу удержаться, чтобы не расспросить про самое главное:

— Но, папа, что же стало с адъюнктом?

— Ааа, — удивляется папа, — а у тебя ушки на макушке! Что ж, он плохо кончил. Пил, мучился и умер в больнице. Я не знаю точно, как все это произошло, но поговаривали, что он потерял рассудок, потому что тетя Нана больше не хотела с ним знаться.

Теперь я знаю, что кто-то сошел с ума от любви к одной из моих тетушек. Меня словно посвятили в какую-то тайну, и мне это лестно. Мне хочется еще о многом расспросить папу, но я не осмеливаюсь.

Спустя некоторое время я прошу Элин разузнать у папы, о чем прочитала тетя Нана в газете тем летом и почему в тот же день она рассказывала историю про колодец. Но Элин отвечает, что она не собирается ни о чем расспрашивать. Потому что быть любопытным — неприлично.

Игра в карты

На Рождество, когда Даниель и Юхан дома, в Морбакке, и еще приезжает дядя Ваченфельдт, они обычно играют по вечерам в карты с тетей Лувисой. Они играют в игру "преферанс", хотя они называют ее "приффе", и она интересная. Я выучила правила, наблюдая, как они играют. Хотя считается, что только взрослые могут играть в приффе. Ни Анна, ни Эмма Лаурель этого не умеют. Они умеют только в валет, в дурака, комету, пьяницу, черного Петера, голодного лиса, одиннадцать карт, в арлекина и Наполеона.

Но сегодня папа уехал и взял с собой Юхана. Даниель и дядя Ваченфельдт приуныли: как играть-то, раз четвертого нет. Они предлагают маме — мама все умеет, — но она не любит играть в карты и отказывается. И тут тетя Лувиса говорит, что четвертым можно взять Сельму.

— Ни в коем случае, — говорит дядя Ваченфельдт. — Ей всего двенадцать.

— Но, Ваченфельдт, можно же ее научить, — не сдается тетя Лувиса. — Сельма у нас сообразительная. Мы уже играли с ней — Алина, фру Линдегрен из Халле и я.

Итак, я становлюсь четвертой. Я не против, особенно, когда я в паре с Даниелем. Даниель отлично играет, и он всегда в хорошем настроении, независимо от того, выигрывает или проигрывает. И с ним так весело. Он постоянно смешит нас до слез своими шутками-прибаутками. Например: "Кидай червей — сказал рыбак", или "Двум пикам не бывать, а одной не миновать!", или еще что-то в этом роде. Тетушка Лувиса долго сидит и перебирает карты и наконец выкладывает одну из них на стол, но тут же передумывает и решает переиграть. Дядя Ваченфельдт прекрасно знает, как надо играть, ведь в свое время он слыл завзятым картежником, но сейчас у него на одном глазу катаракта, и другим он тоже плохо видит, поэтому иногда ошибается и ходит не той картой. Но Даниель никогда не раздражается, если другие плохо играют.

В начале мне везет, но потом приходят такие плохие карты, что я только скидываю и скидываю. На кону, конечно, ничего нет, но все равно неприятно: Даниель и дядя Ваченфельдт могут подумать, что мне не карта не идет, а я просто плохо соображаю, потому что мне всего двенадцать лет. Но когда мы уже собираемся идти ужинать, мне наконец сдают хорошие карты! Туз, король, дама, валет, десятка пик и пять карт по мелочи. Это десять верных взяток, если я зайду. Кроме того, у меня бубновый туз, дама, и младшая карта червей, но нет ни одной трефы.

После того как я пасовала целый вечер, мне хочется показать, на что я гожусь. Я говорю "приффе", потому что могу при таких картах взять не меньше семи взяток.

Напротив меня сидит Даниель, мы с ним в паре. Справа от меня тетя Лувиса, а слева дядя Ваченфельдт, они играют против нас. После того как я говорю "приффе", тетя Лувиса заходит. Она долго перебирает карты. Наконец, она играет — конечно же, она кидает трефы, которые мне совершенно не в масть. Тут оказывается, что у дяди Ваченфельдта полно крестей, и они с тетей Лувисой берут пять взяток, пока я вынуждена скидывать свои пики. Я начинаю злиться, и мне приходится убрать руку с картами под стол, чтобы никто не видел, как она дрожит. Когда у них наконец заканчиваются трефы, дядя Ваченфельдт заходит с червей, потом тетя Лувиса берет взятку тузом, а я скидываю свою червовую мелочь. Тетя Лувиса тасует карты, смеется и говорит: нам везет, Ваченфельдт. А Даниель, обычно такой невозмутимый, не выдерживает и интересуется, почему я сказала "приффе". Потом тетя заходит червовым валетом, я бью дамой, и дяде нечем крыть, он выкидывает какую-то мелочь, так что взятка вроде бы моя.

На мгновение мне кажется, что я спасена. Теперь я могу разыграть свои пики и бубнового туза и отыграть свои семь взяток. Но Даниель, прежде чем сложить карты, поворачивается к дяде и спрашивает:

— Дядя, а почему ты не побил Сельмину даму? У тебя же король!

Дядя Ваченфельдт поднимает карты к глазам и разглядывает их сквозь большие выпуклые очки.

— Да, приятель, точно, я его и не заметил, — говорит он, — но ничего не попишешь, что сделано — то сделано.

— Ладно уж, — смягчается Даниель. — Конечно, ты можешь переиграть, раз ты плохо видишь.

Я понимаю, что Даниель поступает справедливо, предлагая дяде переиграть. Но я так хочу выиграть, что не могу его поддержать.

— Ты не слышал, дядя сказал: что сделано, то сделано, — вмешиваюсь я.

Но Даниель словно меня не замечает и не слышит.

— Ходи королем, дядя, — говорит он и протягивает ему ту мелочь, которую он выкинул по ошибке. И дядя выкладывает короля, а Даниель свою червовую масть, и взятка уходит к соперникам. Теперь у них семь взяток, а у меня никаких шансов отыграться. Тетя Лувиса протягивает руку, чтобы забрать

карты, и тут у меня лопается терпение. Я кидаю карты на стол.

— Я не хочу больше играть, — кричу я и поднимаюсь из-за стола. — Вы жульничаете!

Я так зла, так зла, что кровь буквально кипит во мне. И я искренне считаю, что дядя Ваченфельдт — мошенник и шулер. Я довольна, что швырнула карты на стол и высказала ему это. Да и Даниель ему под стать. Порядочным людям не следует садиться играть с ними в карты.

Но в Морбакке не часто случается, чтобы кто-то кидал карты на стол и кричал, что все кругом жулики. Поднимается переполох. Мама, которая сидит за соседним столом и разгадывает с Анной и Гердой шарады, вскакивает и подходит ко мне. Я вцепляюсь в нее:

— Мама, они мошенники, — кричу я, прижимаясь к ней и заливаясь слезами. — Мама ничего не говорит — она не защищает и не ругает меня. Она крепко хватает меня за руку и выводит из столовой. Мы проходим через прихожую, наверх по лестнице и потом в детскую. Я рыдаю, потом опять срываюсь на крик: — Они мошенничали, мама, они мошенничали.

Но мама молчит.

Когда мы приходим в детскую, мама зажигает свет и начинает стелить мою постель.

— Раздевайся и ложись! — говорит она.

Но я не ложусь, а сажусь на стул, реву и повторяю:

— Дядя Ваченфельдт жульничал!

И пока я это повторяю, со мною что-то происходит. Мои глаза словно выворачиваются наизнанку. Вместо того чтобы смотреть наружу, в детскую, как обычно, они теперь смотрят внутрь. Внутрь меня. И что же они видят — огромную пустую полутемную пещеру с намокшими стенами и дном, напоминающим болото. Просто ил и грязь — и ничего больше. И эта пещера заключена внутри меня. Я, не отрываясь, смотрю туда, вниз, и замечаю, что что-то начинает шевелиться там, на липком грязном дне. Что-то хочет вылупиться. Теперь я вижу большую страшную голову с открытой пастью, на лбу у страшилища выступают рога, а сзади я различаю тело в чешуе с высоким гребнем вдоль спины и короткими сильными передними лапами. Это чудище напоминает дракона, с которым святой Йоран сражается в Большой церкви в Стокгольме, только этот, мой, еще больше и еще ужаснее.

Я никогда не видела ничего и никого страшнее этого чудища, и мне жутко, что оно живет внутри меня. И я начинаю догадываться, что раньше оно хоронилось во мраке и грязи

и не смело даже шелохнуться, а теперь, когда я позволила гневу взять надо мной верх, оно ожило и вот подняло голову.

Я вижу, как оно карабкается вверх. Его длинное чешуйчатое туловище постепенно распрямляется и высвобождается из плена. Представляю, как оно сейчас ликует, что может вырваться из мрака и грязи.

Скорее, мне нужно спешить, пока чудище не успело распрямить свое длинное туловище, тогда я уже не смогу загнать его назад в темницу.

Я спрыгиваю со стула и раздеваюсь. Я больше не плачу, я молчу и очень боюсь того, что увидела.

Я ложусь в кровать, как только мама ее расстилает, и, когда она укутывает меня одеялом, я беру ее руку и целую.

Мама садится на край кровати. Она видит, что я больше не злюсь, и, может быть, понимает, что я испугалась саму себя, ведь мама знает все.

– Завтра ты попросишь у дяди Ваченфельдта прощения, – говорит мама.

– Да, – сразу соглашаюсь я.

Мама сидит молча. Я лежу и думаю об огромном чудовище, которое живет внутри меня, и даю себе клятву, что больше никогда не буду злиться. Пусть оно остается там, на дне, до самого конца моих дней. Его нельзя выпускать на волю. Не знаю, о чем думает мама. Ей бы отругать меня, но она не ругает. Она все знает и, наверное, знает и то, что этого сейчас даже не требуется.

Потом она спрашивает, не хочу ли я есть, но я не хочу, я не могу ничего есть.

– Тогда прочитай молитву, я посижу с тобой, пока ты не уснешь, – говорит мама.

Пастор Унгер

Вечером, когда мы садимся ужинать, Алина рассказывает красивую историю о пасторе Унгере. Я радуюсь, когда папа или другие говорят, что он опять поступил достойно, потому что мне нравится пастор Унгер. Из всех, кто навещает папу, пастор Унгер мне кажется самым славным и самым веселым. Обычно пастор Унгер приезжает к нам семнадцатого августа, на день рождения папы, и когда мы принимаем гостей. Но в отличие от всех остальных, он появляется и тогда, когда никто другой не осмелился бы к нам приехать. Удивительным образом он всегда умудряется вычислить самый неподходящий для визита день – например, в предрождествен-

скую суматоху, когда еще ничего не готово и не прибрано. Зато если прислуга скребет пол в спальне, ползая на коленях, а мебель из спальни вытащена в прихожую, и еще две нанятых поломойки лежа скребут пол в гостиной, вытащив мебель оттуда в столовую, мама стоит на кухне по одну сторону от печи и лепит рождественские витые булки, а по другую сторону экономка замешивает тесто для ржаного хлеба с пряностями, тетя Лувиса освобождает место в комнатке при кухне, чтобы вместиться там со мной и Гердой и печь маленькие булочки, когда на нас заношенная, застиранная одежда и большие фартуки, а папа сидит в столовой, замурованный между мебелью из гостиной и мебелью из комнаты при кухне, то мы твердо знаем — пастор Унгер вот-вот нагрянет.

Когда он заезжает в своей двуколке к нам во двор, мы начинаем ворчать, что только постороннего не хватало в такой день, и говорим папе, что придется ему идти встречать пастора, так как мы не можем показаться в такой одежде. Мы, конечно, ропщем, но не так, как если бы приехал кто-нибудь другой.

Папа спускается по лестнице и кричит пастору Унгеру, что самое верное — развернуться и ехать обратно, не выходя из экипажа, так как в доме нет ничего, кроме пекущих и скребущих теток. Но пастор Унгер ничуть не пугается, а выпрыгивает из экипажа и поднимается по лестнице навстречу папе.

— Ах вот как, у вас тоже генеральная уборка, — говорит он. — Понимаю. Мария взялась за это так рьяно, что я был вынужден спасаться бегством.

И они с папой проходят в столовую. Папа садится, как всегда, в свое кресло-качалку, а пастор Унгер находит самый плохой стул и придвигает его к папиному креслу. Еще не успев даже сесть, он начинает рассказывать веселые истории.

Но очень скоро пастор Унгер появляется на кухне.

— Я слышал, что Луиза и Лувиса не осмеливаются выйти ко мне, — говорит он, — так что деваться некуда, пришлось мне идти к вам самому.

И если у них руки в тесте, вместо рукопожатия он дружески хлопает их пару раз по плечу, так, что шлейф мучной пыли поднимается в воздух. И он говорит экономке, что, видно, Рождество не задалось, раз ржаные буханки плоские как блины. А экономка отвечает, что у него явно что-то неладно с глазами, если он не видит, что буханки круглые, как брюшко у пробста[1].

1. Старший пастор протестантской церкви. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Он передает приветы маме и тете Лувисе от Марии, озирается вокруг и говорит:

— Да вы тут одеты просто как королевы, по сравнению с тем, как выглядят сейчас мои домашние.

И он напрашивается на угощение, и ему дают попробовать имбирное печенье. Ничего вкуснее для пастора Унгера на свете нет. Потом он проверяет, поднялись ли дрожжи в кадке, приближается к печи и поднимает крышки у всех кастрюль. Удастся ли ему сегодня вкусно отобедать или же придется уехать не солоно хлебавши. Наконец, он опускает мешалку в кадку с мукой и обсыпает ею нас, детей. А нам только того и надо. Мы хватаем деревянные ложки, которыми обычно размешиваем тесто для булочек, и начинаем обсыпать его мукой. На кухне разворачивается настоящая мучная война. Мы кричим и хохочем, противни летят на пол, и покупная пшеничная мука тонкого помола облаком вздымается в воздух. Тетя кричит: уж брали бы вы хотя бы домашнюю муку, но мама выводит пастора Унгера из кухни.

— Я прекрасно понимаю, почему Мария была вынуждена отослать Альфреда в такой день, — говорит мама. — Только такого проказника не хватает в предрождественской суете.

— Вот именно! И только представить себе, что этот сумасброд — еще и пастор! — бубнит под нос экономка, тихо, так, чтобы пастор Унгер не расслышал.

Перед обедом нам надо немного привести себя в порядок, все ворчат, что пришлось прерваться, но сдается мне, что и мама, и тетя Лувиса рады немного передохнуть.

Уж не знаю даже, кто еще умеет так увлекательно рассказывать, как пастор Унгер. Я с удовольствием слушаю его байки. Вот только папа, который слушает его уже два часа, явно устал, тем более что он не совсем здоров нынче зимой. За обедом папа молчит и предоставляет маме и тете Лувисе беседовать с пастором Унгером.

Как только мы садимся за стол, пастор Унгер заговаривает о том, что ему придется уехать из Западного Эмтервика. У него такие мизерные доходы, что он просто не может свести концы с концами. Это он говорит каждое Рождество, сколько я себя помню, так что нам, детям, трудно удержаться от смеха, когда он заводит обычную песню.

Но мама отвечает вполне серьезно: было бы жаль потерять такого соседа, как он, и интересуется, в каком приходе он будет искать место. Тогда пастор Унгер перечисляет все свободные в этом году приходы, и еще те, которые освободятся в следующем году, и те вакансии, на которые он не подал в прошлом году. И хотя мама не задает вопросов, он рас-

сказывает о преимуществах и недостатках разных мест и как там обстоят дела с жильем и заработком. Он знает, где плохие угодья, а где вырублен лес, и в какой конюшне гнилой пол, и в каком доме прохудилась крыша. И он такой острослов, что слушать его — одно удовольствие, о чем бы он ни говорил. Но мне нравится не только то, что он такой неунывающий, но и то, что я узнаю так много нового из его рассказов. Перечислив приходы и доходы, он переходит к пасторам, которые могут претендовать на те же места, что и он, и рассказывает об их регалиях и экзаменах, и о выслуге лет, и о том, как они служат и как проводят церковные собрания.

Мне очень нравится слушать о пасторах и о приходах. Я никогда от этих рассказов не устаю.

Не знаю, что думает мама, но она не перебивает его до самого десерта. Когда обед подходит к концу, мама говорит:

— Не могу поверить, что Альфред уедет из Западного Эмтервика.

— Но я просто вынужден, — отвечает он и разводит руками. — У меня практически нет никаких доходов. Иногда нам просто нечего есть.

— Охотно верю, — соглашается мама. — Но я думаю, что Альфред слишком привязан к Западному Эмтервику, чтобы уехать. И все здесь так любят Альфреда и Марию! Это видно и по новому дому, который прихожане построили для вас. У кого еще из пасторов такой чудесный дом, скажите на милость? — Пока мама говорит так серьезно и пространно, все замолкают и слушают ее, потому что мама не так уж часто произносит длинные речи. И пастор Унгер тоже молчит. — Альфред говорит, что получает мало денег, — не унимается мама. — А ты вспомни все эти телячьи отбивные, щуки, сырные пироги и горшочки с маслом, которые тебе приносят на кухню! Разве этого мало?

— Да, да, — соглашается пастор Унгер. — Луиза, конечно, права.

— Альфред и Мария умеют довольствоваться малым, — говорит мама. — Мы обычно удивляемся, как вы справляетесь. У пастора Линдегрена здесь в Халле примерно такой же доход, как у вас, но у них нет такого экипажа, как у вас. И они, конечно, не общаются с господскими семьями в Сунне и Эмтервике и не устраивают званых вечеров, как вы в Западном Эмтервике.

После маминой отповеди пастор Унгер отодвигает тарелку, облокачивается на спинку стула и слегка озадаченно оглядывает сидящих за столом.

— Да, Луиза, конечно, права, — говорит он. — Я, наверное, отсюда не уеду, пока не освободится Гуннарскуг. Но, понимаешь, туда я должен буду подать прошение, потому что Унгеры служили там испокон веков и меня там знает каждая собака.

— Ах, вот как, — говорит мама, вставая из-за стола. — Что ж, будем надеяться, что гуннарскугский пастор проживет еще много лет.

Алина уже перебралась в Западный Эмтервик и вот приехала нас навестить. Это было в тот год, когда пастор Унгер не появился у нас, как обычно, накануне Рождества. Поэтому когда мы садимся ужинать, папа спрашивает у нее, как обстоят дела у ее дяди:

— Уж часом не заболел ли он? Он не приехал к нам на этот раз по своему обыкновению в самый суматошный день накануне праздника.

— Нет, он здоров, — отвечает Алина, — но у него было столько треволнений. Дядя ведь знает, что старый пастор из Гуннарскуга умер этой осенью?

— Ох, неужели Гуннарскуг освободился? — восклицает мама. — Тогда твоему дяде не встретить старость в Западном Эмтервике.

— Почему же, — говорит Алина, — он никуда не уезжает.

— Но это единственное место, куда он хотел бы переехать, — говорит мама, — и там все точно проголосовали бы за него.

Алина соглашается: да-да, ее дядя хотел бы перебраться в Гуннарскуг. Там он провел детство, там он всех знает, и там такая красота, как в раю. Он постоянно жаловался на условия жизни и мизерные доходы, и многим могло показаться, что он только и мечтает о том, как бы получить выгодное место, но Алина уверена, что, даже если бы у него был бы самый лучший приход, такой, как Сунне или Карлскуг, он бы все равно предпочел Гуннарскуг.

— Да, — откликается папа, — и почему же он не подал? Неужели ради прихожан Западного Эмтервика, которые отстроили для него такую большую усадьбу?

Нет, Алина так не считает. Дядя давно говорил своим прихожанам, что будет проситься в Гуннарскуг, как только освободится место, так что в Эмтервике знали, на что шли, когда строили ему дом. Но они все равно построили ему большой добротный дом в благодарность за то, что пастор помог им в неурожайный год.

— Да, верно, припоминаю, — соглашается папа. — Он взял заем, чтобы купить им семена и обеспечить их работой. По мне, так он сделал для них столько же, сколько они для него. Он им ничего не должен.

— Видите ли, дядя, — продолжает Алина, — пастор в Гуннарскуге давно болел и был не в состоянии вести богослужения. Последние четыре года у него служил адъюнктом немолодой семейный пастор, который много лет тянул свою лямку, не жалея сил. Но у него не было постоянного места. Он беден, у него жена и четверо детей. Дядя Альфред решил, что адъюнкт теперь, конечно, надеется получить этот приход. Он проработал там четыре года, и ему это очень нужно. У него никогда не было своего угла, он даже был вынужден разместить жену и детей на хуторе у крестьян.

— Да, такой узел трудно развязать, — говорит папа.

— Дядя только об этом и говорил, — продолжает Алина. — Он никак не мог решиться. Ни тетя Мария, ни я не знали, как ему лучше поступить. Гуннарскуг притягивал его как магнит, но он не хотел перейти дорогу другому пастору, старому и нищему. Это ложка дегтя в бочке меда, повторял он. Поэтому мед уже и не так сладок. И все-таки за день до окончания срока подачи заявлений он поехал в Карлстад, и мы решили, что он подаст заявку.

— Дорогая, продолжай, — говорит Элин. — И что же было дальше?

— Срок подачи истекал в полдень, — говорит Алина. — И в одиннадцать часов дядя зашел в консисторию. Они там, похоже, прождали его целое утро, и как только он появился, нотариус вызвал его подавать бумаги. Оставался ведь только час. Но дядя Альфред никаких бумаг доставать не стал. Он сел и начал что-то рассказывать, а время шло. Когда часы пробили полдвенадцатого, нотариус начал его поторапливать.

— Ты ведь не упустишь такой шанс, Альфред? — сказал он — Ты ведь не мальчик, не можешь же ты всю жизнь сидеть в капелланах.

— О, я так доволен Западным Эмтервиком, — ответил дядя Альфред и даже не шелохнулся. А время шло и шло.

— Какой человек! — восхитился папа. — Так он сидел с прошением в кармане и не доставал его?

— Нет, не доставал, — отвечает Алина.

Когда часы пробили три четверти, у нотариуса лопнуло терпение. Он протянул руку к нагрудному карману дяди Альфреда.

— Ведь бумаги у тебя здесь! — сказал он. — Так достань же их! — Дядя отшутился, мол, не мог же он пуститься в дорогу с пустым кошельком, и продолжал в том же духе. Он расписывал, как Марии нравится в новом доме в Западном Эмтервике. — В Гуннарскуге ей тоже понравится, — сказал нотариус. — Тамошний приход с нетерпением ждет тебя. Ты станешь их настоятелем.

Но как он ни уговаривал дядю, все впустую. Наконец часы пробили двенадцать. Тогда дядя поднялся, сунул руку в карман, достал стопку бумаг — это было его прошение о переводе в Гуннарскуг. Он опустил руку, и бумаги уже коснулись стола, но с последним ударом часов он поднял руку и сложил бумаги обратно в карман. Затем не говоря ни слова надел пальто и шляпу и вышел.

— Какой человек, — повторяет папа.

— Да, но это бы еще полбеды. Дальше хуже. В Гуннарскуге никто не сомневался, что дядя Альфред подаст заявление. Поэтому они ничего не предпринимали заранее. Но когда они узнали, что он отказался, тут же составили прошение. А на прошлой неделе оттуда снарядили целую депутацию. Пришли самые зажиточные бонды, крепкие статные парни, дядя знал их всех и знал все о каждом. Они сказали, что хотят пригласить его теперь вице-пастором. Они заверили, что все до единого проголосуют за него, лишь бы он согласился. Я слышала, как они просили и уговаривали его. Поверьте, это было очень трогательно. Они, конечно, не встали на колени, но умоляли так, словно речь идет о жизни и смерти. Им так нужен духовный наставник. Ведь последний пастор болел, долго был прикован к постели, и приход, по сути, был брошен на произвол судьбы. Дядя, конечно, был растроган. Все эти знакомые лица напоминали ему о былом, о том, чем он так дорожит. И им действительно позарез нужен был толковый проповедник! Я даже не представляла, что он может отказать.

— Неужели он отказался только ради старого пастора? — спрашивает Элин.

— Ну да, ведь тот подал прошение и числился в кандидатах, и дядя Альфред решил, что если он откажется, то выберут того, другого. Фермеры Гуннарскуга пытались убедить дядю, что они не хотят старого пастора. А дядя ответил, что надеется, что они изменят свое мнение. Нет, они его не изменят. У них уже довольно долго был немощный пастор. И этот тоже старый и больной. Если дядя отказывается ради него, то совершенно напрасно.

— Но он так и не согласился? — уточняет папа, и я замечаю, как дрожат морщинки у него под глазами, так бывает, когда он пытается сдержать слезы.

— Нет, не согласился. Но после визита гуннарскугских фермеров он не сомкнул ночью глаз. Я слышала, как он ходил по кабинету взад-вперед, взад-вперед.

— Вот ведь какой человек, — повторяет папа в третий раз.

— А мне кажется, им следовало бы назначить его епископом, — говорит тетя Лувиса.

Мы все радостно соглашаемся и кричим, что она совершенно права. Мы так счастливы, что тот, кого мы знаем, повел себя благородно, и никак не можем успокоиться и заставить себя отправиться спать.

И потому я нисколько не обиделась на Алину. Хотя, конечно, то, что она сказала мне во время нашей послеобеденной прогулки, могло бы меня огорчить. Но я и тогда приняла это не очень близко к сердцу, а теперь и вовсе забыла. Если бы я только смогла хотя бы однажды совершить такой достойный поступок, как пастор Унгер, это было бы гораздо лучше, чем написать самую замечательную книгу на свете.

И все же, когда я наконец отправляюсь спать, я начинаю мечтать. Вот я сижу и пытаюсь написать книгу, прославляющую пастора Унгера. То есть я уже пишу, и у меня все получается, как вдруг входит тетя Мария Унгер и говорит, что лучше всего мне оставить это занятие, потому что я не способна хорошо писать. Это она слышала от многих и не раз.

И ее слова меня страшно огорчают. Мне кажется, что я умираю. Я просыпаюсь от того, что слезы текут по моему лицу. Я, конечно, понимаю, что это был только сон, но мне все равно тяжело на сердце, оно бьется так, словно хочет выпрыгнуть из груди, и ноет еще несколько часов. Хотя я не могу знать точно, потому что лежу в темноте и часов не видно.

Я не могу понять, почему слова тети Марии Унгер так больно ранили меня. Ведь это было во сне. И ведь меня нисколько не задело, когда то же самое сказала мне Алина.

Я ворочаюсь с боку на бок, сильно-сильно прижимаю руки к сердцу, но оно все равно бьется часто-часто и ноет. В конце концов я говорю ему, что не надо так огорчаться, потому что я все-таки буду писать книги, когда вырасту, и я не позволю никому себя напугать.

И после того как я повторяю это сердцу несколько раз, оно начинает успокаиваться, перестает ныть, и я опять засыпаю.

На следующее утро, еще лежа в постели, сонная, я говорю сама себе: "Я все равно буду писать романы, когда вырасту. Это мое призвание".

И я так счастлива, так рада, что все решено. А раньше, еще до того как Алина пыталась меня отговорить, я сомневалась. Но теперь я точно знаю — все так и будет.

Поездка в церковь

Нам очень нравится ездить в церковь.

Чтобы попасть на площадь перед церковью, надо преодолеть крутой подъем, но кучер так погоняет лошадей, что мы мчимся во весь опор. Церковь окружена невысокой оградой, и на нее обычно садятся прихожане в ожидании начала службы. Увидев, что едут господа из Морбакки, они встают и кланяются или приседают в книксене, и нам это тоже очень нравится. На дороге и на площади у церкви полно народу, и все кидаются врассыпную, когда мы проносимся мимо.

Мама кричит кучеру, чтобы он ехал осторожнее, но папа сидит спокойно, он держит в руках шляпу, здоровается направо и налево и только усмехается — он знает, что Янссон никогда никого не переедет.

Мы останавливаемся у приходского дома, где есть комнатка, где любой может причесаться и привести в порядок одежду после поездки, хотя никто, кроме господ, этого и не делает. Там, в домике, мы обычно встречаем тетю Августу Валлрут с Хильдой и Эмилией и фру Нильссон из Вистеберга с Эмили и Ингрид. Пока мы в доме, мы шутим и болтаем обо всем на свете. Но когда мы выходим на площадь, то умолкаем и напускаем на себя строгий серьезный вид — так принято в Восточном Эмтервике.

Мама всегда едет в церковь с большим букетом и, выйдя из приходского дома, отправляется на кладбище положить цветы на могилу бабушки, и мы с Анной, конечно, идем с ней. Мама сгребает листву и расчищает белый куст шиповника над могилой, читает молитву и кладет букет с цветами.

У меня была сестричка, которая умерла и которую я никогда не видела, но папа и мама очень ее любили. Она похоронена рядом с бабушкой, и мама обычно вытаскивает из букета пару самых красивых цветов и втыкает их в холмик, заросший травой.

Я понимаю, почему мама все это делает, но сомневаюсь, неужели ей и в самом деле хотелось бы иметь еще одну дочь. Мне кажется, что у нее и так полно хлопот, ей и сейчас приходится стирать, штопать, готовить, вязать и обшивать Анну, Герду и меня. И мне кажется, будь у нее еще одна дочь, она бы просто не выдержала.

С кладбища мы идем прямо к церкви, и, если мама встречает какую-нибудь знакомую хуторянку, например, Катрину из Вестмира, или Бритту из Гаты, или Катрину, дочь Йона Ларссы из Оса, или Майю из Престбола, или Черстин из

Нижней Морбакки, она останавливается перекинуться парой слов. Мама бывает у них на похоронах и свадьбах, так что она всегда знает, как их дела и что сказать каждой.

В церкви мы, конечно, садимся на первом ряду на хорах, где обычно сидят господа. Мы всегда сидим на левой стороне. А на правой нам нельзя сидеть, это мужская сторона.

Если женская сторона вся занята, а через проход, на мужской, полно пустых мест, там все равно нельзя сесть, лучше уж простоять всю службу.

Мы заходим, склоняем головы и читаем молитву, а потом садимся и осматриваемся. Мы проверяем, сидит ли дьякон Меланоз за органом и присутствует ли рядом с ним, как обычно, господин Альфред Шульстрём, который держит лавку в Эльввике, и заняли ли церковные старосты свои места на маленькой скамейке у алтаря, и сидит ли фру Линдегрен из Халлы на скамье для семьи пастора прямо под кафедрой проповедника. Мы замечаем, что Ян Аскер, церковный сторож, стоит у дверей в ризницу, ожидая, пока все прихожане войдут, чтобы можно было начать службу. А еще мы смотрим, проставлены ли номера псалмов на черной доске и высовывается ли пола сюртука кальканта из-за органа, чтобы убедиться, что он на месте. И после того как мы внимательно все разглядываем, нам уже практически нечего делать целую службу.

Конечно, сидеть на галерее — почетно, но на этих местах не слышно, что говорит священник внизу. Впрочем, первую часть службы до исповеди мы еще слышим, но потом складывается такое впечатление, словно стены и потолок поглощают звук. Слышно, что что-то говорят, но слов не разобрать. По крайней мере мы, дети, не можем.

Когда играет орган, мы, конечно, слышим, но особой радости не испытываем, потому что никто не осмеливается петь в церкви Восточного Эмтервика. Мы следим за молитвами по сборникам псалмов, но никто из нас не смеет произнести ни звука. Однажды, когда я была совсем маленькой, я не знала про этот запрет и спела целый стих, да еще и очень громко, потому что я люблю петь и дома могу петь целый день напролет. Но перед началом следующего стиха Анна наклонилась ко мне и велела замолчать.

— Видишь, как Эмили Нильссон смотрит на тебя, потому что ты поешь? — спросила она.

Единственный, кто поет в церкви, это Ян из Скрулики, но он не совсем в своем уме.

Иногда я даже задумываюсь: а не сердится ли дьякон Меланоз на прихожан? Ради них он вынужден сидеть и играть

псалом за псалмом, и при этом все должны молчать. Потому что иногда он что-то проделывает с органом, от чего тот сильно гудит, воет и грохочет, да так, что кажется, вот-вот на нас рухнет потолок. Дьякон Меланоз веселый и очень озорной, и такие проделки вполне в его духе.

Но мне очень досадно, что я не могу расслышать проповедь, потому что пастор Линдегрен живет в Халле, прямо рядом с Морбаккой, и мы с ним очень ладим. Он всегда так добр к нам, детям, и он такой красивый. И особенно красивый, когда стоит на кафедре и произносит проповедь. Он говорит так убежденно и взмахивает белым носовым платком, который держит в руках, и чем дольше он говорит, тем красивее становится. И почти всякий раз он так волнуется, что начинает плакать.

Интересно, почему он плачет? Уж не потому ли, что мы не меняемся и не становимся лучше, какие бы проповеди он ни читал? Но нам, по крайней мере тем, кто сидит на хорах, нелегко следовать его проповедям, потому что мы не слышим ни слова из того, что он говорит.

Взрослым не привыкать к скучным церемониям, им это ничего не стоит, но нам, детям, конечно, нелегко высидеть всю службу. Эмилия Валлрут говорила мне, что она обычно считает шляпки гвоздей на церковной крыше, а Ингрид Нильссон говорит, что она просто наблюдает, как бонды внизу угощают друг друга нюхательным табаком. Эмили Нильссон складывает цифры, записанные на табличках, а когда все сложит, то вычитает, умножает и делит. Она говорит, что, когда считает, у нее в голове нет ни единой мысли. Было бы хуже, если бы она уставилась на модную шляпку Хильды Валлрут и мечтала бы о такой же. А вот Анна говорит, что она заучивает псалмы наизусть, и мы все считаем, что это все-таки лучше, чем умножать и вычитать.

Я обычно не считаю и не подглядываю за теми, кто нюхает табак. Вместо этого я представляю себе, например, что будет, если молния ударит в колокольню и церковь вспыхнет. Как все испугаются и побегут к выходу, затаптывая друг друга насмерть. Но тут раздастся с первой скамейки мой голос, я призову всех к спокойствию, а потом велю им выстроиться в шеренгу, как в "Саге о Фритьофе":

Тотчас связаны берег и храм
Цепью рук сплетенных[1].

1. Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого.

И благодаря моей решительности и твердости духа пожар удастся потушить, и про меня напишут в "Вермландской газете".

После службы мама, Анна и я навещаем старых мамзелей Мюрин.

Они живут в мансарде школьного дома, который примыкает к церкви, и мы с Анной шепчемся, что нам повезло — мы не живем так близко от кладбища, а то мы трусихи. Средь бела дня мы еще рискнули бы выйти из дома, но в темноте — ни в коем случае, потому что нас могут схватить привидения, обитающие на кладбище.

Мамзели Мюрин когда-то жили в Херрестаде, но это было задолго до нашего рождения. А сейчас, как мне кажется, они очень бедствуют, но окружающие притворяются, что не замечают этого и обращаются с ними так, будто они по-прежнему владеют Херрестадом.

Лестница, которая ведет наверх в их комнату, всегда дочиста вымыта и выметена, а по воскресеньям устлана можжевельником, потому что они ждут, что господа поднимутся к ним после службы в церкви. У мамы с собой в ридикюле всегда припасена бутылочка сливок или фунт масла, и, проходя мимо кухни мамзелей Мюрин, она оставляет гостинцы там. А на лестнице мы почти всегда встречаем жен бондов, несущих что-то под мышкой, чтобы тайком подсунуть все это на кухню.

У мамзелей Мюрин большая уютная комната, и они всегда сидят в своих плетеных креслах очень нарядные и ждут гостей, и даже не ведают — ни сном ни духом — что кто-то что-то подсовывает им на кухню. На обеих широкие накидки и черные тюлевые шляпки, но мамзель Мария Мюрин высокая, седая и с пальцами, скрюченными подагрой, а мамзель Рура Мюрин, наоборот, маленькая, смуглая, и у нее здоровые руки.

Мама, как только входит к мамзелям Мюрин, начинает восхищаться их гардинами, скатертями, салфетками и покрывалами. Все эти вещи мамзели Мюрин вяжут сами, и все выполнено ажурной вязкой ракушками. И мамзель Рура начинает расписывать, сколько у них заказов на скатерти и гардины. Да они просто не успевают. Невероятно, но многие в Восточном Эмтервике обожают ажурную вязку, говорят они. И тут мама признается, что зашла именно по этому поводу. Ей бы очень хотелось заказать большую круглую скатерть на стол, который стоит перед софой в гостиной. Этот стол из массива ольхи, говорит мама, и столешница такая гладкая, что хочется предохранить ее от царапин. Ей очень хотелось бы постелить сверху скатерть. Но если у мамзелей Мюрин

так много работы, то, наверняка, они не смогут взять у нее заказ.

Мамзель Мария выглядит озабоченной, но более решительная мамзель Рура спешит к комоду, до краев набитому связанными вещами. Мама может выбрать сколько угодно скатертей. И мама так радуется, что ей не придется уезжать с пустыми руками. Она не ограничивается покупкой скатерти и берет еще две вязаные накидки на кресла-качалки.

Дело сделано, и мама уже собирается попрощаться, но мамзель Мюрин говорит, что раз уж они заключили такую серьезную сделку, то самое время попить кофе. Мама с церемониями отнекивается, но вскоре уступает.

У мамзелей Мюрин есть брат, он богатый, потому что владеет фабрикой в Баде, в Люсвике. У него три дочери, которые иногда приезжают навестить своих почтенных теть и привозят великое множество печенья и булочек, чтобы мамзелям было чем угостить своих гостей по воскресеньям, когда те заходят к ним на чашечку кофе. Племянницы неслыханно щедры, и мамзелям Мюрин целый год не приходится печь булочки самим.

И когда приносят кофе, мы с Анной просто в восторге, потому что посреди подноса возвышается большое блюдо с выпечкой, и все так аппетитно выглядит.

Но мама снова заговаривает с мамзелями Мюрин: она расспрашивает об их славных племянницах и интересуется, когда они навещали теток в последний раз. И мамзели Мюрин отвечают, что осенью исполнится год, как они были здесь.

И мама не берет ничего, кроме пары сухариков к кофе и предупреждает нас, чтобы мы не объедались и не нахватали себе булочек. Не забывайте, что мамзели Мюрин и сами захотят попробовать вкусные булочки, которые им привезли племянницы.

И после таких слов мы, конечно, берем только по два крошечных печенья.

Домой мы возвращаемся счастливые, оттого что съездили в церковь. Хоть нам и не дали попеть псалмы или послушать проповеди или наесться булочек у мамзелей Мюрин, мы не сомневаемся: мама права, когда говорит, что хорошо провести несколько часов в Доме Господа.

Бал в Сунне

Как хорошо, что мы живем в Восточном Эмтервике, а не в Сунне. В Сунне намного больше народу, но люди там не такие

веселые. Они никогда не ставят любительских спектаклей, у них нет духового секстета и вокального квартета, а уж таких, кто может держать речи и писать стихи, в Сунне надо поискать днем с огнем.

Единственное, что нас связывает с Сунне, так это общий пробст. В остальном у нас с жителями Сунне нет ничего общего. Мы никогда не встречаемся со знатью из Сунне, но чувствуем, что они считают себя намного выше нас, потому что живут в большом приходе.

Раз в году нас приглашают на бал к пробсту, но и там мы не встречаем никого из Сунне. Потому что приход так велик, что нельзя пригласить всех господ сразу. Обычно тех, кто живет в Восточном Эмтервике, Западном Эмтервике и в Гресмарке, приглашают на один день, а тех, кто в Сунне, — на другой.

Но хотя мы незнакомы с семьями из Сунне, мы всех их знаем в лицо, потому что видели на Омберхедской ярмарке: и фабриканта Петтерсона из Стёпафорса, и инженера Мауле из Сундсберга, и инженера Игнелиуса из Ульвсберга, и фабриканта Хелльстедтса из Скарпеда, и фабриканта Йонссона, который живет в "замке" в Сундсвике.

Семнадцатого августа, на папин день рождения, в Морбакку приезжает молодежь из Сунне — посмотреть спектакль и потанцевать. Сдается нам, в Сунне теперь обсуждают, что Хильда Валлрут из Гордшё и Анна Лагерлёф из Морбакки превратились в первых красавиц Фриксдалена. По крайней мере, в один прекрасный день папа вдруг получает письмо от нескольких господ из Сунне с вопросом, не желают ли хозяева Морбакки поучаствовать в "бале вскладчину".

Бал состоится в помещении над лавкой Нильссона, которое им уступают на этот вечер бесплатно. Мужчины обеспечат напитки, а женщины принесут чай, кофе, булочки и все, что надо для сервировки. Все без затей и экономно, разве только несколько риксдалеров пойдут на свечи и чаевые.

Такое же письмо приходит в Гордшё, и тетя Августа немедленно приезжает к нам обсудить с мамой и тетей Лувисой, что им взять с собой, чтобы не ударить в грязь лицом перед сунновскими господами. Тетя Лувиса сразу оживляется — во времена ее молодости такие балы вскладчину были в Сунне хорошей традицией, — и тут же замешивает тесто для булочек. Конечно, сама она даже и не помышляет ехать туда, она слишком стара для танцев, но очень оживляется и говорит, что жить становится гораздо интереснее, когда происходит что-то значительное.

Мы с Гердой тоже так считаем. Мы тоже думаем, что танцы — очень весело, хоть мы еще малы и нас никто туда не возьмет.

Но радость меркнет — за день до бала, когда мы сидим за обеденным столом и болтаем, конечно же, о бале, папа говорит: ему кажется, что Сельма уже достаточно взрослая и тоже может поехать на бал.

Папа, конечно, считает, что я очень обрадуюсь, если меня возьмут на танцы, но я нисколько не радуюсь. Я уже столько раз бывала в гостях в Восточном Эмтервике, что прекрасно знаю, каково мне будет в Сунне. Я сразу отвечаю, что совсем не хочу ехать.

— Почему ты не хочешь на бал? — удивляется папа, поворачивается к маме и спрашивает: — Ей нечего надеть?

— Почему же, — отвечает мама, — у нее есть ее светло-серое барежевое платье, оно вполне годится.

— А чулки и туфли у нее есть?

— Туфель нет, — говорит мама, — но Анна уже выросла из своих серых матерчатых башмаков, в которых была на свадьбе сестры Юлии, и теперь они вполне подойдут Сельме.

— Ну, тогда я не понимаю, почему она не хочет, — огорчается папа.

Я по-настоящему расстроена. Я даже не могу объяснить почему, но поехать на бал в Сунне для меня сродни огромному несчастью.

— Но я еще слишком мала для бала, — сопротивляюсь я. — Мне только тринадцать.

— Эмилии Валлрут тоже тринадцать, а она едет, — говорит тетя Лувиса.

И я решаю, что они все объединились против меня: и папа, и мама, и тетя Лувиса. У них большое преимущество, и мне ничего не остается, кроме как заплакать.

— Девочка моя, не надо плакать, мы просто хотим, чтобы ты развлеклась, — говорит папа.

— Я не хочу развлекаться, — всхлипываю я. — Я так хромаю, что никто не захочет со мной танцевать.

Я теперь не злюсь: после того случая, когда я играла в карты с дядей Ваченфельдтом, я перестала злиться. И папа тоже не злится. Он просто считает, что я не такая, как все.

Но ему не понять, каково это: когда всех девочек приглашают, а тебя нет. Или когда тебя приглашают только на последний танец, или только такие кавалеры, с которыми другие девочки не хотят танцевать.

— Перестань, — строго говорит папа. — Я не хочу ничего знать. Мои дочери едут на бал, коли уж есть такая возможность, и все тут.

— Мне кажется, с Сельмой можно и подождать хотя бы до пятнадцати, — это тетя Лувиса с опозданием приходит мне на помощь. И зачем только она минуту назад встревала с этой Эмилией Валлрут?

— Можно было бы, конечно, и подождать, — говорит папа, — но кто знает, будут ли потом устраивать балы в Сунне? Раньше ведь их не устраивали.

Я знаю, папа не любит, когда мы плачем. Мне было бы легче отвертеться от этого бала, если бы я смеялась и выглядела счастливой. Но я уже не могу остановиться и реву весь обед.

Я продолжаю плакать и потом, после обеда, когда нас укладывают поспать, и во время урока, и пока мы делаем задания, и когда мы идем гулять и катаемся на санках, и потом, когда мы сидим вокруг стола в столовой и что-то мастерим.

Герда обычно плачет, когда у нее не ладится с уроками, но она, по-моему, никогда еще не ревела так долго — с обеда и до самого вечера.

Когда мама поднимается к нам в детскую прочитать на ночь молитву, я беру себя в руки и читаю "Отче наш" и "Боже, благослови", но на "К нам, детям, милостив Господь" и "Ангел сон наш бережет" меня уже не хватает.

— Ты плачешь только из-за этого бала? — спрашивает мама. — Или ты еще чем-то расстроена?

— Не могла бы мама уговорить папу оставить меня дома? — говорю я и хватаю маму за руку.

— Дитя мое, но ты же знаешь, что папа хочет только одного — чтобы тебе было весело, — говорит мама.

— Да, но ведь я не буду танцевать. Мама ведь знает, что я не буду танцевать.

— Конечно, будешь, — говорит мама и уходит.

Проснувшись наутро, я первым делом вспоминаю, что сегодня бал, и снова начинаю плакать. Непонятно, откуда в глазах столько слез, но они не кончаются.

Анна и Герда оживленно болтают о том, кто будет открывать бал, и с кем Анна будет танцевать первый вальс, и приедут ли девицы Мауле в белых платьях. Анна накрутила папильотки и переживает, что локоны разовьются во время бала. Они говорят о бале, а я только реву. Я бы остановилась, если б могла, но это уже не в моих силах.

— Сельма, право, перестань плакать, а то поедешь на бал с красными глазами, — говорит Анна.

Но как я ни пытаюсь, я уже не могу остановиться.

Все утро Анна, мама и Элин Лаурель возятся со своими туалетами, пришивают ленты, гладят крахмальные юбки, примеряют новые туфли и прихорашиваются как могут.

Тетя Лувиса ворчит, она не понимает, как можно ехать на бал в платье с воротничком и длинными рукавами. Такое нельзя было даже представить себе во времена ее молодости. Но мама отвечает, что Анна и я еще дети, и вполне сойдут и просто нарядные платья.

Ближе к обеду я захожу в гостиную, где папа, как всегда, сидит в кресле-качалке и читает "Вермландскую газету". Я подхожу, ставлю ногу на полоз кресла и кладу руку на его плечо.

— Что такое? — удивляется папа и поворачивается ко мне.

— Можно, я не поеду на бал, папа? — умоляю я. У меня еще остается надежда, что если я очень-очень попрошу и притворюсь примерной и послушной, то он согласится и не пошлет меня на бал. А еще я хочу напомнить ему, что ради него прочитала всю Библию. Если он вспомнит про это, то разрешит мне остаться дома. — Папа ведь знает, что меня никто не пригласит, — начинаю я. — Я так хромаю, что никто не захочет танцевать со мной.

Но я не выдерживаю. Слезы душат меня, и я не могу вымолвить ни слова. Папа молча встает с кресла-качалки, берет меня за руку и отводит на кухню. Там он велит экономке дать мне большой бутерброд с сыром. И уходит.

Я понимаю, что от бала мне не отвертеться. Бутерброд мне хочется швырнуть на пол, но я не делаю этого, потому что боюсь так ужасно злиться, боюсь, что во мне снова проснется чудище.

Я веду себя вполне прилично, единственное, рыдаю без остановки. Рыдаю и во время обеда и после, когда мы наряжаемся на бал. Я реву до того мига, когда мы садимся в сани и нас укутывают меховой накидкой. В этот момент слезы понимают, что плачем горю не поможешь, и всю дорогу я еду с сухими глазами.

Я в сером барежевом платье с синей отделкой и в Аннинах светло-серых матерчатых башмаках с красными шнурками. На грудь мне прикололи розовый бант, очень красивый, мне его подарил мамин брат, дядя Калле, он всегда дарит нам на Рождество такие чудесные подарки. Тетя Лувиса гладко уложила мне волосы, а сзади собрала их в большой пучок.

Но какая разница, как я одета, если по лицу растеклись красно-белые пятна, а глаза красные и опухшие от слез. Я такая страшная, что никто не стал бы со мной танцевать, даже если бы я ни чуточки и не хромала.

Перед бальным залом есть прихожая, и там мы сталкиваемся с девочками Валлрут, и они рассказывают нам, что девицы Мауле еще не готовы, потому что у них такие тонкие бе-

лые платья, что две служанки принесли их в Сунне на шесте с вешалками, чтобы они не помялись.

— Ну конечно, им это нипочем, ведь они живут всего лишь в четверти мили[1] отсюда, — говорит Анна. Нам такая идея кажется очень занятной.

Анна и Хильда до того хороши, что, мне кажется, другие, как бы ни прихорашивались, их не перещеголяют.

Прибывают девицы Мауле, и я вынуждена признать, что они очень милые и славные, но все же до Анны и Хильды им далеко.

А Эмилия Валлрут и вовсе некрасивая, но все говорят, что она милая. Эмилия всегда танцует. И неважно, что она некрасивая, но она такая милая, что ее будут приглашать на каждый танец, даже если она будет хромать.

В гостиной теперь полно дам и девиц, и, должно быть, все уже прибыли, потому что начинает играть музыка. Бал открывает духовой секстет из Восточного Эмтервика — в Сунне нет своих музыкантов.

В гостиную входит фабрикант Вильхельм Стенбак из Бьёрсбюхольма и заявляет, что раз в Сунне проводится бал, которого не было по меньшей мере двадцать лет, он предлагает открыть его полонезом, как и полагается в торжественных случаях. И все, конечно, соглашаются.

Господа входят в гостиную и приглашают дам: фру Мауле и фру Хелльстедт, и фру Петерссон, и фру Бергман, и фру Валлрут, и фру Лагерлёф, и дамы с кавалерами рука об руку идут в зал. Затем входят молодые люди и приглашают барышень и ведут их танцевать. Наконец в гостиной никого не остается, кроме меня и фрёкен Эрикссон из Скеггеберга. Но фрёкен Эрикссон не меньше пятидесяти лет, и у нее тонкие желтые косы и длинные желтые зубы.

На балу есть и не известный нам господин, мы его раньше не видели. Он одет в униформу, говорят, что он инспектор станции Килс. Он никого не знает, и, когда входит в гостиную, чтобы кого-нибудь пригласить, все уже заняты, кроме фрёкен Эрикссон и меня. Я гадаю — кого он выберет? — но он разворачивается и уходит. Мы продолжаем сидеть, я и фрёкен Эрикссон, мы не разговариваем друг с другом, но я все равно рада, что она здесь и что я не сижу в полном одиночестве.

Иногда я думаю: это даже хорошо, что меня не пригласили. Вот пусть теперь папа знает, что со мной и правда никто

1. Шведская миля — 10 километров.

не хочет танцевать. Но это слабое утешение — мне все равно очень-очень обидно.

Я сижу и думаю о фрёкен Эрикссон из Скеггеберга. А ее-то кто заставил ехать на бал? Не по собственной же воле она оказалась здесь. Полонез заканчивается, и все, и старые, и молодые, возвращаются на свои места — радостные и возбужденные. Мама садится на софу между фру Мауле и фру Хелльстедт, они болтают и смеются, как старые друзья. Анна садится к Хильде Игнелиус и шепчется с ней, а Хильда Валлрут входит под руку с Юлией Мауле.

Потом танцуют вальс и польку, франсез, и вальс, и снова польку и франсез. И, конечно, на каждый танец приглашают Анну, Хильду и Эмилию. Они страшно довольны, и Хильда подходит ко мне, чтобы сказать что-нибудь приятное и приободрить меня. Она предлагает мне пройти в зал и хотя бы посмотреть на танцы. Но мне, конечно, не хочется. Я не знаю, что придумать и как отказаться, но Анна выручает меня и говорит, что Сельму лучше вообще не трогать, а то она опять начнет реветь.

Мама и другие дамы танцуют только полонез-променад, но потом, как назло, они выходят в бальный зал взглянуть на молодежь. В гостиной опять не остается никого, кроме меня и фрёкен Эрикссон. Так мы с ней вдвоем и коротаем весь вечер.

Я сижу и думаю о тех, кому действительно плохо, — о больных, о нищих, о слепых. Стоит ли вообще переживать, что тебя не пригласили танцевать? Только представить себе, каково это — быть слепым!

Я думаю, за что это мне: то ли в наказание за какие-то проступки или мысли, то ли просто чтобы научить меня смирению.

Я вспоминаю про фрёкен Брустрём, о которой рассказывал папа. Про то, как гимназисты подшутили над ней на балу. Интересно, о чем она думала, когда просидела весь вечер одна и ее так и не пригласили танцевать?

Должно быть, она думала, до чего же она противная, раз никто не хочет с ней танцевать. По крайней мере, именно так я думаю сейчас о себе.

На следующее утро, за завтраком, мама, Элин Лаурель и Анна делятся с папой и тетей Лувисой впечатлениями о бале. Они рассказывают, что бал удался на славу, и им было очень весело. Я, понятное дело, молчу, мне сказать нечего. Но после того как Анна перечисляет всех, с кем она танцевала, папа спрашивает:

— Ну, а что Сельма?

— А Сельма не танцевала, — отвечает мама, — она же еще маленькая.

Папа сидит молча, потом говорит:

— Луиза, как ты думаешь, не написать ли нам в Стокгольм Афселиусу? Не возьмут ли они Сельму на зиму, чтобы она походила на лечебную гимнастику? В прошлый раз ей это очень помогло. Я мечтаю увидеть ее совершенно здоровой, прежде чем умру.

У меня от удивления глаза лезут на лоб. Неужели папу вчера мучили угрызения совести, потому что он заставил меня поехать на бал? Может, потому он и решил теперь отправить меня в Стокгольм.

Ведь мой папа — самый добрый на свете.

Эрнест Хемингуэй

Очерки

Перевод с английского Елены Фельдман

Ловля тунца в Испании

ВИГО, Испания. Виго — картонная на вид деревушка с мощеными улицами и бело-оранжевой штукатуркой — стоит на берегу большой, почти закрытой гавани, в которой поместился бы весь британский флот. Поджаренные на солнце коричневые горы спускаются к морю, как утомленные старые динозавры, а вода такая же синяя, как литография Неаполитанского залива.

Серая, тоже картонная церковь с парой башенок и плоский угрюмый форт на вершине холма, где стоит город, обращены к синей бухте. Все порядочные рыбаки приходят туда, когда северные течения уносят снег, и форель залегает нос к носу под пленкой льда. Ярко-синяя бухта полна рыбой.

Здесь ходят косяки странной, плоской рыбы всех цветов радуги, узкая испанская скумбрия и крупные, с массивными плавниками, морские окуни с причудливыми, мягко звучащи-

© 1985 Mary Hemingway, John Hemingway, Patrick Hemingway and Gregory Hemingway
© Елена Фельдман. Перевод, 2010
Очерки войдут в собрание сочинений Э. Хемингуэя, выпускаемое издательством АСТ.

ми названиями. Но главное — здесь живет царь всех рыб, правитель рыбацкой Вальгаллы.

Рыбак выходит в бухту на коричневой лодке с треугольными парусами, которая пьяно, но решительно продвигается вперед, в такт скользящим взмахам весла. Он насаживает на крючок серебристую кефаль и разматывает леску. Пока лодка с парусами, поставленными против ветра, дрейфует, рыбак следит, чтобы наживка оставалась под водой. Внезапно вверх выстреливает фонтан брызг, будто в море бросили мешок картечи. Стайка сардин выпрыгивает из воды, которая тут же взбухает бугром, — и большой тунец с громким треском проламывает водную гладь, вытягиваясь в воздухе во всю свою шестифутовую длину. Сердце рыбака ударяется о ребра, а затем уходит в пятки, когда тунец обрушивается обратно в волны с таким шумом, будто лошадь нырнула с причала.

Большой тунец по цвету — серебристый и синевато-серый, и, когда он взлетает прямо позади лодки, это похоже на ослепительную вспышку ртути. Весит он около трехсот фунтов, а прыгает с пылом и яростью громадной радужной форели. Иногда над бухтой Виго можно увидеть сразу пять или шесть тунцов, которые по-дельфиньи выглядывают из воды, будто пасут сардин, а затем взмывают в неистовом прыжке, чистом и красивом, как первый всплеск загнутой рыболовным крючком радуги.

За доллар в день испанские лодочники возьмут вас с собой на рыбалку. Там пропасть тунцов, охотно берущих наживку. Это работа для настоящих мужчин: даже удилище размером с рукоять мотыги не спасет от ломоты в спине и растянутых связок. Но если вы одолеете большого тунца после шестичасовой схватки, схватки человека с рыбой, когда мышцы, кажется, вот-вот лопнут от непрерывного напряжения, если вы наконец заставите его замереть у борта лодки — сине-зеленый и серебряный проблеск в ленивом океане, — тогда вы очиститесь и без смущения сможете войти в обитель древних богов, которые радостно вас встретят.

Это обитель веселых смуглолицых богов, владеющих загробным миром и населяющих старые хрупкие горы, которые стеной обступают ярко-синюю бухту Виго. Они живут там, удивляясь, почему славные мертвые рыбаки не возвращаются в Виго, где их давно ждут ключи от рая.

"Торонто стар уикли", 28 февраля 1922

Возвращение на старый фронт

ПАРИЖ. Не возвращайтесь на старый фронт. Если вашу память все еще бередят воспоминания о том, что творилось ночью в грязи Пашендейля, или о первой волне, захлестнувшей склоны Вими[1], не пытайтесь вернуться туда и воскресить их. Это ничего не даст. Новый фронт похож на старый в такой же мере, как ваша многоуважаемая голень с тонким белесым шрамом — на ногу, которую вы, присев, перевязывали жгутом, в то время как кровь промочила портянки и сочилась в ботинок; ногу, на которую вы потом хромали, подпираясь самодельным костылем, на пути в перевязочный пункт.

Отправляйтесь на еще чей-нибудь фронт, если угодно. Воображение выручит вас, восстановив картину того, что там происходило. Но не вздумайте вернуться на свой собственный: каждая изменившаяся мелочь, невероятная, запредельная, мертвенная тишина, глянцевая зелень полей, когда-то изрытых минными воронками и траншеями, исполосованных проволокой, объединятся против вас и уверят, что места и события, казавшиеся такими важными, — не более чем сон или ложь, в которой вы сами себя убедили. Это все равно что войти в сумрачную пустоту театра, где орудуют уборщицы. Мне это хорошо известно — я возвращался на свой старый фронт.

Поля сражений — не единственное, что изменится по виду и ощущениям, вернется к первоначальному зеленому покою: воронки засыпаны, траншеи заросли, блиндажи разрушены и сровнены с землей, проволока выкорчевана и гниет в огромных грудах. Изменятся — что ожидаемо и неизбежно — и ваши тогдашние чувства, когда причину их святости — мертвецов — откопают и перезахоронят на больших опрятных кладбищах во многих милях от места гибели. Города, в которых вы когда-то квартировали, но не тронутые войной, поразят вас сильнее всего. Наверняка есть немало городков, которые вы любите, но вряд ли кто-нибудь, кроме штабного офицера, способен любить поле боя.

Может, за старым канадским фронтом еще и остались города с чудны́ми фламандскими названиями и узкими мощеными улицами, которые сохранили свое волшебство. Может,

1. Пашендейль — бельгийская деревня, возле которой в 1917 г. состоялось одно из крупнейших сражений Первой мировой войны между союзными (под британским командованием) и германскими войсками. Вими — горный хребет во Франции, в районе которого в 1917 г. состоялось сражение между канадскими и германскими войсками. (*Прим. перев.*)

такие города и есть. Я сам только что вернулся из Скио. В войну это был красивейший город, но теперь я его не узнал — и многое бы отдал, чтобы туда не возвращаться.

Скио был одним из самых потрясающих мест на земле. Маленький городок в Трентино под хребтом Альп, средоточие веселья, отдыха и красоты, о которых только может мечтать человек. Когда нас там расквартировали, все были в изумлении и только и делали, что говорили, как замечательно будет вернуться и жить здесь после войны. Хорошо помню первоклассный отель "Дью Спади" с великолепной едой и то, что завод, в котором расположились, мы называли "Загородным клубом Скио".

В тот день мне показалось, что город съежился. Я прошелся по длинной и узкой главной улице, разглядывая выставленные в витринах рубашки в крапинку, дешевую китайскую посуду, открытки, на которых в семи разных позах молоденькие парень с девушкой смотрели друг другу в глаза, черствую, тоже в крапинку, выпечку и большие круглые ломти дрожжевого хлеба. Конец улицы упирался в горы, но неделю назад, когда я был на перевале Сен-Бернар, горы без снежных шапок, иссеченные дождем, выглядели уныло; немногим лучше холмов. Тем не менее я долго не сводил с них взгляда, а затем спустился по другой стороне улицы к главному бару. Начинало накрапывать, владельцы магазинов опускали жалюзи.

— А город с войны изменился, — сказал я краснощекой черноволосой девушке, которая сидела на высоком табурете за оцинкованной барной стойкой и вязала.

— Да? — буркнула она, не пропустив ни петли.

— Я был здесь в войну, — осмелел я.

— Много кто был, — тихо, с горечью ответила девушка.

— Grazie, Signor, — произнесла она с механической надменной любезностью, когда я расплатился и вышел.

Да, это был Скио. "Дью Спади" тоже съежился до размеров крохотной гостинички; с завода, где мы квартировали, доносился приглушенный шум, старый вход был замурован кирпичами, а струя навозной жижи чернила реку, в которой мы любили купаться. От всего этого становилось не по себе. На следующее утро, проворочавшись ночь без сна, я вышел под дождь.

В Скио был сад, огороженный стеной, которая поросла глициниями: в жаркие ночи мы потягивали там пиво под похожей на бомбу луной, которая заставляла платан отбрасывать причудливые тени на стол. После вечерней прогулки мне хватило благоразумия, чтобы не пробовать его разыскать. Может, его никогда и не было.

Может, в Скио вовсе не было войны. Я погрузился в воспоминания, лежа на скрипучей кровати в отеле и пытаясь читать при свете электрической лампочки, висящей посередине высокого потолка; затем выключил ее и выглянул из окна на дорогу, где сквозь дождь тускло светил фонарь. Это была та же самая дорога, по белой пыли которой в 1916 году маршировали батальоны. "Бригата Анкона", "Бригата Комо", "Бригата Тоскана" и еще десяток бригад рванули с Карсо, чтобы остановить атаку австрийцев: те уже преодолели горную стену и начинали спускаться в долины, ведущие к венецианской и ломбардской равнинам. Тогда это были прекрасные войска; ранним летом они маршировали в пыли, отражали атаки на линии Галио–Азиаго–Канове, а затем погибали в горных расщелинах и сосновых лесах на склонах Трентино, ища укрытие на безлюдных скалах и валясь в медленно тающие летние снега Пасубио.

Это была та же самая старая дорога, по которой те же самые старые бригады в июне 1918 года хлынули к Пьяве, чтобы остановить еще одну атаку. Их лучшие бойцы погибли на скалистом Карсо, в сражении у Гориции, на горе Сан-Габриэль, на Граппе – и в разных других местах, где гибнут люди, о которых никто даже не слышал. В 1918-м они маршировали уже не с таким пылом, как в 1916-м; некоторые отряды безнадежно отстали, и, после того как батальон превратился в облако пыли на горизонте, еще долго можно было видеть несчастных постаревших парней, которые бредут по обочине, чтобы дать хоть немного отдыха измученным ногам, обливаются потом под ранцами, винтовками и смертоносным итальянским солнцем, борются с невыносимым и бесконечным головокружением.

Итак, мы добрались до Местре, крупной конечной железнодорожной станции, путешествуя первым классом в пестрой компании подозрительных на вид итальянских спекулянтов – они направлялись в Венецию на отдых. В Местре мы арендовали автомобиль до Пьяве, устроились на заднем сиденье и принялись изучать карту и местность, прилегающую к длинной дороге, которая рассекала ядовитые зеленые адриатические болота, захватившие все побережье возле Венеции.

Около Порто-Гранде, в дельте Пьяве, где австрийцы и итальянцы атаковали и контратаковали друг друга по пояс в трясине, наша машина остановилась на безлюдном отрезке дороги, похожем на насыпь посреди зеленой болотной пустыни. Настало время долгой, грязной и липкой возни с передачей; пока шофер с ней разбирался, пока посадил в палец стальную занозу, пока моя жена, Хэдли, вынимала ее иголь-

кой, которая нашлась в нашем походном рюкзаке, мы изжарились на солнце. Затем ветер согнал туман с Адриатического моря, и за трясиной показалась Венеция и серо-желтая водная гладь, напоминающая декорации к волшебной сказке.

Наконец шофер запустил руку в свои густо напомаженные волосы, оставив на них последнее жирное пятно, отжал сцепление, и мы тихо покатили по дороге через топкую равнину. Насколько я помнил, Фоссальта, наша цель, была городком с четкой планировкой, в котором отказывались жить даже крысы. Целый год его поливало огнем кольцо минометов, а в моменты затишья австрийцы рушили там все, что, на их взгляд, можно было разрушить. Во время военных действий Фоссальта стала одним из первых плацдармов, захваченных австрийцами на венецианском берегу Пьяве, и одним из последних мест, откуда их выбили, а затем преследовали победители. Несметное число людей погибло на заваленных булыжниками и руинами улицах — всех поголовно выкурили из подвалов огнеметами flammenwerfer.

Мы оставили машину и отправились на прогулку. Все поруганное, трагическое достоинство разрушенного города осталось в прошлом. Теперь там рядами выстроились новые, тошнотворно-щеголеватые дома, выкрашенные в яркие голубые, красные и желтые цвета. Я был в Фоссальте раз пятьдесят — и не узнал ее. Хуже всего оказалась новая оштукатуренная церковь. Если присмотреться, на чахлых деревцах можно было заметить сломы и надрезы, но случайный прохожий, не знающий, что́ здесь творилось, не смог бы понять, чем их покалечило. Все вокруг выглядело избыточно зеленым и процветающим.

Я поднялся по травяному склону и остановился, разглядывая просевшую дорогу с выходящими к Пьяве землянками и каждый спуск к синей реке. Пьяве настолько же синяя, насколько Дунай — бурый. За рекой стояла пара новеньких домов, а рядом — там, где были австрийские оборонительные рубежи, — навалены две груды булыжников.

Я попытался отыскать какие-нибудь следы старых траншей, чтобы показать жене, но везде были только гладкие зеленые склоны. В мотке толстой колючей проволоки мы нашли ржавый обломок мины. Судя по ровным краям чугунного осколка, это был химический снаряд. Вот и всё, что осталось от фронта.

На обратном пути к машине мы говорили, как замечательно, что Фоссальту отстроили и как, должно быть, радовались семьи, получив обратно свои дома. Вспомнили и о том, как мы гордились итальянцами, когда они без лишних слов вос-

становили свой разоренный край, пока другие народы превращали разрушенные города в достопримечательности и выбивали за их счет репарации. Мы сказали все, что полагается говорить порядочным людям, – и замолчали. Добавить было нечего. Стало очень грустно.

Отстроенный город куда печальнее, чем разоренный. Люди не получили обратно свои дома. Они получили новые дома. Дом, в котором они играли детьми, комната, в которой, потушив свет, занимались любовью, камин, у которого они сидели, церковь, в которой венчались, комната, в которой умер их ребенок, – ничего этого больше не было. Разрушенная в войну деревня обладает особым достоинством, будто она умерла ради чего-то. Она умерла ради чего-то, и лучше бы этому чему-то сохраниться. Все было частью великой жертвы – а теперь засквозило новой, уродливой пустотой. Все стало таким, каким было, только немного хуже.

Мы прошли по улице, на которой убили моего хорошего друга, мимо уродливых домов прямо к машине, чей хозяин никогда не обзавелся бы автомобилем, если б не война. Похоже, моя затея провалилась. Я попытался воскресить для жены хоть что-то – и потерпел полное фиаско. Прошлое было таким же мертвым, как сломанная граммофонная пластинка "Виктрола". Погоня за вчерашним днем – погоня за призраком, и, если вам нужны доказательства, возвращайтесь на свой старый фронт.

"Торонто стар уикли", 22 июня 1922

Антуан де Сент-Экзюпери

Трагическая гибель самолета "Максим Горький"

Репортаж

Перевод с французского М. Кожевниковой

"МАКСИМ ГОРЬКИЙ", самый большой в мире самолет, разбился. Он шел на посадку, когда его задел истребитель, летящий на скорости более четырехсот километров в час.

Одни говорят, что задето было крыло, другие – центральный мотор, но доподлинно известно, что охваченный огнем самолет начал падать. Затем почерневшие крылья, мотор, фюзеляж неспешно разъединились в воздухе. Скорость падения и та, казалось, была искусственно занижена. Зрителям и свидетелям показалось, что они наблюдают за головокружительным скольжением или за торжественным погружением подбитого торпедой корабля.

Самолет весом сорок две тонны обрушился на деревянный дом, поджег его и раздавил, обитатели его погибли.

© Gallimard, 1956
© М. Кожевникова. Перевод, 2010
Печатается с любезного разрешения издательства "Эксмо", которое готовит том публицистики Антуана де Сент-Экзюпери.

Одиннадцать человек экипажа вместе с великим пилотом Журовым и тридцатью пятью пассажирами погибли тоже.

Воздушная катастрофа унесла сорок восемь человек. Размах крыльев "Максима Горького", гордости русского воздушного флота, был шестьдесят три метра, длина - тридцать два метра. Восемь моторов, шесть из которых были вмонтированы в крылья, обладали мощностью семь тысяч лошадиных сил. Скорость полета достигала двухсот шестидесяти километров в час. На самолете был поставлен мощный радиопередатчик, и его голос, несущийся с облаков к тем, кто слушал его на земле, перекрывал рев восьми моторов.

За день до катастрофы я летал на "Максиме Горьком". Я был первым иностранцем, который удостоился такой чести. И последним... Меня долго заставили ждать необходимого разрешения и, когда я уже потерял всякую надежду, во второй половине дня принесли разрешение. Я уселся в носовом салоне и оттуда наблюдал за взлетом. Самолет мощно вздрогнул, и я почувствовал, как быстро монумент поднимает в воздух свое основание, весом в сорок две тонны. Мягкость взлета меня поразила.

Пока мы разворачивались, чтобы лететь к Москве, я отправился на прогулку. С чистой совестью называю осмотр прогулкой, потому что во время полета осмотрел одиннадцать основных отсеков, связанных между собой автоматической телефонной связью. Мало этого, телефонную связь дублировала система пневматической почты, обеспечивая возможность передавать еще и письменные распоряжения. Самолет потрясал своей величиной – помещения располагались не только внутри фюзеляжа, но и в крыльях. Я осмелился войти в коридор левого крыла и стал открывать одну за другой двери, выходящие в него. За дверями открывались комнатки, потом помещения для моторов, каждый мотор был изолирован от других. Меня догнал инженер и показал силовую установку. Она снабжала током не только радиопередатчик, громкоговоритель и устройство для взлета, но еще и восемьдесят осветительных точек общей мощностью двенадцать тысяч ватт.

Я осматривал самолет уже четверть часа, погрузившись в его нутро, словно в трюм миноносца, и там все время горел электрический свет. Я купался в неутомимом и победительном пении моторов. Я заметил, что есть помещения с кроватями, видел телефонистов, механиков в синих брезентовых костюмах. Но больше всего я изумился, когда обнаружил небольшой кабинет и в нем юную машинистку, которая печатала на машинке...

Но вот снова дневной свет. Москва медленно разворачивается под крылом. Бортовой командир, сидя в уголке салона, передает по телефону уж не знаю какие там распоряжения своим пилотам. С радиопоста по пневматической почте ему поступают сообщения. Все вместе создает ощущение сложного механизма, сложно организованной жизни, какой у меня в полете никогда не было.

Я уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Через спинку кресла до меня доходили послания восьми моторов. Я чувствовал, как струится по моему телу живая горячая вибрация. Мысленно видел перед собой электростанцию, снабжающую все вокруг светом, вспоминал отсеки с моторами, жаркие, словно печи. И снова открыл глаза.

В широкое окно салона проникал голубой свет, а я будто занял место на террасе дорогой гостиницы и сверху взирал на землю. Привычное устройство тяжелого аппарата, в котором кабина пилота, бортовое оборудование и пассажирский салон составляют целое, в этом самолете отсутствовало. Отдельно салон управления, отдельно холл, где можно отдыхать, мечтать...

Назавтра самолета "Максим Горький" не стало. Его гибель переживается здесь как общенародное горе. Советский Союз потерял не только выдающегося пилота Журова и десять членов его экипажа, не только тридцать пять пассажиров, работников конструкторского бюро ЦАГИ, для которых полет был наградой за отличную работу, Советский Союз потерял великолепное подтверждение жизненности его юной индустрии.

Я говорил с людьми, работающими в авиации, и мне показалось, что их хоть немного, но утешает то, что причиной гибели гиганта была нелепая случайность. Драма произошла не из-за ошибки в расчетах инженеров, не из-за неопытности или неумелости рабочих, не от просчета экипажа. Во время уверенного спокойного полета "Максима Горького" его траекторию — прямую, как выстрел, — пересек истребитель.

Зигмунт Хаупт

Рассказы

Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Польский читатель плохо знает польского писателя Зигмунта Хаупта. Причины далеко искать не надо. Современников, ровесников — тех, что родились в начале прошлого века, — не осталось; помнить, вспоминать рассказы и очерки, разбросанные в межвоенные годы по страницам периодической печати, некому. В Польше первый сборник рассказов вышел лишь в конце 90-х, а единственная полная книга его сочинений — в 2007 году, через тридцать с лишним лет после смерти автора, родившегося ровно столетие назад. Все, им написанное во время и после Второй мировой войны, публиковалось только за границей: Хаупт был эмигрантом, а таковым доступ в Народную Польшу долгие годы был заказан. Родину Зигмунт Хаупт покинул — навсегда — в 1939-м: призванный в армию как офицер запаса, в составе кавалерийской бригады он в первые дни войны участвовал в боях с немецкими танками, вместе с однополчанами пробился в Венгрию, оттуда попал во Францию и потом в Англию, оставался там до конца войны, а затем с женой американкой переехал в Соединенные Штаты, где жил в разных городах и скончался, не дожив и до семидесяти, в штате Виргиния.

В юности Зигмунт Хаупт заниматься писательским ремеслом не собирался. Закончив гимназию во Львове, он поступил во Львовский политехнический институт, учился на инженерном и архитектурном факультете,

© by Arthur Haupt
© К. Старосельская. Перевод, вступление, 2010

потом два года изучал урбанистику в Париже, по возвращении во Львов активно включился в бурлящую там в 30-е годы литературно-художественную жизнь. Рисовал и выставлялся, для заработка расписывал стены в костелах своего родного Подолья. Первый репортаж опубликовал 7 февраля 1937 года; всего журнальных и газетных публикаций за два предвоенных года — около двух десятков. В Соединенных Штатах Хаупт поначалу занялся живописью, но денег на жизнь не хватало, и он поступил на службу — работал на радио, в редакции журнала "Америка", — а в свободное время писал. Никаких повестей и романов — из-под его пера выходят не всегда четко определимые по жанру (очерк? рассказ?) небольшие сочинения, основанные большей частью на личном опыте, хотя реальные персонажи и события зачастую соседствуют с вымышленными. Но, независимо от содержания, самое поразительное, неизменно — язык, особый язык, превращающий слова в образы. Литературный текст обретает черты живописного полотна: все, на что ни упадет взгляд *художника* (в прямом и переносном смысле слова), становится зримым и осязаемым. Из длинного перечня подробностей — будь то предметы домашнего обихода, жанровые сценки, описания природы, наблюдения за животными (чаще всего — за обожаемыми Хауптом лошадьми), — которому сопутствуют причудливые меандры мысли и который (при его изобильности) не всегда легко сразу охватить и усвоить, складываются полнокровные, живые картины, а где-то на втором плане будто звучит мелодия, то легкая и радостная, даже мажорная, то — тревожная, если не трагическая. Позволю себе в качестве очень типичного примера привести одну цитату из рассказа Хаупта "Бумажный перстень", впервые опубликованного в 1949 году:

И пошла-понеслась обо мне молва. По ярмаркам, постоялым дворам, усадьбам, приходам, между крестьян и евреев. По кузницам, по базару, по каретным сараям, конюшням, василианским монастырям. Приехал...

Во время храмовых праздников и ярмарок, на сходках, на сенокосах, возле еврейских лавок, перед синагогой и на церковной паперти (на горе громадина монастыря василианов, в гору бегут среди выщипанной гусями травы протоптанные паломниками тропки, крутые, своенравные, и сходятся у монастырской калитки, где галерея и церковный двор пахнут на солнце известкой и благочестивым потом, и тут же скопище нищих, попрошаек, калек, причитающих и бормочущих молитвы, песни, мольбы и просьбы, "Хосподы помылуй", "Святая Пречистая", голоса, образки, четки, спины, плечи, горбы, обрубки рук, костыли, вывернутые стопы, скрюченные как когти пальцы, навечно пустые, стянутые рубцами глазницы, гримасы заячьих губ, обезьяньи рожи, колченогость, рахит, выставленные напоказ культи, мешки, посохи, головы, обмотанные тряпьем, кое-где атлетический торс рядом с кучкой высохших в щепку людских костей, а над ними, на беленых стенах галереи черные холсты — образа святых угодников, нимбы вокруг голов, суровые лики с парой уставленных в одну точку глаз, для оправы которых — бровей, ресниц — примитивный художник употребил тушь, будто в салоне красоты, а поверху в венке глаголицы Святой Дух —

Параклет), в залах дворянского собрания, над зеленым сукном карточных столов, в адвокатских конторах, среди подвод, скопившихся в ожидании перед мельницей, у переправ и бродов, повторяли весть, неслась и ширилась молва. Приехал...

"...проза Зигмунта Хаупта, — говорит известный современный писатель Анджей Стасюк, сам тонкий стилист, — противоположность темноте: она напоминает пожар. Пожар, который, прокатившись, оставляет за собой голую черную землю. Описание уничтожило все: людей, их поступки и чувства, зелень, животных, города, деревни, историю, застывшую в стенах домов, жизнь поколений, заключенную в предметах и домашней утвари, память и время — захватило все это, обратило в дым и унесло из реального мира в сферу литературы, чтобы впредь существовать там — спасенным, недвижным и более прочным, нежели все видимые вещи. Как пламя пожара, в сумерки отражающееся в зеркале туч".

В одной из рецензий на польскую книгу Зигмунта Хаупта есть такие слова: "А может, пусть он остается не очень известным — чтобы можно было смаковать эту прозу, ощущая свою причастность к кругу посвященных". Пусть и читатель нашего журнала приобщится к этому кругу.

Тарок

ОН был золотисто-гнедой, ото лба к ноздрям чуть наискосок бежала белая стрелка, розовеющая в конце. Бабки задних ног были будто измазаны сметаной. Это придавало ему легкость, стройность.

Нервный он был, беспокойно прядал ушами и только этим, по крайней мере на мой взгляд, отличался от спокойной ирландской охотничьей лошади капитана. Находили в нем и другие изъяны, но я их не видел.

Приставленный к лошадям фейерверкер[1] Роек его недолюбливал. С ехидцей совал свой красный носище, уснащенный шилами усов, в денник, когда я кормил коня хлебом, а на еженедельных смотрах, следуя — руки по швам — по пятам за капитаном, говорил, злобно на меня косясь:

— Чего-то у Тарока больно усталый вид...

Это означало, что на ближайших выездах я буду трястись на каком-нибудь батарейном монгольском тарпане, а Тарока обрекут томиться на коновязи.

1. Унтер-офицер артиллерии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Тарок! Вот кто был прирожденный талант! Перед любыми конкурами — military, стипль-чезом — его кандидатуру горячо обсуждали, но... неизменно отвергали. У него были свои преудивительные причуды, и никому не хотелось попадать в зависимость от его капризов. Он способен был после преодоления сложных тройников, оксеров и джокеров спасовать перед какой-нибудь дурацкой крестовиной, а упрямого наездника сбросить, чтобы потом, на потеху зевак, с развевающейся гривой и болтающимися сбоку стременами, долго не даваться в руки коноводам в тяжелых сапогах.

Утром после поверки я ходил в конюшню. По обеим сторонам бетонированного коридора, между столбов, увенчанных смазанными жиром седлами и упряжью, блестят лошадиные зады. Где-то в глубине брюзжит фейерверкер, которого никто не слушает. Тарок стоит рядом с денниками для аристократов — верховых лошадей капитана и поручика. Лора, костистая длинная поручикова кобыла, привередливо ворошит сено, выбирая стебли повкуснее. Тарок фыркал, грыз целые пучки и, сверкая белком глаза, зыркал в мою сторону. Золотые лучи солнца исполосовали его лоснящиеся бока.

— По ко-о-о-ням! Садись!

Чудесные слова команды! Левая нога уже в стремени, поводья схвачены так, что лошадь подается к тебе, огонь гривы обжигает пальцы и... это "По коням!" просто тебя приподнимает, отрывает от земли, небольшое усилие — и кровь ударяет в голову, пол-оборота, и мир вместе с деревьями поворачивается вокруг тебя, и вот уже с высоты седла открывается горизонт.

Сзади слышен визг какого-то норовистого коня, не позволяющего на себя сесть; правая нога ловко попадает в стремя.

Трогаемся. Стонет брусчатка под колесами орудий, лошади, еще не сыгравшиеся, с неравной силой натягивают постромки, наезжают друг на дружку, голенище сапога забавно сминается, когда на ногу давит боком соседняя лошадь. Скрипят седла. Поднятая копытами пыль пахнет конским потом.

Тарок выгибает шею, сверху его затылок видится толстым, полным жизни, встрепанная грива спадает направо. На ее блестящую бахрому садится зеленый слепень. Я сгоняю его. Разгневавшись, он с жужжаньем срывается с места, летит зигзагами вдоль упряжки и усаживается на лоб флегматичной пристяжной.

Один из порочащих Тарока недостатков: он не умеет идти шагом. Бежит не то трусцой, не то рысью, никогда не совпадающей с темпом батареи, — это раздражает. Через два-

дцать минут такой тряски слезы наворачиваются на глаза, все внутренности болят, где-то у основания черепа выстреливают искры, которые скрипят на зубах и летят под козырек фуражки.

Мы в поле, перед нами в пыли разведчики, фейерверкер Роек в конце батареи... Натягиваю поводья. Нас обгоняют вторая, третья пара упряжки, вращаются спицы колес, надвигается оливково-зеленый железный щит.

Единственное на свете место, где Тарок будет идти шагом, — за орудийным щитом.

Широкий, толщиной в четыре миллиметра лист из хромо-никелевой стали заслоняет ему полмира. Почему только за щитом его вечно натянутые нервы успокаиваются? Почему я не могу добиться того же уговорами и похлопыванием по гладкой шее? Тарок для меня — загадка. Быть может, ему ведомы какие-то иррациональные причины, по которым, отгораживаясь от мира, он обретает желанный покой и уверенность в себе? Матовая одноцветная стена движется перед ним, подрагивая и подскакивая на выбоинах, метафизическая бездна увлекает нас за нею следом, фрагменты мира по обеим сторонам дороги своим настырным однообразием не разрушают чар. Тарок вскидывает голову, ветер лохматит бахрому гривы, шерсть под жаркими лучами солнца темнеет в тех местах, где на тонкой коже проступает пот.

Как же трудно вникнуть в загадочную психику животного! Сравнительная анатомия, эмбриология, гистология будут, конечно, утверждать, что различия между нами больше, чем между моим Тароком и его прототипом из эпохи эоцена — четырехпалой лошадью величиной с собаку — или импрессионистскими фигурами, нацарапанными троглодитами на аллювиальных стенах пещер. Каков его мир, столь отличный от моего, составленного из стереоскопических картин, — мир, полный запахов, загадочных электромагнитных разрядов инстинкта, неодолимых тревог, зеленых нирван? Как увязывает он этот свой мир с миром человека, который эгоистически принуждает его влезать в хомут своих интересов, нести — ради своих человечьих целей — смерть в галопе и пыли кавалерийской атаки, представать символическим крылатым пегасом на памятниках и в эпических строках, а по окончании верной службы скалить белые зубы черепа на заброшенных пустырях? Компенсирует ли ему все это его красота? Золото львиной гривы, газелья чернота и бархат глаза, сверкание приносящей счастье подковы, геройский и несказанно прекрасный изгиб шеи, грациозный ритмичный шаг и картинный прыжок? Нет, компенсация Тароку — бег.

Батарея, отягощенная грузом своих забот, остается за нами где-то на шоссе. Земля реденького перелеска гудит под копытами: тум-тум-тум! Когда я натягиваю поводья — а знаете ли вы, что Тарок, полностью обряженный в сбрую, выглядит сошедшим с картины Жерико? — когда я натягиваю поводья, даже хорошее манежное воспитание и уроки войсковой службы не могут его сдержать. Я отвожу правый каблук назад и касаюсь его бока. Легонько, совсем легонько. Тарок, выбрасывая передние ноги, пускается в галоп. Моему инертному телу передается его сила. Безудержная стихия! Деревья слева и справа убегают назад. Мы мчимся по лесной опушке. Канавы и киснущие под зеленое кваканье лужи я перелетаю в ритме аллюра. Стараюсь, чтобы мой ритм был точным и гармоничным, чтобы мое движение сливалось с движением лошади. Воздух бьет мне в лицо, слезы застят глаза. А дальше луг — зеленая триумфальная арена моего скакуна. Под его победительным копытом гудят глубоко внизу залежи торфа. Мы догоняем далекие облака на горизонте. Вот и они исчезают из виду. Нету никаких забот, нет квантовой теории, нет горечи взаимных разочарований, сменяющихся, как в калейдоскопе, нет любовницы, которая изменяет, нет ножа, который метит в мою грудь, нет крапленой карты, которой кто-то побьет последний козырь моей жизни, нет презрения, которое тянет меня с собою в бездну! Есть бег! Полная оторванность от жизни.

И все это благодаря Тароку. А ведь он — обыкновенный верховой мерин, еще молодой — судя по первой букве имени (всем лошадям на букву "Т", согласно армейским ведомостям, шесть лет), масть светло-гнедая, принадлежность: 3-я батарея. А фейерверкер Роек не из сочувствия к нему, а потому что оберегает полковое имущество, неодобрительно смотрит на темные от пота бока и говорит:

— Э-эх, пан подхорунжий[1], вы-то на гражданку пойдете, а Тароку тут оставаться... Не дело так его загонять...

Батарея стоит на шоссе, верховые лошади выстроены поперек дороги. Канониры[2] расселись в пыльной канаве. Оглядевшись: не видит ли кто, я прижимаюсь щекой к потной шее Тарока.

Клочья пены выступают на ней и высыхают на солнце.

"Критика и жизнь", № 35
(приложение к газете "Дзенник польский", 1937, № 237)

1. Подхорунжий — в межвоенной Польше курсант офицерского училища.
2. Канонир — рядовой артиллерии.

Электра [I]

В духоте и пыли проходил обратный путь с артиллерийского полигона.

Колеса тяжелых орудий медленно проворачивались в песке бездорожья, оставляя глубокие борозды, песок ссыпáлся с ободьев по спицам, растекался тоненькими струйками. Канониры, пешие, шли по обочинам, холщовые их куртки потемнели от пота и липли к спине. Пот грязными каплями катился с висков по красной пылающей коже круглощеких лиц.

Я ехал в парной упряжке во главе батареи, рядом поручик Мазяш, кадровый военный, моложавый, бравый, мы о чем-то разговаривали, и я видел, как он искоса поглядывает на мой сапог, на левую ногу, и остро ощущал, что сапоги у меня новые, фасонистые, прямо от сапожника — я их заказал, когда меня, как подпоручика запаса, призвали на эти летние учения. В отличие от Мазяша, мне не видна была собственная нога, плавно изогнутая, как того требует правильная посадка: каблук ниже носка, а шпора пристегнута высоко, как можно выше, и тогда сапог — кавалерийский ботфорт из мягкой кожи, только с плотной вставкой вдоль икры в голенище и высоким задником, — демонстрирует стилизованную и чересчур (как оно свойственно полякам) изысканную линию; в общем, превосходный был сапог, образец варшавского сапожного искусства.

Но сапоги мои, столь элегантные и фасонистые, были новыми и слишком тесными, и, когда нога немела в кожаных объятьях, я горько расплачивался за этот шик и фасон.

Мы долго тащились по редколесью полигона, среди залежей, болот и песков, пока не показалась железнодорожная станция, водокачка и строения Повурска. Миновали шлагбаум, и батарея въехала на широкую улицу полудеревни, полугородка.

Еще издали я увидел на этой улице полкового адъютанта: симпатичный красивый поручик Аксамитовский махал мне рукой, в которой держал какую-то бумагу.

— Вам телеграмма... — сказал он и поспешил добавить: — Я ее вскрыл и... не падайте духом...

Это меня удивило — и телеграмма, и его сочувственный, успокаивающий тон. Телеграмму он мне подал, прежде чем я успел спешиться.

Я развернул сложенный пополам листок и не сразу понял, о чем речь. Там значилось: "Приезжай не знаю что я с собой сделаю Электра".

Я сидел в седле и собирался с мыслями, и волнение и тревога нарастали во мне.

В последнее время ей стало хуже, но сейчас только я осознал, что она в этом санатории одна, далеко, и лежит там уже давно, и ждет, пока ее вылечат и придет конец одиночеству, и к этому, естественно, тотчас примешалось удовлетворение, оттого что я ей так нужен и незаменим, и тревога усилилась, и от волнения вдруг перехватило горло.

Мерин нервно грыз мундштук, ему не терпелось последовать за другими лошадьми — батарея меж тем нас миновала, и распряженные пары уже вели в конюшню.

Меня била дрожь, и ноги деревенели в стременах, а поручик Аксамитовский, такой корректный и сострадательный, сказал:

— Я уже договорился с командиром, вы только зайдите в канцелярию за приказом и езжайте, еще успеете на вечерний поезд.

Ох, Электра!

От Повурска до Закопане — километров четыреста, не меньше, но мне повезло с пересадками, хотя на рассвете, пересаживаясь в Кракове, я чуть не упустил нужный поезд, потому что долго не мог натянуть на распухшие ноги эти проклятые сапоги — во время изматывающей поездки я их снял.

В Закопане я приехал около десяти утра, и гураль-извозчик отвез меня к подножью Губалувки[1], где находился санаторий.

В чем был, не умывшись, я расспросил портье и пошел за ним, стуча шпорами по линолеуму, среди холодных бликов никеля и стекла модерного санатория, и был приведен к ней, к Электре, в комнату.

Я увидел ее сразу, как только вошел. На мне были эти несчастные, слишком тесные сапоги, фуражка с блестящим околышем и шинель, накинутая на плечи. Я сбросил шинель на спинку первого попавшегося стула и подошел к кровати, и обнял Электру. Разглядывать ее времени не было. Лицо у нее было розовое, и какая-то розовая с кружевами nightdress[2], и среди всего этого голубели глаза и приоткрывались розовые губы, приоткрывались в полуулыбке, словно бы восторженно, но, как всегда в этой полуулыбке, были горестно искривлены. Эти губы, так хорошо знакомые, эти губы, такие близ-

1. Одна из горных вершин в Татрах, близ Закопане.
2. Ночная сорочка (*англ.*).

кие и похожие на мои, и такие родные, и влажные, и раскрытые, будто чашечка какого-то цветка, цветка, пугающего своей неестественной особостью, чертами вырожденчества, губы-цветок, цветок – часть человеческого тела, цветок тератологический[1], цветок – ее губы...

Я прижался губами к ее губам... впервые в жизни я целовал ее в губы, и меня затягивал, поил горечью этот сочный цветок, и я видел изблизи ее глаза и брови, и веки, обморочно полуопущенные, под которыми зрачки, убегающие вглубь, в себя, затуманенные наслаждением близостью, неповторимостью происходящего, казались невидящими, далекими, однако же внимательно и зорко на меня глядящими, и прядки ее волос щекотали мне щеки, и я целовал ее губы, и всасывал их горькую влагу, и лицо мне обжигала розовость ее щек, и не знаю, как долго это длилось, и в голове у меня мутилось, когда я ее, такую, ощущал в своих объятиях, и наконец мы оторвались друг от друга, и я сидел на краешке ее кровати, и смотрел на нее, а она на меня, и она сказала, не отпуская моей руки:

– Жорж, ох, Жорж...

Утром дом пустел. Около девяти тетка отправлялась в свою канцелярию (она была председательницей общества св. Фомы Кемпийского), кухарка с корзиной – на базар, отец был в банке, а Михал Окшанский отводил лошадей на перековку. Мы оставались одни в пустом доме. Уборка еще не началась, и от кроватей с разворошенной и измятой постелью, казалось, еще веет сном тех, что там спали.

Южная часть дома нагревалась солнцем. Зелень в саду вскипала и выплескивалась за ограду, и, чудилось, норовит ворваться в комнату.

Я не находил себе места. Из своей комнаты наверху спустился вниз и направился в кухню. Кухня, выходившая на север, лежала в голубой тени. Сверкали оконные стекла, в открытую дверь виден был золотой от солнца двор.

Я спустился босиком, и она меня не слышала. Она как раз в этой кухне мылась.

По пояс обнаженная. Я поразился, до чего пышное у нее тело – тело зрелой женщины, а не девочки, какой она еще была.

Она стояла босая, нагнувшись над тазом, раскорячив ноги; икры, казавшиеся очень толстыми, с внутренней стороны

1. Тератология – наука, изучающая уродства и пороки развития человека, животных и растений.

были покрыты тоненькой и довольно противной сеточкой бледно-голубых жилок; юбка и рубашка собрались неопрятными складками на бедрах. Она мылила шею и уши, золотые волосы потемнели от воды, и прядки на затылке слиплись. Когда она склонялась над неспокойным, колышущимся зеркалом воды, груди ее с розовыми сосками, большие полные груди, свисали толстыми сосульками, сталактитами. Кожа на спине, на грудях была бело-розово-перламутровая. Я как в землю врос, боясь, что она заметит мое присутствие, хотя что-то мне подсказывало: она знает.

Я ретировался наверх; вчерашнее по-прежнему не давало мне покоя.

Вчера, около полуночи, когда я уже погасил свет и лег, она позвала меня: "Жорж!"

До того она была у меня в комнате, и мы разговаривали о Дюссельдорфском Вампире[1]. Газеты были переполнены сообщениями о том, что в унылом фабричном районе рыщет садист, который убивает одиноких женщин.

Электра была напугана и возбуждена, и не могла оторваться от этой темы. Потом я еще что-то читал, а она вернулась в свою комнату, но позже, когда я уже лежал в кровати, позвала:

— Жорж!

— Что?

— Я боюсь...

— Чего?

— Вампира этого.

— Глупенькая! Спи!

Минутная тишина.

— Жорж!

— Ну что?

— Мне страшно...

— Видишь: сама только о нем и говоришь, вот тебе результат. Не бойся — спи...

— Жорж!

— Что?

— Сама не знаю. Я боюсь...

— Да брось ты, спи... не думай об этом...

— Жорж!

— Ну что? — Ее страх, хоть я и чувствовал, что не так уж ей страшно, исподволь передался и мне.

— Жорж... поди сюда...

1. Петер Кюртен (1883—1931) — маньяк по прозвищу Дюссельдорфский Вампир, совершивший множество жестоких убийств.

Дрожь! – не знаю почему.

– Постарайся заснуть.

– Жорж!

Не отвечаю.

– Жорж!

Моя комната напротив ее, и обе двери открыты. Темно, и в этой темноте ее голос – отчасти умоляющий, отчасти обиженный, немного неуверенный.

– Жорж...

– Что?

– Мне же страшно. Иди сюда...

Я встал и, не зажигая света, пошел в ее комнату. Пальцами шарил в воздухе, наткнулся на спинку кровати, нащупал постель.

Она быстро подвинулась, с нарочитой поспешностью освобождая мне место.

Я нервничал, сомневался, правильно ли поступаю. Лег рядом; поколебавшись, надо или не надо укрыться тем, чем укрыта она, все же натянул на себя край этого одеяла; с минуту лежал неподвижно, потом сказал:

– Да не бойся ты...

– Уже не боюсь...

По мере того как мы взрослели, все только усложнялось. Она была воплощением женственности. Когда бывала возбуждена, щеки, окрашенные розовым румянцем, вспыхивали и темнели от приливающей к лицу крови.

Одевалась она довольно небрежно, но ведь, собственно, была еще подростком. Ко мне относилась ровно, тем более странными казались внезапные перемены в ее поведении. Неудивительно, что она обращалась ко мне, если предстояли какие-то расходы. (Был период, когда я много выигрывал, и у меня водились деньги, с которыми я не очень-то и знал, что делать.) То ей надо было купить кое-что из одежды, то заплатить за корт. Но однажды она пришла, начала как обычно: "Жорж, дай мне на теннис", – и вдруг покраснела: "Нет, не надо..." Получалось, я чуть ли не содержу ее. Она была намного меня младше, но сексуально – без сомненья более зрелой.

Помалу из подсознания стала выползать – гонимая, избегаемая – мысль, определяющая мое к ней отношение. В конце концов я решился назвать вещь по имени. Да: это кровосмесительство.

Это не давало покоя. Внушало страх. В кругу семьи это осуждалось, но не обсуждалось; за ее пределами – осуждалось и широко обсуждалось. Меня стали преследовать и мучить вся-

кого рода прецеденты и ассоциации. Я много читал. В классической историософии и социологии это трактовалось как факт древней истории — как шаблон, для нас, ныне живущих, не пригодный. Иератические браки фараонов, где лишь сестра — достойная супруга, обычаи инков, эндогамия у первобытных народов. Кровосмешение среди простого люда, отражение этого в фольклоре. Я припомнил брата и сестру Слодычка у Тетмайера, читал странные сочинения Пшибышевского, порнографию Леонгарда Франка.

Уголовный кодекс, евгеника безапелляционно это осуждали.

Размышляя об этом, я старался самому себе это описать, и зримо представить, и не воспринимать трагически — а то ведь я уже был на грани истерии. Убеждал себя: если такое существует в природе, значит это естественно. Но в слова облечь по-прежнему не мог.

Лишь ночами, когда, в минуты сексуального возбуждения, я давал волю воображению, и оно пускалось в разнузданные пляски, из-за чего днем становилось стыдно, и я корил себя за то, что скатываюсь в пропасть чудовищной извращенности, — лишь в эти греховные и пугающе сладостные минуты, дав волю воображению, я видел себя и ее, подолгу, крупным планом, с непристойными интимными подробностями, и этот грех, этот трепет: брат и сестра! — искупал днем в угаре осуждения и самокритики.

Мы оба молчали. Я чувствовал ее рядом, и она казалась мне огромной, касался бедром ее бедра и явственно это бедро ощущал. Мы оба учащенно дышали и молчали.

Под одеялом было невыносимо жарко. Мы молчали. Это было упоительно и тревожно. Дыхание мое, верно, было горячим, и ее волосы лезли мне в рот, и я чувствовал ее всю, целиком, — рядом. Мы оба дрожали.

Я чувствовал запах ее волос, странный крепкий запах, очень близко, и чувствовал всю ее, целиком, и наслаждение усиливалось оттого, что мы вот так, вместе, под одним одеялом, и нам неудобно, тесно, и я знал, что ей неудобно, и хотел, чтобы ей стало больно — больно, потому что неудобно, потому что она прижата к холодной стене, и пускай она это почувствует... а еще был страх, и дрожь, и округлость ее бедра, и запах ее волос, и так мы лежали замерев — не знаю, долго ли, — брат и сестра!

Я предложил:

— Давай ляжем валетом.

А она, не сразу, сказала:

– Мне уже не страшно...

И я поспешно встал, и босиком по холодному полу вернулся в свою комнату.

В потемках ощупью добрался до окна – оно было открыто. Меня мутило. Я высунулся наружу, и меня вырвало.

Потом лег и сразу заснул.

Но куда было деваться, если она сама создавала или провоцировала такие ситуации, что кровь бросалась мне в лицо!

Как-то мы сидели рядом и читали книжку – был у нас такой обычай: читать вместе, одновременно, чтобы никому не приходилось ждать. Это было забавно: то один, то другая дожидались, пока отставший перевернет страницу.

Мы сидели на крыльце дома, и она придавила мою руку, которую я положил на ступеньку, придавила бедром. Барышня уже была не маленькая, и я чувствовал это бедро, но не убирал руки, напротив, отметил в сознании: вот оно, ее бедро, – и рука у меня затекла, и мне было не по себе, и мы притворялись, будто ничего не происходит, а ведь она знала, что придавила мою руку, и наверняка ее чувствовала, и ей тоже было не по себе, и мы оба не подавали виду, но нам уже стало не до чтения, и мы прервались, и о чем-то заговорили, о чем-то совершенно нейтральном, но голоса наши дрожали от волнения, и было нам необъяснимо странно...

Брат и сестра.

Из архива автора

Электра [II]

Я встретил Бунека Якубовского, который жил в моей бывшей комнате, и он мне сказал:

– Послушай, тебе вчера пришла телеграмма, лежит со вчерашнего дня.

Мы подошли к знакомому дому, и я подождал его на улице, и он принес мне сложенный и заклеенный листок. Я недоумевал – что там может быть? – и вскрыл телеграмму, и там было:

"Электра умерла похороны пятницу тетя".

Я повернулся на каблуках, оставил растерявшегося Бунека и пошел по улице. Весь огромный мир, необъятный и разнообразный, все, что мне было знакомо, к чему я прикасался, что предчувствовал, о чем мне рассказывали, что я себе вооб-

ражал, во что не верил, что наводило на меня скуку, что меня увлекало, все далекое и близкое, хорошее и плохое, тягостное и упоительное, все это вдруг устремилось ко мне, обступило и, уменьшившись и перемешавшись, кануло в небытие, и поэтому я ничего не мог понять, просто не понимал, что случилось, и шел себе, теребя в кармане телеграмму, и ни о чем не думал. Да, я знал: произошло что-то важное, напрямую меня касающееся, но думать сейчас об этом не хотел — потом, может быть, но не сейчас... а чтобы о чем-нибудь все-таки думать и не допустить *той* мысли, требовалось что-то подставить на ее место, как это делается в алгебре, например, вместо 2а подставляем х... Ну, скажем, слово... "убегает". Да-да, "убегает" — подходящее слово, не знаю почему, но очень подходящее. Убегает... Что убегает? Да что угодно. Все может убегать, даже самое неожиданное. Вода, к примеру? Разумеется, может! Когда открывают плотину, вода убегает из водоема, там становится сухо: вода утекла. А можно вообразить себе, скажем, Средиземное море, в нем, скажем, образовалась разница уровней, и там, где Гибралтар, где Геркулесовы столпы, море быстро переливается через край, и с берега это сразу станет заметно, потому что вода убегает торопливо, спеша все смыть на своем пути, бежит по наклонной поверхности, все быстрей и быстрее, и, если нам захочется ее догнать, будет уже поздно: от воды останется только мокрый след и мелкая рябь отлива, но мы кинемся вдогонку за этой мелкой волной по плоскому краю чаши, сосуда, моря мира, а вода будет убывать, и это мучительно, как во сне, и надо задержать ее хоть на минуту, чтобы иметь время подумать, уловить, что́ происходит, — но нет, убегает, убегает...

Бум! — и у меня потемнело в глазах, и под веками замаячили, затрепетали желтые лоскуты... Я шел не глядя и врезался головой в фонарный столб, а на столбе, как раз на высоте человеческого роста, украшение, кольцо из литого железа, и я ударился об него лбом. Тупая боль левее виска, над самой бровью; я почувствовал, как потекла кровь, а когда дотронулся пальцами и посмотрел, пальцы были красные.

Улица вела на окраину и не была многолюдной. Вынув из кармана платок, я приложил его к брови — шишка на лбу набухала прямо под рукой — и пошел вдоль сетчатых оград мещанских домов с палисадниками. Потом миновал не замощенную площадь и дошел до того места, где две улицы, сойдясь, соединялись, чтобы, изогнувшись мостом, аркой из красного кирпича, перескочить через двухколейный путь, бегущий в глубоком котловане. Там, где эти улицы сливались, была водоразборная колонка с коротким рычагом; если на

него нажать, начинала хлестать вода. Тут, вдалеке от чужих глаз — на улице не было ни души, — я много раз прикладывал окровавленный мокрый платок ко лбу и наконец остановил кровь.

Потом я перелез через проволочное ограждение и, сев на краю котлована, смотрел на близкий горизонт с куполами деревьев и красными купами домов, и высоко взметнувшейся водокачкой больницы для умалишенных.

Внизу, на железнодорожном полотне, несколько рабочих ремонтировали пути. Подъехал и проехал товарный состав: локомотив с тендером, заваленным углем, который кочегар поливал водой из шланга, потом багажный вагон и открытые платформы, тоже груженные углем. Жирно блестевший уголь был испещрен белыми брызгами извести.

Потом я прошел немного вдоль путей и дошел до второго моста; здесь заканчивалась трамвайная линия, ведущая в город. Я сел в вагон, который долго стоял, пока в перспективе улицы не показался другой трамвай, направляющийся к конечной остановке, и тогда кондуктор зазвонил, и мы поехали.

В вагоне немногочисленные пассажиры не сводили с меня глаз, но я этого не замечал, пока кондуктор не сказал мне:

— Сделайте что-нибудь, у вас кровь...

Я потрогал лоб, и опять оказалось, что платок у меня красный. Увидев первую же вывеску АПТЕКА, выскочил из трамвая. Было уже поздно, и при свете лампы старик аптекарь приклеил мне над бровью заплатку из розового лейкопластыря.

И тогда уже я пошел домой.

Автобус отходил на следующий день в девять утра с площади Стшелецкого, и там я довольно долго ждал, потому что расписание не особо соблюдалось — отправление зависело от того, когда соберется полный комплект пассажиров. Наконец небритый водитель взгромоздился на сиденье, билетный кассир не спеша выдавал сдачу из кожаной сумки на животе, на площадь въезжали и разворачивались запыленные автобусы с мешками и корзинами на крыше; тронулись.

Сперва ехали по Жулкевскому предместью — оживленный район: грузовики и притормаживающие на поворотах трамваи, — потом была городская застава, ограды спиртоперегонного завода и паровых мельниц с большими зернохранилищами, потом — пригородные шинки, заборы, фабричные стены, железнодорожные ветки с пустыми вагонами, свалки, склады, сточные канавы.

А дальше уже пошла разматываться лента большака, равномерно обсаженного ивами. Навстречу тянулись в город подводы, по протоптанной вдоль дороги тропке брели женщины, сгибаясь под грузом узлов из домоткаиого холста. Огороды, огороды с обеих сторон, частоколы подпорок для фасоли и квадраты, засаженные капустой и помидорами. На откосах торчали вкривь и вкось кусты боярышника, серые от дорожной пыли. Работал паровой шоссейный каток, из трубы шел дым, сверкало, бешено разгоняясь, маховое колесо, и скрипел свежий щебень под тяжестью его цилиндров.

Когда ехали мимо деревень, к большаку подбегали мальчишки и кидали вдогонку автобусу комья земли, и возбужденно жестикулировали, и с дороги съезжал плуг, запряженный парой тощих лошаденок, волокущих его на двух крест-накрест подложенных снизу, облепленных грязью жердях. На просторных выгонах посреди деревни гоготали оравы гусей — и белых, и пегих, и ощипанных, — и коровы провожали взглядом проезжающих, либо, стоя в грязи у корыт подле колодцев, тупо жевали.

Когда доехали до места, я выбрался из переполненного автобуса и пошел боковыми улочками к нашему дому. Издалека видна была его железная крыша среди буйных кустов сирени. На улице перед домом я увидел отца. Он стоял ко мне спиной и рассматривал что-то на въездных воротах. Поседевший, страдальчески сутулясь, изучал, наклонив набок голову, отпечатанное по всем правилам, лоснящееся от жирной типографской краски объявление с толстой, в палец шириною, траурной каймой, крупными буквами оповещающее тесный мирок маленького городка о том, что Электра "...на девятнадцатом году жизни... безутешно скорбящие..."

Отец услышал мои шаги и обернулся, и сказал, часто моргая глазами в красной обводке век:

— Видишь, Жорж... Видишь...

Съехалось много родственников, они бродили по комнатам, сидели, переговаривались, один из дальних равнодушных дядюшек, большой и плечистый, то и дело утирал слезу — не потому, что горевал о смерти Электры, видно, был чувствителен к траурной атмосфере; приходили с соболезнованиями и чужие, и я не мог найти себе места. В конце концов обнаружил, что покойнее всего в кухне.

В кухне без передышки готовили, шуточное ли дело — накормить столько народу; Евка, кухарка, крутилась между плитой и столом, и я, чтобы ей не мешать, сел у окна и смотрел на деревья окрестных садов, и на плите шипели в облачках

пара капли, скатившиеся из-под крышек кастрюль, и мухи носились как безумные и обсыпáли черными точками побеленный карниз печи.

Кухарка отбивала котлеты, колотя по ним молотком с косой насечкой, поджаривала муку для заправки и приоткрывала крышку кастрюли, где булькала, довариваясь, картошка. Когда кто-нибудь заглядывал в дверь, в кухню врывался тяжелый запах зелени, "лесной воды" и горящих в жаркий день свечей. Но, закрывшись, дверь отгораживала от всего этого кухню, и мысль тотчас цеплялась за что-то другое.

Из архива автора

Лёринц Сабо

Стихи

Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

Лёринц Сабо (1900—1957) — один из самых значительных венгерских поэтов XX века. Его имя называют сразу за именами Эндре Ади, Аттилы Йожефа, Михая Бабича, Деже Костолани. Как поэт он вырос и созрел в русле литературного направления, которое сформировалось вокруг Ади и журнала "Нюгат", — направления, ставшего базой и стержнем обновления венгерской литературы, венгерской художественной мысли в минувшем столетии. Но, конечно, как всякий по-настоящему большой художник, Лёринц Сабо двигался в творчестве своим, индивидуальным путем. Его поэзия так же неоднозначна, порой мучительно противоречива, как и та эпоха — эпоха двух межвоенных десятилетий, — на которую пришелся расцвет его творчества. Лирика его часто обретает философское измерение, поэт склонен к необычным поворотам мысли, к парадоксам, к причудливым образным эффектам; но всегда и везде он, подчас с трудом преодолевая безнадежность, ищет в мрачной, зловещей реальности светлое, позитивное начало. Публикуемые здесь стихи, думается, наглядно подтверждают это.

© Szabó Lőrinc, 1950
© Ю. Гусев. Перевод, вступление, 2010

Материализм

Бывает — как нежданное прозренье...
на улице замрешь, разинув рот,
и смотришь, как вещей круговорот
живое испускает излученье,
и даже мостовая — как теченье,
асфальт — насквозь прозрачен, как вода,
и ты ступить не смеешь никуда:
ведь там везде — таинственные жизни,
что из-под ног вот-вот мальками брызнут...

О мать-материя, ты — чудо из чудес!
Дом, скажем, выстыл, иней в нем белеет,
но — уголь даст гора, дрова подарит лес:
материя горит, чтоб стало мне теплее;
утес вознесся в небо мрачной тенью,
и в нем — чудесный грот, вокруг — цветов цветенье;
а там гремит сверкающий металл:
железо, сталь гудят, как молот с наковальней,
и весь мой дом, от кухни и до спальни,
весь — на его плечах, весь — у него в руках;
тот звонкий ритм — он и в моих стихах;
металл работает, скрежещет для меня,
то беспощадно остр, то мягок от огня,
то — обод колеса, то — плоский лист,
шершав, зеркально гладок иль ребрист,
металл — покорней тягловой скотины.
Материя — автомобиля шины,
материя — летящий самолет,
бензин, что в облаках меня несет,
материя — всё, что вокруг меня, на мне:
ремень на брюках, пряжка на ремне,
очки, ботинки, карандаш, тетрадь,
посуда, лампа, книжный шкаф, кровать,
комфорт, лекарства, сытость, быстрота,
хмельной экстаз и даже красота,
звучание гитарных струн и клавиш...
Все, что захочешь, даже что представишь,
материя дает мне, чтобы я
для своего земного бытия
использовал возможности ее и силу,
и благородство, что она в себе носила,
и, превратив в отходы — их не жалко, —

с презрением их отправлял на свалку,
так отплатив ей за ее добро,
за то терпение святое, неземное,
с каким материя ведет себя со мною.

Друзья, скажите, ну могу ль я верить
в иное что-то? Где найдешь еще
такую доброту, которой чужд расчет?
Нигде, нигде! Она лишь в ней, в материи!
В материи, сто тысяч раз готовой
для блага блудной дочери своей —
души — унизиться и покориться ей.
Материя покорною рабою
во имя жизни жертвует собою.
О, есть ли что достойней обожанья,
стыдливого желанья подражанья,
чем ты, материя, — синоним чистоты!
Пусть проклинаема с амвонов ты,
пусть груб и непочтителен с тобой
глупец, невежда, лицемер любой,
но кто-нибудь, когда-нибудь спросил ли,
на что ты не жалея тратишь силы;
зачем себя охотно и легко
приносят в жертву сталь, бетон, стекло;
зачем растения нам плоть свою и кровь
дарить готовы без раздумий вновь и вновь;
зачем энергию загадочных полей
природа нам дает из кладовой своей?
О, объясните мне, родные, в чем тут дело:

зачем душе так рабски служит тело?

1928

Случай

Намедни, в середине дня,
я вышел, хмурый, за ворота —
и вдруг почувствовал: меня
за плечи мягко тронул кто-то.

Вот так, когда несносен гнет,
та, кто тебя всем сердцем любит,
к тебе неслышно подойдет,
обнимет нежно, приголубит,

мол, не кручинься, милый мой!..
Я обернулся: за спиною
апрельский ветер озорной
сухою шелестел листвою,

кусты трепал и теребил.
Но — ласковое то касанье...
В нем словно зов неясный был
и чье-то теплое дыханье.

Не удивился б я, узрев
там, меж кустов, в дрожанье света
одну из муз, небесных дев,
что есть у каждого поэта.

Носился ветер по кустам,
а я стоял: а вдруг... а всё же...
Пусть никого не видно там
и никого там быть не может,

но солнца свет играл в саду,
прозрачные струились тени,
и я как будто видел грудь,
мелькнули девичьи колени...

А ветер, подлетев ко мне,
прошелестел над самым ухом:
дружище, ты еще вполне
и сердцем бодр, и молод духом.

1933

Сепаратный мир

Я наконец-то понял, братцы,
что жизнь — дерьмо.
Эх, мне б об этом догадаться
давным-давно:

я б не насвистывал задорно,
чтоб скрыть тоску,
а, в лес уйдя, себя бы вздернул
я на суку.

Да, все мы в юности любили
мечтать о том,
что вот — соединим усилья
и мир спасем.

Уговорим — или принудим —
людей понять:
должны — на то они и люди —
себя менять...

Но мир с тех пор не смог пристойней,
разумней стать.
Зато я стал его спокойней
воспринимать.

Я долго тщился мерить вещи
на свой аршин,
настроить слух на шепот вещий
седых вершин,

искать простой закон природы
в игре теней...
За тридцать три прожитых года
я стал умней.

Я вижу: подлость выше ныне,
чем тот порог,
что прежде я, юнец наивный,
представить мог;

я вижу: плачет неудачник,
попав впросак,
его лишь тот не одурачит,
кто сам дурак;

ум — у корысти на подхвате,
подлец и лжец
себе закажет и оплатит
любой венец;

я вижу: гибнут идеалы,
достигнув дна;
равняет нас, больших и малых,
лишь смерть одна...

Но ведь не нравов же упадок —
причина бед:
все против всех — таков порядок;
другого — нет.

Смотрю, с бесстрастием во взоре
на этот мир:
он — словно мрачный лепрозорий,
вампиров пир.

Ах, знать бы обо всем об этом
в свои года,
не стал бы ни за что поэтом
я никогда.

Однако что-то же имела
судьба в виду,
когда с поэзией велела
мне быть в ладу,

а чтоб не повернул обратно,
не начал ныть,
велела с жизнью сепаратный
мир заключить.

Вот почему я каждый лучик
готов любить,
стихи пишу в ветрах колючих,
на поле битв.

С улыбкой я меж прокажённых
хожу, пою
и все сильней новорожденных
детей люблю.

1933

Владимир Познер

Разъединенные Штаты

Фрагменты записных книжек

Перевод с французского Л. Пружанской

Январь 1936

НЬЮ-ЙОРК. Полночь. Я стою на автобусной остановке на углу 42-й улицы. Ко мне подходит незнакомец и бормочет что-то невнятное. Я протягиваю ему монету, он зажимает ее в кулаке, но, судя по всему, уходить не собирается.

— Вы безработный? — спрашиваю. Он кивает. — Кто по профессии?

— Механик. Работал в Детройте, на "Форде".

— И как вам теперь живется?

— Столуюсь в городском приюте. Ночую в метро. За пять центов можно проехать от Бруклина до конечной, потом вернуться, потом по новой, и так всю ночь. Тормоза лязгнут на подъезде к станции — сна как не бывало.

— А сейчас вы куда?

— Сам не знаю.

© Lux Éditeur, Montréal, 2010
© Л. Пружанская. Перевод, 2010

— Тогда пойдемте вместе. Хотите?

— Хочу. Я уже давно ни с кем не общался.

— А что, в Нью-Йорке друзей не завели?

— Как не завел? Завел. Ребята вроде меня. А с теми, кто женился, неохота встречаться: стыдно как-то.

— И давно вы без работы?

— Восемнадцать месяцев. Но я таким не всегда был, — он показывает на свою бороду.

— И что вы собираетесь делать через месяц? Через год?

— Это вы про будущее мое? Ну, работы у меня уже, наверное, никогда не будет.

— Но вы ее ищете?

— А зачем?

— Но как же тогда?

— Буду загорать себе на травке в Центральном парке, пока полицейский не даст поджопника и не прогонит. В Нью-Йорке-то хоть можно гулять в чем хочешь. А вот в Чикаго, если ты, к примеру, не так одет, тебя сразу упекут в бомжатник. Не успел оттуда выйти, а они тебя — обратно.

2 января. Прочел в "Нью-Йорк таймс": "Генри Форд предсказывает скорое процветание. 'Людям надоест ничего не делать, — утверждает он, — и они вернутся на работу'".

7 января. Сегодня арестовали Дэвида Рубина, 33 года, механика по профессии. Его обнаружили пожарные. Рубин сидел у себя в комнате, наполненной дымом. Он объяснил, что хотел поджечь мебель. Вид у него был потерянный. Рубин решил, что пожаром сможет привлечь к себе внимание. "Либо так, либо смерть", — сказал он.

Кафе на 42-й улице. За соседним столиком расфуфыренная бырышня пьет молочный коктейль. Напротив нее сидит молодой человек, перед ним — тарелка с сырыми овощами, он тихо обращается к своей визави. Говорит монотонно:

— Я с вами говорю. Я вас не знаю. И не хочу знать. Не думайте, что я пытаюсь познакомиться. Мне до вас нет дела. А все равно говорю. Мне же надо хоть с кем-то поговорить. Вы лично меня не интересуете. Когда вы встанете и уйдете, я не пойду за вами. Но мне надо с кем-то поговорить. Мне надо поговорить, вот я и говорю. Я с вами говорю.

Но барышня на него даже не смотрит. Она допивает коктейль и уходит. Парень замолкает. Он еще молод. К тому же далеко не урод. Да и на безработного не похож.

10 января. Газеты подробно освещают казнь четырех человек в Синг-Синге. За час до того, как приговоренных посадили на электрический стул, в тюрьму прибыл Роберт Элиотт, палач Сакко и Ванцетти. Затем места в зале заняли репортеры, полицейские, врачи. Ньюмена Ремонда ввели в зал первым. В его семье — одиннадцать детей. Он — самый младший, говорят, был послушным сыном. Капеллан подвел его к стулу. Палач пропустил через тело мальчика 2200 вольт, Ньюмен упал бы вперед, но ремни, которыми он был туго пристегнут, удержали. Тюремщики уложили труп на белую медицинскую койку, а на стул усадили следующего, по имени Анджелини. Он поцеловал распятие и прочитал "Отче наш". Две минуты спустя его не стало. Третий, Джилбрид, вошел не спеша, окинул присутствующих равнодушным взглядом и бросил на пол окурок, который тут же исчез под ботинком охранника. Джилбрид умер; один глаз полузакрыт, другой, наоборот, — широко распахнут. Затем наступила очередь главаря банды — Орли. Его отец погиб в шахте, мать снова вышла замуж. Совсем юным Орли был вынужден уйти из дома и зарабатывать на жизнь. Он попал под влияние Нельсона Кларка. Этот Кларк был важной птицей: бывший кандидат на пост губернатора Массачусетса и "мозг" банды. Сейчас он отбывает срок за хранение краденого.

Все четверо едва достигли совершеннолетия. Их засек полицейский, когда они пытались ограбить магазин. Орли убил его. Они украли 47 долларов.

12 января. Объявление в "Нью-Йорк таймс": "Не хотите проблем с рабочими? Купите в Нью-Джерси завод, где нет профсоюза! Оборудование обеспечено".

Нижний Манхеттен. Витрина магазина электротоваров. Под надписью "Церковная утварь" продаются красные лампочки с вольфрамовой нитью в форме креста.

Был в публичной библиотеке. На мраморных скамейках в холле весь день сидят женщины. Мужчин, однако, больше. Некоторые погружены в чтение подобранных с пола газет, большинство ничего не делают или просто дремлют. При этом все одеты весьма прилично: фетровые шляпы, белые воротнички, порой даже и накрахмаленные, но обувь стоптанная. Многие из них знакомы друг с другом, они тихо переговариваются. Все — безработные.

Одна молодая жительница Нью-Йорка, страдающая каким-то недугом, приходит к целительнице. Та рассказывает ей о некой "тетушке Жозефине", настоящей волшебнице, которая живет на 7-й авеню в собственном доме на вершине холма. И самое главное: волшебница знается с дьяволом.

Несколько месяцев спустя обман вскрывается.

— Откуда мне было знать, — говорит девушка, — что в центре Нью-Йорка нет никакого холма? Я там сроду не бывала.

20 января. Правительство штата Индиана только что объявило о введении чрезвычайного положения в тех округах, где идут забастовки. Это не новость. В округе Виго, в той же Индиане, режим чрезвычайного положения действует шесть месяцев, а в округе Салливан — уже более двух лет, и все по той же причине. От бастующих требуется одно — хорошо себя вести.

Судья, который вынес приговор одному адвентисту, обвиненному в нарушении заповеди (работал в воскресенье), получил письмо от жителя Ноксвилля. Автор послания обещал подарить утку человеку, который сможет найти в Священном Писании слова о том, что воскресенье равносильно шаббату.

Газета "Ньюс", выходящая в Энглвуде, сообщает, что сотня нуждающихся семей из богатого пригорода Джерси-Сити питается на помойке. Статья завершается словами: "Такое положение требует безотлагательного вмешательства, и всякий добропорядочный гражданин должен отнестись к этому со вниманием, даже если ему придется пожертвовать последний доллар. Необходимо собрать нужную сумму на строительство мусоросжигателя и положить конец возмутительной практике".

Афиши в метро

"Избавлю от мозолей! Без боли! Одна капелька — и все прошло!" (*Блондинка, в розовом халатике, лежит на животике задрав ножки.*)

"Секрет успеха? Светлая копна волос! Все мужчины — ваши! Хотите? Покупайте осветляющий шампунь..." (*Блондинка в лисьей горжетке.*)

"У вас свежее дыхание?" (*Целующаяся пара.*) "Голливудский блеск ваших губ" (*Целующаяся пара.*) "Любовь до гроба, если ваксой чистить обувь" (*Вид ног, по всем признакам, целующейся пары.*)

В городе Ньютоне, расположенном в роскошном пригороде Бостона, пастор Унитарной церкви Р. П. Барт произнес молитву, состоящую из четырех слов: "Почему Ты меня оставил?" Продолжение исполнила танцевальная группа.

30 января. Пол Ди Бари, который уже два года как ходит в безработных, зарубил топором жену, а затем выбросился из окна своей квартиры. Дочки Бари рассказали полиции, что отец в последнее время вел себя странно. Когда девчушки веселились, он готов был наброситься на них с кулаками, думая, что они смеются над ним.

Здесь безработные стыдятся своего положения. В стране "неограниченных возможностей" тот, кто не у дел, считается неудачником, человеком, которому в жизни не повезло. И никому ни до кого дела нет. "Рокфеллер — владеет состоянием, ну а я, Ди Бари, — человек никчемный. Даже дочери смеются надо мной".

Принять пособие по безработице — значит расписаться в собственной несостоятельности. Это убеждение сейчас начинает понемногу терять популярность, по крайней мере среди безработных. Но сколько лет нужно прожить в нищете, чтобы все наконец поняли: когда не везет одновременно двенадцати миллионам человек, — это не просто совпадение!

Джон Джейкоб Астор III, отпрыск богатой семьи, не так давно решил поиграть в офисного служащего одной из принадлежащих ему фирм. Он назначил себе зарплату 25 долларов в неделю и был готов "пройти весь путь снизу доверху". Однако работал недолго. В скором времени Астор бросил все и уехал развлекаться в Европу. Репортеры спросили его, почему он столь резко изменил свои планы.

— Работа отнимала слишком много времени, — ответил он. — Нужно было уделять ей восемь часов в день и приходить в офис к девяти утра. Возвращаться домой раньше шести вечера никак не получалось.

— Так вы за тридцатичасовую рабочую неделю? — спросил его один журналист.

— Конечно. Работать тридцать часов гораздо легче, чем сорок восемь.

"40 000 против двадцати сантиметров снежного покрова"

Имеется в виду "40 000 человек". На первых полосах газет — гигантские заголовки. Обещают снегопад. В Бауэри подобрали труп человека без брюк и ботинок. Некто ютился в подъезде, там и умер. Под кучей газет, служивших покрывалом, обнаружили окоченевшего старика. Полиция нашла в

квартире замерзшие тела двух учительниц-пенсионерок, на кухне еды не было, обогреватель не работал. И т. д. и т. п. Те, кто еще жив, согреваются как могут. Ежедневно происходят пожары в Гарлеме, на Ист-Сайде, в Бруклине. И везде есть жертвы. Таким образом, отсутствие центрального отопления приводит к пожарам. Тех, кто ищет пристанища в нью-йоркских бараках, миллионы. Миллионы. Кого? Имеются в виду живые люди.

Февраль 1936

Мистер Итон, методист и консерватор, требует у жены развода с правом воспитания детей. Их мать имела неосторожность "мыслить". Процесс, на котором председательствовал судья Гросман, только что завершился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Вот некоторые выдержки из допроса госпожи Итон, проведенного судьей и адвокатом супруга — мистером Тиффани.

Судья. Как вы понимаете существование Бога?

Миссис Итон. Бог — это сила, живущая в каждом человеке. Человек неотделим от Бога.

Судья. Вы верите в то, что Бог существует независимо от человека?

Миссис Итон. Нет. Человек связан с Богом.

Судья. Верите ли вы в чудеса?

Миссис Итон. Нет.

Адвокат Тиффани. Как вы считаете, надо ли поддерживать религию в нашей стране?

Миссис Итон. Надо. Но религию, а не Церковь.

Адвокат Тиффани. Вы верите в Непорочное зачатие?

Миссис Итон. Нет.

Судья. Верите ли вы в потусторонний мир, будь то рай или ад?

Миссис Итон. Нет конечно!

Адвокат Тиффани. Значит, вы не верите в будущее?

Миссис Итон. Почему же, верю.

Адвокат Тиффани. То есть?..

Миссис Итон. Я верю в вечность.

Адвокат Тиффани. Это как?

Миссис Итон. Я не могу представить себе, что жизнь на земле когда-нибудь прекратится. Но какой она будет, понятия не имею.

Адвокат Тиффани. Мы считаем, что из одной жизни мы переходим в другую. Вы согласны?

Судья. Мэм, если вы не можете ответить, так и скажите.

Миссис Итон. Я думаю, это слишком сложный вопрос.

Адвокат Тиффани. Когда вы говорите, что Церковь для вас ничто, означает ли это, что вы безразличны к вопросам воспитания ваших детей?

Миссис Итон. Напротив, меня эти вопросы очень волнуют.

Адвокат Тиффани. Принадлежите или принадлежали ли вы к так называемым "красным"?

Миссис Итон. Никогда в жизни.

Адвокат Тиффани. Вы когда-нибудь принимали участие в организациях, имеющих целью подрыв общественных устоев?

Миссис Итон. Никогда.

Адвокат Тиффани. Может, вы участвовали в уличных демонстрациях?

Миссис Итон. Нет.

Судья. Как вы относитесь к марксистской трактовке религии?

Миссис Итон. Я о ней мало слышала.

Судья. Что вы думаете о религии и ее влиянии на народ?

Миссис Итон. Полагаю, в каждом из нас живет религиозный дух. Если коротко, я считаю, что у меня есть обязательства перед собой, перед моими близкими и перед Богом. Вот и все.

Судья. Но это ведь и есть марксистское определение?

Миссис Итон. Я не знаю, что Маркс писал о религии, он ведь был экономистом, а не толкователем Библии.

Судья. Что вы думаете об институте брака?

Миссис Итон. Я замужем, как и все остальные...

Судья. Но понимаете ли вы под институтом брака то же, что и мы, или вам все-таки ближе марксистская модель?

Миссис Итон. Я не знаю, что писал об этом Маркс.

Судья. Вы верите в частную собственность?

Миссис Итон. Да.

Судья. Считаете ли вы, что семью и школу должно контролировать государство?

Миссис Итон. Так оно и есть, в какой-то мере.

Судья. Может быть, контроль должен быть полным?

Миссис Итон. Нет.

И вот какое заключение составил судья Гросман:

"Всем хорошо известно, что коммунистические принципы в корне противоречат тому, что в большинстве своем исповедуют американцы. Коммунистические принципы противоречат вере в Высшее начало, в братство людей, в женскую добро-

детель, в институт брака, а также в особые отношения между взрослыми и детьми. Ответчица, конечно же, сама может распоряжаться своей душой, но она не имеет права вопреки воле отца навязывать своим детям убеждения, против которых восстает большинство наших законопослушных граждан. Поэтому вопрос о разводе решается в пользу мистера Итона, и воспитание детей будет доверено ему. Мать получит возможность встречаться с ними, если откажется от всякой попытки вбивать им в головы свою безбожную коммунистическую веру". Все это происходит в американском городе с полумиллионным населением в 18 км от Нью-Йорка в 1936 г.

Белый мужчина посетил негритянский бордель в Бруклине. Вход – 25 центов. Его отвели на второй этаж и там набили морду. В суде он не может вспомнить лица бандитов. Судья говорит:

– А на что вы, собственно, рассчитывали, идя к черным, да еще за 25 центов? В следующий раз, когда вам захочется посетить подобное заведение, отправляйтесь в приличные места.

Гарлемский банк. На мутном стекле, с отверстиями для окошек кассы, можно прочесть: "Вы составили завещание?"

В Калифорнии безработные холостяки не имеют права на пособие. Стоктонская газета опубликовала такое объявление: "Требуется женщина. Ветеран войны, вычеркнутый из списка получателей пособия по безработице, либо женится, либо сдохнет с голоду".

7 февраля. Психиатр из Чикаго, доктор Макмерри, считает, что 20–30 % американских служащих и работодателей страдают нервными заболеваниями. У первых симптомы таковы: мечтательность, рассеянность, плохое самочувствие без видимых органических патологий, чрезмерная подозрительность по отношению к коллегам и начальству, постоянная готовность к обороне, быстрая утомляемость, часто повторяющиеся ошибки и несчастные случаи на производстве. Подобные расстройства характерны и для владельцев предприятий "безусловно потому, что у них больше возможностей проявлять самоуправство". Среди симптомов можно выделить высокомерие, жестокость к подчиненным и крайнюю скупость.

Компания "Ассошиэйтед газ энд электрик" удерживала с сотрудников от 4 до 10 % зарплаты, обязав их таким образом

приобретать ее акции. В то же время компания поручила семнадцати брокерам выкупить эти акции у рабочих по курсу 55 центов за доллар. За уточнениями обращайтесь к прокурору штата Нью-Йорк, уведомившему об этом журналистов.

17 февраля. Отрывок из письма читателя газеты "Дейли ньюс": "Считаю необходимым стерилизовать рецидивистов, а не идти на очередные уступки. Вот тогда-то мы сможем сказать, что добились успехов в борьбе с преступностью".

Газета города Чаттануги, штат Теннесси, публикует заявление дирекции городского отдела образования: "Администраторы учебных заведений для черных уведомляют, что сотни чернокожих детей не являются на занятия главным образом из-за того, что не завтракают. Лишь одному Богу известно, сколько нуждающихся белых остаются без завтрака, однако они не стесняются в этом признаться".

22 февраля. Сегодня в газетах два любопытных факта. В Нью-Йорке полицейский застал в магазине мелкого и вполне безобидного воришку и застрелил на месте преступления. В Сиракузах полицейский заметил трех школьников, сбежавших с уроков, открыл по ним огонь и убил одного из них. "Я только хотел их пугнуть", — заявил он.

"Стреляй на поражение". Если твой револьвер заряжен, зачем попусту тратить пули?

Лагерь № 217 расположен в штате Алабама, недалеко от города Голдсборо. Стоя в ледяной воде, восемнадцать чернокожих заключенных работают с утра до ночи на осушении болот. Ночью их сажают в стальную клетку, поверх которой натянута парусина. Для обогрева у них есть плитка и кучка угля. В случае недомогания им дают касторку или нюхательную соль. Один заключенный умер от приступа аппендицита, после того как его пытались лечить солью.

Америка — страна цивилизованная, а потому заключенные каждую субботу принимают душ. Но поскольку их еженедельно наказывают, приятное совмещают с полезным: заключенных секут прямо в душе.

Без работы — черный, а с работой — белый
Чернорабочий — черный,
квалифицированный рабочий — белый
Твой соратник — черный, а начальник — белый
Хлеб белый, а нищета — черная

Черные собирают хлопок, а белые в него рядятся
Черные моют "пульман", а белые в нем ездят
Белые едят то, что им готовят черные
Белые танцуют джаз, который играют черные
И никогда их голосам не слиться
Ведь хлеб и нищета несовместимы

Черный пекарь у печи становится белым
Белый шахтер в шахте становится черным
Винни Вильямс была черной, а Сэм Аресенти – белым
Работы у них не было, а живот сводило с голоду
Они были застрелены полицией,
и кровь черной женщины стала красной
У нее оказалась та же кровь, что и у белых
Кровь была красной, как цвет флагов, которые украсили
Их похороны в Кливленде
В июле месяце тысяча девятьсот тридцать шестого года.

Март 1936

Забастовка лифтеров в Нью-Йорке, где лифты перевозят больше народу и проезжают больше миль, чем поезда в метро, автобусы и машины, вместе взятые. Лифтеры, консьержи и механики – все вместе образуют двадцатипятитысячный профсоюз. Они требуют прибавки – 8 долларов в месяц, 48-часовую рабочую неделю и чтобы на работу нанимали исключительно членов профсоюза.

В ответ на забастовку только за последнюю ночь на свет божий появилось не меньше полудюжины "агентств по трудоустройству", где "выпекают" штрейкбрехеров. Подручные гангстеров из Филадельфии, Джерси-Сити, Питтсбурга постепенно стягиваются к Нью-Йорку. В газетах появляются объявления:

"Требуются охранники для решения рабочих конфликтов. Крепкое телосложение, представительная внешность обязательны. Достойный заработок. Звонить круглосуточно".

В одном из таких агентств случилась драка. Служащий захотел снять отпечатки пальцев у кандидатов, пришлось вмешаться полиции.

"Желтым" (так называют штрейкбрехеров) платят от шести до двенадцати долларов в день (бастующие получали в среднем по шестьдесят долларов в месяц).

Теперь просто так в дом не зайдешь. Двери везде заперты. Вас тщательно осматривают, прежде чем впустить. В вестибюлях сидят охранники — играют в карты или читают газеты. Рядом лежат дубинки.

Гулял сегодня по Парк-авеню. Величавые швейцары, обычно охраняющие подъезды в парадных ливреях с галунами и фуражках, топчутся там, кутаясь в поношенные пальто. На головах — обычные фетровые шляпы. На транспарантах написано красным: "Забастовка".

Мусор не убирают. И Парк-авеню в этом смысле — не исключение. Роберт С. Аллен из муниципальной санитарно-эпидемиологической службы сказал журналистам: "Мы отличаем хороший мусор от плохого. На Парк-авеню — хороший мусор".

В районе, где валяется "плохой мусор", жители общаются с пикетчиками, раздают бастующим бутерброды и горячий кофе.

6 марта. Забастовка продолжается. Разговаривал с ее участниками. Среди них двое — со средним образованием, третий — дорожный инженер, четвертый — журналист. Кризис вынудил их пойти в лифтеры.

Чуть дальше мужчина с профсоюзным транспарантом, представился Уильямом Джорданом, возраст — 45 лет. Уволен из Пенсильванского университета. Теперь работает лифтером.

— Что я умел делать? Преподавать политэкономию. У меня двое маленьких детей, и боюсь, что мне уже никогда не вернуться к преподаванию. Сейчас моя задача — накормить малышей.

10 марта. Сегодня в Сионе, штат Иллинойс, проповедник Волива произнес речь по случаю своей 66-й годовщины. Он заявил, что Муссолини станет мировым диктатором. Волива прославился утверждением, что земля плоская.

13 марта. Скончался доктор Альберт Брандэйдж. Знаменитый специалист в области токсикологии, на работы которого широко ссылались в научном мире, положил свою жизнь на алтарь науки, а деньги отдал на благотворительность. Полтора месяца назад его выселили из собственного дома, конфискованного налоговой инспекцией. Он умер в больнице в возрасте семидесяти четырех лет.

Эрл Браудер, секретарь Коммунистической партии, в течение четверти часа выступал по радио. В связи с этим в газету "Дейли уоркер" поступило множество писем:

"Дорогой господин Браудер, прошу Вас выслать мне литературу. Вчера вечером я слушал Ваше выступление. Я старый социалист. Мне 81 год. Я готов помогать бедным, поскольку сам из их числа". (Бетти, штат Техас.)

"Дорогой сэр, Ваше радиовыступление доставило мне большое удовольствие, и я прошу Вас дать мне адреса коммунистических организаций Сент-Луиса. Я также хотел бы получить больше информации. Я поверил в коммунизм, прочитав четвертую и пятую главу Деяний святых апостолов. Эти главы написаны теми, кому наш Господь рассказал, каково житие на небесах". (Сент-Луис. Миссури.)

"Господин Браудер, надеюсь, я правильно написала Ваше имя. Мой радиоприемник так же плох, как и я сама. Ваше выступление показалось мне крайне интересным. Я готова была слушать Вас целый час. Мы с мужем — нищие старики. Я нуждаюсь в лекарствах и медицинском обслуживании. Также мне необходимо нормально питаться.

За последние пять лет нас выгоняют из дому в третий раз. И на этот раз наш путь — на улицу. Я уже все глаза выплакала. Куда нам податься? Понятия не имею, а сама я слишком немощна, чтобы решить, что делать.

Я думаю, что, реши я пожаловаться, оказалась бы за решеткой. Есть ли у Вас какая-нибудь коммунистическая литература, которую Вы могли бы дать мне почитать? Я была бы вам так признательна! Еще мне хотелось бы получить ваш значок. Я бы носила его с гордостью. Ведь Вы защищаете права человека". (Эри, Пенсильвания.)

16 марта. Вчера в одном из парков Сан-Франциско молодая дама спрашивала у прохожих: "Вам не нужен ребенок? Моя соседка хочет отдать ребенка". В конце концов стало известно, что в парк ее направила подруга, мать двоих детей, по имени Линда Джонс. Она сказала журналистам: "Я не знаю, что делать. С мужем мы в разводе. Если мои девочки останутся со мной, они так и будут жить в нищете. В нашем подвале темно и сыро. Девочки все время голодны".

Детей взяли на воспитание две разные семьи. А мать осталась в своем подвале.

Встретился с Джоном Дос Пассосом[1].

Он, чуть прихрамывая, неуклюже перемещается по комнате. Закуривает, предлагает выпить, медлит с ответом на поставленный вопрос. Прежде чем заговорить, подбирает слова, словно диктует текст.

Я спрашиваю:

— Вы живете в Соединенных Штатах?

— Да.

— И в 1936 году?

— Да, да. — Он задумывается и добавляет: — Определенно, да.

— Но это касается далеко не всех писателей. Некоторые предпочитают витать в облаках.

— Я не таков. В моих книгах многое взято из действительности.

— А какова она сегодня, эта американская действительность?

— Трудно в двух словах описать сегодняшний день. Сейчас самое главное — положение рабочих, а точнее безработных. Тут важно понять умонастроение людей, а это непросто. Пока оно остается вне поля зрения наших интеллектуалов.

— Это как?

— Я сам точно не знаю. Капитализм переживает серьезную трансформацию. События выходят за рамки теории и опережают ее. Им пока даже названия нет, никто не знает, как их квалифицировать. А теории в этой стране — большая редкость. В США не любят носиться с идеями, это царство прагматиков. Прагматизмом заражено все общество. Мы напоминаем вокзал, где все договорились, что сядут в один поезд, при этом не удосужившись узнать, куда, собственно, он идет... Да и сам я не исключение. Прагматизм — вот основа американского общества.

Дос Пассос закуривает.

— Мы живем в варварской стране, — говорит он, — самой варварской на свете. Колыбель фашизма — именно здесь. Немцы очень многое переняли у некоторых американских идеологов! Разрушительное влияние Америки на европейскую цивилизацию гораздо значительнее, чем многие думают. Я имею в виду эмигрантов — а таких немало, — которые,

1. Джон Родериго Дос Пассос (1896—1970) — американский писатель португальского происхождения. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

пожив здесь, растеряли европейские традиции, потом вернулись в Европу и привезли туда культ силы. Ку-клукс-клан был первой организованной формой фашизма. По сравнению с нашими крупными промышленными центрами в гитлеровской Германии царит свобода. Даже само это слово узурпировано правящим классом, который назвал крайне реакционную организацию "Лигой свободы". Фашизм здесь настолько распространен, что у нас против него нет иммунитета. С другой стороны, Америка столь громадна и неоднородна, что промышленники никогда не смогут договориться между собой просто потому, что каждый из них воюет за свой кусочек власти. Я думаю, у нас никогда не будет централизованного, единого фашизма. А потом вот еще что. Наши профашистские организации слишком беспринципны. Когда в казне Ку-клукс-клана накопилось пятьдесят миллионов долларов, его руководитель сбежал, прихватив денежки с собой. Слова, которые употребляют эти люди, абсолютно бессмысленны. Они — бизнесмены — торгуют словесным материалом, но при этом не задумываются о природе своего товара: они сами не верят тому, что говорят. Им важно одно — продавать. Поэтому фашизм может установиться уже после грядущей войны.

— Война неизбежна?

— Конечно. Когда играешь в бейсбол динамитными шашками, готовься взлететь на воздух. В США рванет позднее, чем в Европе, но рванет обязательно. Только наивный может думать, что мы останемся в стороне от новой войны.

— Но мне кажется, что ваш народ не хочет ее?

— Не сильнее, чем в 1917 году. Не забывайте: в среде американских рабочих очень развит классовый дух. Но наши трудящиеся не столь солидарны, как европейские. Кое-где у нас создавались движения солидарности, но просуществовали они недолго. Да, были мощные забастовки. Как, например, в Сан-Франциско в 1934 году или в Вермонте, когда одновременно с фабричными рабочими бастовали мраморщики. Но эти движения носят изолированный характер. В современном производстве не существует профессий, без которых нельзя было бы обойтись: знаний особых не требуется, а обучиться можно за короткое время. Есть, конечно, инженеры и техники — кучка людей, которым обычно хорошо платят и которые поэтому всегда будут на стороне хозяина. Конвейер и несколько специалистов — вот все, что нужно производству!

— Так это и есть американская действительность?

— Да, но в то же время в нашей варварской и жестокой Америке существуют старые демократические традиции. Во-

прос в том, можно ли их возродить. — Он наполняет бокалы, тянется к пачке сигарет, потом решает не курить и продолжает: — Сегодня впервые среди американского хаоса начинают прорастать некие традиции. Было бы прекрасно, если бы мы извлекли из этой сумятицы какую-то пользу. Реакционные силы отобрали у нас Вашингтона и Линкольна. Сможем ли мы их себе вернуть? Некое движение уже просматривается. Особенно если идет речь о шахтерах. Это — простые люди, зачастую неграмотные. Они живут в горах, но твердо знают, что их предки сражались за эту землю. Их матери и отцы рассказывали им о том, как это было. О прошлом страны. Так, из уст в уста, передавались наши революционные традиции. — Он все же закуривает и продолжает: — Политика в США стала чем-то вроде игры в бейсбол. Профессиональные политики существуют наравне с профессиональными спортсменами. Еще один бизнес, каких в Америке не счесть. — Дос Пассос задумывается. — Да, — говорит он, — мы живем в сложное время.

24 марта. Объявление в газете "Бостон ивнинг транскрипт":

"Идеалист ищет себе достойное применение и желает сделать карьеру"

Один чернокожий умирает в больнице Бирмингема, штат Алабама. Полицейский патруль потребовал, чтобы он предъявил документы. Чернокожий не отреагировал. Полицейские открыли огонь и ранили его в голову, руку, бедро и голень. "Стреляй на поражение".

Никто не знает имени негра, известно только, что негр — отличная мишень.

Еду на поезде в Нью-Йорк. В вагоне-ресторане напротив меня усаживается человек лет пятидесяти, в очках, хорошо выбрит, высокомерный англосакс, говорит низким голосом. Заказывает мартини.

Потом обращается ко мне:

— Ужасная погода, да еще дождь этот... — Он следит за выражением моих глаз. Я не реагирую. Кивая на наших соседей, он говорит: — Что за вульгарные разговоры! И куда катится Америка?

Я неопределенно улыбаюсь.

Мужчина весело, даже беззаботно смеется, брызгая слюной.

— Вы, должно быть, знаете жизнь и людей. Все сексуально. И этот дождь тоже сексуален.

31 марта. Конрад Мок из Бауэри проработал восемнадцать лет на каучуковом производстве. Потом его профессия начала отмирать: станки работают лучше, быстрее и обходятся дешевле, чем его труд. В 53 года ему нужно начинать с нуля. Осваивать новую профессию – абсолютно бесполезно. Конрад Мок подался в благотворительный муниципальный приют, где ютилось местное отребье. Вчера вечером он швырнул камнем в витрину пустующего магазина одежды, а потом сел на обочине и стал покорно ждать полицейских. Теперь его будут кормить, и спать он сможет в тепле.

Апрель 1936

9 апреля.

– Вот здесь находится городская ночлежка, – говорит Майкл Голд[1]. Мы идем с ним по Нью-Йорку. – А здесь раздают бесплатные обеды. Тут живет много калек. Видите? Вон они сидят на земле у стены.

– Вижу.

– Господи! – восклицает он. – Они тут целый день торчат! Денег на метро у них нет, сил идти пешком – тоже. Утром их гонят из ночлежки. Вот они и сидят, ждут обеда, зимой – под снегом, летом – под палящим солнцем. А вечером плетутся обратно в ночлежку.

Мы проходим мимо больницы Беллвью, похоронного бюро, морга. Встречаем нищего. Майк заводит с ним разговор. Он уже давно не бывал в этих местах, вот и интересуется. Ничего, однако, не изменилось, разве только начали расширять ночной приют.

– Я тут, в Нью-Йорке, каждый камень знаю, – говорит Голд. – Я и в Латинской Америке жил, и в Париже, и в Москве, но Нью-Йорк я знаю лучше всего. Иногда думаю: все, хватит! Нигде так плохо не живется.

Мы идем по Литтл Итали[2], царству апельсинов и острых приправ, где высятся горы спагетти и красного, как эмблема Савойской династии, перца. Хибары по сторонам улицы постоянно вздрагивают от шума наземного метро. Мы садимся в старые деревянные вагоны. Поезд трясется на уровне

1. Майкл Голд (1894–1967; наст. имя Айзек Гранич) – американский писатель и критик. Автор романа "Евреи без денег", который положил начало "американскому пролетарскому роману".
2. Little Italy – "маленькая Италия", итальянский район в Нью-Йорке, занимает часть территории еврейского гетто, которое "разрослось" вокруг позже.

третьего этажа. В открытых окнах виднеются красные перины и подушки, цветы в алюминиевых горшках — на закате солнца их польют, засучив рукава, сапожники — выходцы из Калабрии и Сицилии. Кто-то почитает газету. На первых полосах иврит постепенно сменяет итальянские заголовки: Литтл Итали уже почти совсем растворилась в еврейском гетто.Отныне эти улицы, эта ребятня, этот мусор принадлежат другой голытьбе. Со времен детства Майкла Голда итальянские бедняки сменились еврейскими, но суть осталась той же.

Два мальчугана прильнули губами к сетке на сточной канаве: может быть, они надеются разглядеть в ней океан? Какая-то девчушка мечтательно созерцает бумажные цветы, которые несет бродячий торговец: интересно, представляет она себе, как выглядят цветы в поле? На тротуаре под китайским зонтиком пожилая крестьянка — то ли румынка, то ли мадьярка — дышит воздухом. На вывесках и в витринах — еврейские буквы.

Я уже бывал здесь, когда читал "Евреев без денег", лучшую из книг Голда. Я узнаю Орчард-стрит, на которой располагается рынок. По обеим сторонам узкой улицы под сенью тентов одна за другой движутся тележки старьевщиков, на боках таблички с тремя шариками, под ними имя и адрес хозяина. Жители высовываются из окон, обращая внимание лишь на вывеску и барахло. Наверху кучи — блестящий цилиндр, три теннисные ракетки, старая подушка, натюрморт, медная кастрюля и пара галош. Среди груды ржавых замков затерялись несколько книжек: "Путешественник на Филиппинах", "Моральный кодекс", "Болезни лошади", Библия. Из такси выскакивает шофер, он хочет купить канарейку в клетке. Торговец дынями поправляет кипу на лысой, тоже похожей на дыню, голове. Цыганки метут тротуар пестрыми юбками. Уличный продавец предлагает жидкость для выведения пятен. "Три цента — флакон! — кричит он, — Три цента! Завернуть? Упаковка бесплатная". Появляется слепой музыкант с гитарой. Он идет по прямой с уверенностью, на которую способен лишь незрячий или чертежник. Есть торговцы, которые торгуют чем-то одним: апельсинами, птицами или корсетами. Но большинство торгует всем, чем попало: поношенной одеждой, галстуками, американскими флагами, игрушечными колесиками, бронзовыми конями, фотоаппаратами, подсвечниками, старыми чемоданами, ручками от зонтиков. И в этом людском гаме смешиваются проклятия, американский сленг, плоские шутки, ругательства, стоны. Один еврей, весь в черном, с любовью рассматривает потертую скрипку.

Должно быть, у него есть сын. Как знать? Столько великих музыкантов начинали свой путь именно так. И с бедностью можно распрощаться, и музыка так прекрасна!

В раннем детстве, пока Майк спал на улице, рядом с ним взорвалась петарда. Родители повели испуганного ребенка к целительнице. "Старуха послала мою мать на рынок на Орчард-стрит и велела ей купить стакан, который я должен был донести ночью аж до Ист-Ривер. Мамочки! Потом надо было выпить речной воды, бросить стакан, приговаривая при этом 'кум, тум, сум'. Я так и сделал".

Мы идем по его родной Деланси-стрит, потом по Хестер-стрит, где он провел детство, играя в Дикий Запад и Баффало Билла. Затем сворачиваем на Кристи-стрит, где долгие годы жила мать Майка.

"Эта страна — ад для писателей, — ни с того ни с сего говорит Голд, — Я завидую Вам: во Франции можно быть писателем. А здесь нужно постоянно оправдываться — публика уважает лишь тех, кто делает деньги".

Его отец сказал: "В этой стране лучше быть мертвым, чем бедным". Я думаю об этих словах и о тайном обществе, которое Майк создал мальчишкой со своими друзьями. Называлось оно "Юные мстители с Кристи-стрит"

Мы подходим к Бауэри. "Здесь, — говорит Майк, — я продавал газеты. Потом был извозчиком. Боже! Меня тогда распирало от гордости!"

Какой-то нищий дремлет под вывеской: "Прежде чем Вы решите продать ваше старое золото, посмотрите на наши цены".

"Я напишу роман о безработных", — говорит Майк.

Прогулка по Нью-Йорку.

10-я авеню. Этот район зовется "Кухней дьявола"[1].

Четырехлетний мальчуган целится из игрушечного ружья в двухлетнюю девочку и нажимает на курок, в то время как она с ангельской улыбкой прижимает ствол ружья к своему животу.

Коламбус-сёркл. Между статуей Христофора Колумба и Бродвеем один иудей в кипе ведет с толпой зевак беседу о Боге. На его транспаранте написано, что он — Вечный Жид и что он читает проповеди в 3 часа дня по понедельникам и средам.

1. Hell's Kitchen — "Кухня дьявола", район на западе Манхеттена, в первой половине XX века — одно из опаснейших мест в городе, населенное ирландцами.

Бродвей. Продаются рубашки, машины, женщины, боги. На засиженном мухами стекле витрины надпись: "Распродажа авторучек". Опухший, небритый юноша водит ручкой, пишет объявление: "Особый день. Заходите. Распродаюсь".

Юнион-сквер. Рядом с чернокожим чистильщиком обуви, на голове которого красная соломенная шляпа, стоит торговец газетами. Лицо его бесстрастно. Когда он кричит, из зияющей дыры рта показывается одинокий клык. Полдень. Толпа движется не останавливаясь. Мужчина обращается к прохожим, широко открыв беззубый рот: "Я понимаю: вы все при деле, торопитесь. Вам и остановиться некогда. — И вдруг торжествующий смех. — Вот разбогатею и всех вас ухайдокаю".

12 апреля. Двоих чернокожих воров высекли розгами в тюрьме Джорджтауна, штат Делавэр. Судья так прокомментировал приговор: "Это — чтобы отбить у вас охоту к посещению судов".

В гарлемской больнице умер нищий. Случайно стало известно, что это был Джордж Дикинсон, один из самых известных нью-йоркских журналистов начала 1900-х годов.

13 апреля. Десять дней назад в предместье Хантсвилля, штат Алабама, был обнаружен труп белой девушки. В поисках убийц местные жители прочесали окрестности. Подозрение пало на четверых чернокожих, старшему из которых 24, а младшему — 17. Когда полиция прибыла на место, участники суда Линча уже затягивали веревки на шеях негров. Сегодня эта четверка была выпущена из тюрьмы, так как, кроме цвета кожи, никаких улик против них не нашлось.

Провел вторую половину дня в гостях у Вальдо Франка[1]. Он первым обратился ко мне с вопросом:

— Как вам Соединенные Штаты? — А чуть позже сам же на него и ответил: — Конечно, Соединенные Штаты — это само воплощение капитализма. Мы — странный народ. Даже в самый разгар кризиса среднему американцу так и не приходит в голову, что дело тут не в невезении и не в его личных неудачах. Сейчас социально мыслящих людей стало больше, но их все равно недостаточно. Основная масса американцев не

1. Вальдо Франк (1889–1967) — американский писатель, историк, критик, литературовед. Первый президент Лиги американских писателей.

приучена думать. Нужно быть гигантом духа, чтобы критически относиться к тому, о чем пишут в газетах, говорят по радио, показывают в кино. Мыслительный акт требует в Америке особого усилия, на которое мало кто способен и которое никому не нужно. Индустрия развлечений и средства массовой информации создают привычку к поверхностному восприятию жизни. Да зачастую и просвещенные люди не сильно обременяют себя анализом.

Я спрашиваю его об американских детях, которые показались мне взрослее европейских.

— Наши дети, — говорит Франк, — живут той же жизнью, что и родители. Они читают те же газеты и слушают те же радиопередачи. Американский мальчишка знает дело Гауптмана во всех подробностях. Но в интеллектуальном и духовном развитии он отстает от своего европейского сверстника. Дело не в том, что наши дети более взрослые, просто наши взрослые более инфантильны. Большинство американцев так и не взрослеют... Опасное дело — обобщать. Америка относится к странам, в которых особенно трудно разобраться. Мы и сами-то еще не усвоили собственных традиций. Все в США меняется слишком быстро. В каком-то смысле хорошо, что сейчас прекращен прием иммигрантов: таким образом у нас появится возможность осознать, кто мы такие. До настоящего времени американская традиция была абстрактным понятием. И пока мы не переживем социальную революцию, эта традиция не станет реальностью.

Завожу разговор о его книге "Новое открытие Америки".

— Да, — говорит он, — мы действительно странный народ. Наш фашизм — если он у нас когда-нибудь и победит, что, кстати, совсем не обязательно, — будет весьма своеобразным. С опорой на Конституцию. Иными словами, это будет конституционный и парламентский фашизм. В фашизм на итальянский или немецкий манер я не верю. Он возможен разве что в провинции, в сельской местности, но никак не в больших городах. Нет! Наши фашисты не наденут коричневые рубашки, они предпочтут накрахмаленные сорочки. Наш фашизм будет выглядеть респектабельно.

— Без насилия?

— О нет. Практика фашизма везде одинакова. Насилие и презрение к закону у нас в крови. Сугубо американский парадокс: обожание конституции и полное неуважение к закону. Нынешнее состояние общества способствует этой тенденции: у нас огромное количество безработных, которые потихоньку дрейфуют в сторону фашизма. Посмотрите, как много частных полицейских, частной охраны, наемных убийц!

Так всегда было в США, но сегодня из-за безработицы эта армия растет на глазах! Она выполняет ту же работу, что и наши морпехи на Кубе или в Никарагуа, и прислуживает тем же хозяевам. И все это, само собой разумеется, под прикрытием закона и Конституции.

Он делает паузу, а затем продолжает:

— И несмотря на все это, наш фашизм будет иметь крайне респектабельный вид. Это обязательное условие: ведь у нас уйма людей, которые свято верят в Джефферсона и Линкольна. Отсюда и вытекает необходимость старательно закамуфлировать фашизм. В отличие от стран, вроде Италии и Германии, у нас есть настоящая демократическая традиция.

— А средний американец знает, кто такой Линкольн?

— Он знает одно: Честный Эйб был образцом порядочности, как впрочем и Вашингтон, родился бедняком, а стал президентом Соединенных Штатов. До недавнего времени границы между классами в США оставались крайне расплывчатыми. Нынешнее поколение — первое, о котором можно сказать, что у него есть классовое сознание. Еще совсем недавно к нам прибывали иммигранты и продолжалось переселение на Запад. Я человек нестарый, но помню время, когда власти распределяли земли на Западе. Сегодня распределять уже нечего, и иммиграции нет как нет. Впервые в истории мы становимся народом.

...Однако идеология прошлого еще очень сильна. Люди склонны оставаться в плену своих иллюзий и не доверять происходящему. Я хочу сказать, что обыватель отгораживается от действительности своими представлениями о ней. Наличие классов — реальный факт, наряду с которым до сих пор бытует сказка о бедном мальчике, ставшем президентом США. И это — неотъемлемая часть американской мифологии, как и привычка оценивать человека по тому, сколько у него денег. У Меллона есть сто миллионов долларов, а у Х — всего один, следовательно, Меллон значит для окружающих в сто раз больше. Такое убеждение начинает отмирать. Не забывайте, что мы страна, которая очень сильно запаздывает. И все же переоценка ценностей неизбежна.

Нью-йоркское общество противников вивисекции решило вручить награду (статуэтку) бруклинскому полицейскому, который спас жизнь раненой дикой утке. Он обработал ей рану антисептическим раствором.

17 апреля. Бывший журналист Макс Шульц покончил жизнь самоубийством в одном из городков штата Нью-Джерси.

Шульц оставил записку, в которой сказано: "Наша экономи ческая система выбрасывает людей старше пятидесяти на по мойку и лишает их смысла жизни". Шульцу был 51 год.

20 апреля. Большое событие произошло вчера во второй по ловине дня в храме Святого Марка в нижнем Манхеттене Широкий коричневый занавес отделял алтарь от нефа. Ко гда занавес подняли, взорам присутствовавших предстали шесть босоногих женщин в белых платьях. Они исполняли танец, символизирующий Благовещение. Неф был погру жен в сумрак, а четыре прожектора синего и красного цве тов освещали танцовщиц. Густое облако ладана окутывало алтарь.

У школ избирательного округа Джефферсон, штат Алабама недостаточно средств, поэтому они закрываются в конце ап реля, за месяц до каникул.

В чикагской тюрьме только что установили усовершенство ванный электрический стул. Теперь палачу не надо закреп лять ремни на теле жертвы, достаточно просто опустить ры чаг. Таким образом, подготовка займет не сорок секунд, как было раньше, а максимум десять.

Американские университеты в большинстве своем частные они существуют на пожертвования спонсоров. Университе тами управляют администраторы, три четверти которых – банкиры, бизнесмены и адвокаты. Доктор Макграт из уни верситета Баффало, поделившийся со мной этими сведения ми, добавляет: "В Америке кучка финансистов и предприни мателей обеспечила себе контроль над высшим образованием".

27 апреля. В Чикаго два девятнадцатилетних парня, убившие врача, только что приговорены к 199 годам тюремного за ключения каждый. Вот что пишет в связи с этим газета "Дей ли миррор": "199 лет за убийство может показаться излишне жестоким приговором, но надо иметь в виду, что многие ре лигии, в том числе, вероятно, и ваша, учат, что за менее тяж кие преступления, чем убийство, грешников заточают наве ки. В сравнении с этим 199 лет – срок короткий".

Наконец-то! Национальный институт общественных наук ре шил вручить ежегодную золотую медаль крупнейшему амери канскому банкиру Дж. П. Моргану за "внедрение в деловой

мир высоких этических принципов и поддержание чести и основ добропорядочности нашей страны".

Производитель кукурузной каши публикует цветную рекламу на целые развороты. На картинке Мелвин Первис[1], "американский разведчик № 1", рассказывает детям о своих подвигах и советует им попробовать кашу, а также записаться в клуб "Юные разведчики". "Мальчики и девочки, я вышлю вам бесплатно фирменный значок юного разведчика. Оставьте ваше имя в секретном списке молодых разведчиков. Вы получите также альбом, в котором найдете увлекательные сведения о тайных знаках, секретных кодах, письме невидимыми чернилами, самообороне и прочих вещах, известных лишь настоящему разведчику".

Конкурирующая фирма по производству той же кукурузной каши в рекламных целях привлекла Тома Микса[2]. "Мальчики и девочки, что за чудо этот револьвер! От моего, настоящего, не отличить! Торопитесь! Будьте первыми, кто купит его у нас в округе". На картинках – тот самый киноактер, его револьвер, сцены из его жизни, а также силуэт обнаженного мужчины в сомбреро. На теле – красные круги и черные кресты. "Раны Тома Микса. Кресты указывают на переломы, круги – на пулевые ранения". Далее следует подробный список. Примечание: "Шрамы от двадцати двух ножевых ударов не указаны".

28 апреля. Прочитал в "Нью-Йорк ивнинг джорнал": "Газете надлежит быть интересной. Она также должна рассказывать о главном. Преступление является столь же интересным, сколь и важным событием. В наше время в нашей стране более интересного и важного сюжета не найти".

Реклама перед витриной ювелирного магазина: "Заслужите ее любовь, купив ей качественный бриллиант".

В витрине парикмахерской: "Специальное предложение – стрижка с учетом особенностей лица"

Реклама слабительного: "Уволен... так как страдал запором".

Афиша в бюро похоронных услуг: "Достойные похороны всего за 150 долларов. Недорого, но впечатляет!"

1. Мелвин Первис (1903–1960) – американский юрист, легендарный агент ФБР.
2. Том Микс (1880–1940) – американских актер, герой 336 вестернов.

В продуктовом магазине: "Потрясающе! Современные цыплята! Откормлены по науке и выращены под ультрафиолетовыми лучами в кондиционированном помещении. Истинные орхидеи куриной промышленности".

В книжном магазине: "Величайший мировой роман, посвященный проблеме ''любовного треугольника' — 'Анна Каренина'".

В рекламном агентстве: "Где тут Эйнштейн рекламы?"

Май 1936

1 мая. Позавчера Фред Уилсон потерял работу. Вчера умер его ребенок. Сегодня Уилсон сказал журналистам: "У нас нет ни цента. Но ребенок был застрахован. Мы получим страховку в 25 долларов, которую я пообещал хозяину похоронного бюро. Одна знакомая устроила нам место на кладбище. А друзья дали машину, чтобы довезти гроб. Волноваться за жену мне тоже не придется. Она тяжело больна, но полицейские обещали, что дадут ей лекарство. Все вокруг такие добрые! До того как умер наш малыш, я и не подозревал, что на свете так много хороших людей".

3 мая. Власти штата Нью-Джерси отменили пособие по безработице. Отныне каждому сообществу предстоит самостоятельно решать, как помочь безработным. В "Санди ньюс" один читатель пишет по этому поводу: "Надоело мне все время платить налоги. Если у человека есть пара долларов в банке, он — что, обязан отдать их бедным? Я — иммигрант и сам проторил себе путь наверх. Вот пусть и они работают, а нет — пусть ПОДЫХАЮТ. Двери моего дома закрыты для нищих и бродяг". И подпись: "Счастливчик".

4 мая. В штате Джорджия 10 апреля полиция арестовала чернокожего фермера по имени Линт Шоу, его обвинили в изнасиловании белой женщины. Вооруженный ножом Шоу оказал сопротивление, был трижды ранен полицейскими и, наконец, арестован. Вскоре толпа с топорами и металлическими прутьями бросилась на штурм тюрьмы. Один престарелый судья дал нападающим отпор, и им пришлось уйти. На следующий день местный шериф говорил: "Теперь все как надо, если, конечно, еще чего не случится. Народ обещал мне до вечера не высовываться. Сказали, что собираются прийти за негром, когда стемнеет". Шоу долго переводили из тюрьмы в тюрьму. Суд над ним должен был состояться 28 ап-

реля. Накануне в полночь десять машин остановились перед зданием тюрьмы. Человек сорок проникли в камеру и расправились с чернокожим. Его нашли на рассвете, повешенным на сосне, тело было изрешечено пулями.

И еще. 29 апреля в Арканзасе некий Вилли Кис, молодой душевнобольной негр, пошел за двумя мужчинами в масках. Его нашли два часа спустя со связанными за спиной руками и тремя пулями в груди.

А также. Сегодня Джон Рашин, чернокожий батрак с плантации штата Джорджия, разругался с белым человеком, убил его и сбежал с места преступления. Более двухсот человек в сопровождении полицейских собак сделали все, чтобы немедленно его обезвредить. Преступник был убит на месте.

Вот такие три случая. И все за одну неделю.

Общество охраны животных только что завершило в Чикаго строительство приюта для бездомных кошек и собак. Здание стоимостью в сто тысяч долларов оборудовано среди прочего кухней с холодильником, ванной комнатой и застекленными нишами. Вокруг здания — сад.

Чтобы жить на Уолл-стрит, надо быть покойником. Покойники не совершают финансовых сделок, и недвижимость у них не отнять: ведь они — обладатели нескольких квадратных футов бешено дорогой земли у стен церкви Святой Троицы. На эту каменистую почву не польстился бы когда-то даже самый бедный фермер. Здесь ничего не приживается, кроме старых костей, а теперь каждый фут стоит больше, чем целая американская деревня.

Полдень. У подножия памятника Вашингтону толпа окружает двух ораторов. Первый, гордый и напористый старик под звездным знаменем, кричит: "Вы хотите сжечь Библию и церкви? Именно этого добивается Москва. А что нам Господь завещал? — Старик указывает пальцем на верхние этажи биржи. — А он говорил: стремитесь к высоким заработкам. Никогда еще у нас не было таких больших зарплат, и никогда еще мы так мало не работали".

В десяти метрах от него некая активистка профсоюза офисных работников обращается к внимающей толпе:

— Вам нужна организация, ведь вас "отжимают" больше, чем заводских рабочих. Подумать только! Стенографистка получает в неделю 8, 10, 12 долларов. И ради этого вы учились, а ваши родители жертвовали последним?

5 мая. Из газеты "Нью-Йорк геральд трибьюн": "Пол Ротер, 50 лет, житель Джерси-Сити, три года был безработным. Он едва сводил концы с концами и перебивался временными заработками.

Вчера он устроился на разгрузку товарняков компании "Мерчант рефриджирейтинг", и, кажется, эта должность обещала ему стабильность. Однако, проработав десять минут, он неожиданно упал и скончался на месте. Врач заявил, что Ротер умер от эмболии, вызванной, скорее всего, волнением. Вдова подтвердила, что ее муж "впал в крайнее возбуждение", узнав, что его взяли на работу".

12 мая. Директор школы города Лафайетт, штат Джорджия, велел одиннадцатилетней Бетти-Джо Уоллес прийти в класс в платье, а не в комбинезоне. Мать девочки говорит: "У моей Бетти-Джо за всю жизнь было шесть платьев. Она одевает их по воскресеньям. В другие дни носит комбинезон".

Какой молодец!

Из газеты "Либерти" от 16 мая: "Среди многочисленных кандидатов, участвующих в выборах в этом году, особенно выделяется уникальный человек Джон Лайл, чикагский судья. Ему 53 года, но он ежедневно занимается боксом и легко пробегает три-четыре мили. Он бреется двумя безопасными бритвами сразу. И эта операция занимает у него не более тридцати секунд. Лайл говорит, что для сна ему хватает четырех часов. Он не курит и не жует табак. Равнодушен к спиртному. Его рост — пять футов и десять с половиной дюймов, вес — 167 фунтов".

Биржевой индекс имеет неправильное выражение. Предлагаю свою версию.

Сталеплавильные комбинаты работают без перебоев. На "Теннесси коул, айрон энд рейлроуд" — забастовка, личная охрана компании "прокладывает" автоматной очередью дорогу к заводу. Пятеро раненых. Происходят волнения и на мраморных карьерах: бастуют рабочие города Проктора в Вермонте. Один из бастующих, раненый штрейкбрехерами, лежа на больничной койке, с трудом говорит: "Я вкалывал, вкалывал, вкалывал тридцать семь лет подряд, лишь бы не дать своим умереть с голоду. Соблюдал законы. Никогда не сидел в тюрьме. Почему же так вышло?" Акции растут в цене. В Детройте мастер цеха "Мотор продактс корпорейшн" убил бастующего Карла Свенсона. В штате Вашингтон частная ох-

рана компании "Стэндард ойл" убила бастующего Шелби Даффона. Чернокожих Рича Фистера и Генри Уитта убили прямо у шахт "Репаблик стил". Свинец – материал надежный.

16 мая. Шестидесятипятилетний чернокожий Уильям Уэллс жил со своей сестрой Корой в трущобе в Гордонсвилле, штат Виргиния. Одна белая женщина обвинила старика в том, что он якобы угрожал ей ружьем. Вчера вечером за Уэллсом пришли. С испугу он убил шерифа. Затем забаррикадировался в своей развалюхе, прекрасно понимая, что его ждет, если его возьмут живьем.

И действительно, вся местная полиция и триста соседей окружили его домишко. Осада продлилась до глубокой ночи. На дом Уэллса направили прожекторы из пожарного управления, полицейские открыли автоматный огонь. Наконец одному из них удалось швырнуть в окно горящий факел. Между толпой, которая ждала на улице, и огнем двое стариков выбирать не стали. Они предпочли сгореть заживо.

17 мая. Дух первопроходцев

Три факта.

Керли, губернатор штата Массачусетс, выразил намерение установить для судей возрастной лимит – 70 лет. 74-летний судья Патрик Дуэйн из Бостона принял вызов. Он предлагает губернатору встретиться на боксерском ринге в большом зале палаты представителей.

Судья Оуэнс из Балтимора вынес не слишком строгий приговор молодому человеку, обвиненному в нападении на двух девушек. Мать пострадавших явилась к судье и дала ему пощечину. Несмотря на свои семьдесят три года, судья дал ей сдачи. "Вот это борьба!" – сказал он.

В Нэшвилле, штат Теннесси, жили три брата Лейн. Харрисону было шестьдесят пять, Генри – семьдесят и Баду – девяносто. Харрисон и Генри поссорились и начали швырять друг в друга камнями. Старший брат взял ружье, выстрелил в Харрисона и ранил его.

19 мая. Присяжные в бруклинском суде только что оправдали Бенедикта Парниджиани, обвиненного в нападении на прохожего. И это несмотря на то, что прокурор зачитал признание, подписанное самим обвиняемым.

Парниджиани рассказал на судебном заседании, что два сыщика привели его в подвал полицейского участка в Бруклине, заставили снять рубашку и майку и привязали за подня-

тые руки к трубе центрального отопления. Труба так жгла, что Парниджиани согласился подписать "признание", продиктованное полицейскими. Позже в больнице пришлось пересадить кожу на запястьях.

23 мая. Благотворительная организация "Лига Флоренс-Криттендон" только что завершила опрос 561-й нью-йоркской проститутки. Ранее 170 из них работали домашней прислугой, 82 — на заводе, 58 — официантками. Средняя еженедельная зарплата у них была 8 долларов. 33 женщины никогда раньше не зарабатывали более двух с половиной долларов в неделю.

Вашингтонские заметки

Здесь растут деревья! Никакого сравнения с Нью-Йорком!

Вашингтон гордится тем, что белых бедняков здесь мало. Белые редко живут в трущобах. Бедность и трущобы — удел черных, которых около 160 тысяч, три четверти из них — безработные.

Когда гуляешь по столичным улицам, создается впечатление, что тротуары предназначены для белых, а мостовая — для черных. Белые лениво прохаживаются, рассматривают витрины, приветствуют знакомых или спешат в офисы. Черные ремонтируют мостовую, кладут трамвайные рельсы, в руках у них лопаты, мотыги, сварочные аппараты, пилы и молотки.

Повсюду развешены флаги. Флаги со звездами на стенах домов и на крышах, огромные нарядные знамена величаво расправляют свои полотнища на ветру. Еще всюду уйма красных флажков, которые, в отличие от гордых знамен, не отглажены и не подшиты. Они трепещут на перекрестках, почти касаясь асфальта и отмечая ремонтные работы. Их назначение — показать всем, что здесь вкалывают рабочие.

Небольшой серебристый дирижабль облетает деловой центр города. Повсюду дорические, ионические, коринфские колонны с капителями, но чаще всего можно увидеть смешение всех стилей. На фронтонах натянуты огромные кричащие транспаранты. Восседая под сводами миниатюрного храма, гигантский Линкольн высматривает вдали Капитолий, скрытый обелиском, возведенным в честь Джорджа Вашингтона.

Вечером мемориал Линкольна, обелиск, Капитолий и дирижабль освещаются, первые три — для красоты, послед-

ний — для пользы: на корпусе расплываются красные буквы, которые приглашают желающих совершить полет на дирижабле, а автомобилистов — приобретать исключительно шины марки "Гуд йеар".

Вашингтон — самый средиземноморский из городов Севера. Черное население живет в гетто, чернокожих не пускают в отели и кинотеатры для белых. Недавно один преподаватель университета, негр, рискнул проехаться в гостиничном лифте. Его вытолкали оттуда ногами и избили.

Я ошибся улицей, когда шел к Сенату. Не беда. Над крышами низеньких домишек уже показалось светлое здание, в котором заседают сенаторы. Срезаю дорогу через переулки. Гофрированные вытяжки, выбитые стекла, скособоченные лестницы, закутки, в которых и собаки-то жить не будут, крохотные дворики, тут едва умещается тряпье, развешенное на старой бельевой веревке, разнокалиберные доски штакетника, когда-то служившие ящиками: "Не бросать!", "Пенсильванская железная дорога", "Свежие яйца". Худосочные шавки, беззубые негры. Немытая босоногая ребятня роется в кучах консервных банок, ржавых железяк и промасленной бумаги. Еще несколько метров — и выстраивается последняя линия трущоб, на другой стороне улицы — уже кабинеты Сената.

То же и с Капитолием. С главной террасы видны деревья и фонтанчики, вдали — обелиск и мемориал Линкольна. Но если обойти здание с другой стороны, попадаешь в клубок переулков, которые извиваются между безобразными халупами. На порогах предлагают себя прохожим потасканные чернокожие девицы.

"Холм" (здесь вместо "пойти в Капитолий" говорят "подняться на холм") напоминает лесных нимф из галицийских легенд. Спереди прекрасен, а сзади видны внутренности.

Июнь 1936

2 июня. Это случилось вчера в Дайтоне, штат Огайо. Орейс и Уильбар Джонсоны пришли домой из школы в 15 час. 30 мин. На пороге их ждал отец с ружьем в руках. Он сказал им: "Я только что убил вашу мать, сестер и брата. Хотите отправиться вслед за ними или остаться в живых?" Мальчишки предпочли второе. "Как только услышите выстрел, — предупредил их отец, — вызывайте полицию".

Полицейские нашли шесть трупов и сопроводительное письмо: "Я убил всю семью, кроме двоих сыновей. Я убью их,

а потом себя". Постскриптум: "Жена умерла в воскресенье, в четыре утра. Роз-Мари — в понедельник в 10:45, Вальтер — в понедельник в 11:45, Элси-Мей — в понедельник в полдень. Мариетта — в 12:15. Прощайте".

Уцелевшие дети рассказали, что их отец потерял работу десять месяцев назад. Порой семья голодала несколько дней подряд.

О жизни рабочих кварталов города Меллона, штат Пенсильвания, наслышаны многие. Вот, например, договор об аренде жилья, который заключают с рабочими, переезжающими в Меллон. Квартиросъемщик обязуется не пускать в квартиру никого, "кроме лечащего врача квартиросъемщика и членов его семьи, водителя грузовика и грузчиков транспортной компании, которая перевозит вещи квартиросъемщика и членов его семьи (только при въезде и выезде), представителей похоронного бюро с катафалком, машины или извозчиков, а также друзей — в случае смерти квартиросъемщика или членов его семьи".

Один нью-йоркский светский клуб организует праздничный вечер на борту теплохода. Обещают много развлечений. Гвоздь программы — конкурс поедателей тортов. Шести чернокожим детишкам предстоит набить животы лимонными меренгами и взбитыми сливками с шоколадом (специально выбраны самые калорийные лакомства). Тот из мальчиков, кто съест больше всех, станет победителем. На конкурсе будут заключаться пари. Зрителям, которые поставят на самого большого обжору, обещаны призы.

Полицейский из Куинса в Нью-Йорке заметил трех мальчишек, повисших на борту движущегося грузовика. Он окликнул их, и мальчишки пустились наутек. Понимая, что догнать беглецов не удастся, полицейский открыл огонь и ранил их.

Стреляй на поражение.

6 июня. Бывший судья Верховного суда Дэниэл Кохалэн позавчера выступал в штаб-квартире "Защитников конституции США". Он, в частности, предложил лишить безработных права голоса на предстоящих президентских выборах.

А сегодня и того лучше. На открытии выставки в Музее национальной истории "Ассоциация евгенических исследований" заслушала отчет своего президента мистера Гёте. Гёте доказал, что детей в семьях безработных больше, чем в семьях работающих. Из этого он сделал вывод о необходимости стерилизации безработных.

Миссис Каспер из Нью-Джерси на днях родила четверых. Газеты объявили, что сестрички Кей, знаменитая четверка техасских близняшек, прибыли в Пассейик на встречу с дочурками миссис Каспер после визита к пятерым близняшкам Дион. Одно новостное агентство сообщило, что в пенсильванском зоопарке косуля родила троих детенышей.

Я выхожу из поезда на пригородной станции Маунт-Киско. На втором перроне — вокзальный служащий в форменной фуражке, чернокожий чистильщик сапог и несколько зевак, привычно жующих жвачку. Я иду по тропинке и вдруг вижу пряничный домик, словно из сказки братьев Гримм.

Теодор Драйзер уже ждет меня. Высокий, плотного телосложения, толстогубый. Крупный нос, щеки висят. Под густыми бровями прячутся маленькие глазки, в которых читается грусть и недовольство окружающим миром. Он говорит как пишет: для него важны детали.

— Я боролся до 1932 года. И до сих пор не сдаюсь. Писал, выступал. Ездил к бастующим шахтерам в Кентукки. Однажды я хотел что-то спросить у рабочего, так головорез-охранник приставил ружье к моему животу и велел отвалить. Он бы выстрелил. А кому пожалуешься? Смех, да и только. Пресса, суд — все в руках финансистов.

Я написал книгу "Американская трагедия". Ее практически уничтожили[1]. Страшная страна! Здесь происходят загадочные вещи: финансисты с Уолл-стрита контролируют кинематограф. На радио запрещено обсуждать политические и социальные вопросы. Говорить можно только о ничего не значащей ерунде. Однажды меня попросили выступить в одной передаче. Я собирался подготовить цикл бесед на актуальные темы. Заранее спросил, могу ли я говорить, что думаю. Мне ответили, что записи вначале прослушают редакторы. "Ах так? — сказал я. — Тогда гуд бай!"

Я дал множество интервью газетам "Нью-Йорк таймс", "Геральд трибьюн" и другим изданиям. Но всякий раз, как мне случалось сказать что-то важное, это не печатали.

Было бы здорово, если бы коммунизм принес нам мир и процветание. Сам я вышел из низов и добился многого. Знай я точно, что, если в США победит коммунизм, у меня будет

1. Роман "Американская трагедия" был опубликован в 1925 г. В 1931 г. кинокомпания "Парамаунт Пикчерз" приобрела за 100 тысяч долларов у Драйзера права на экранизацию и заказала сценарий Сергею Эйзенштейну. Однако впоследствии студия отказалась от сценария Эйзенштейна из-за развернутой в Голливуде антисоветской кампании против режиссера. Подписание контракта было расценено как коммунистическая пропаганда.

комната, возможность работать и зарабатывать творчеством, я сказал бы: "За дело! Начнем сегодня же!" Лишь бы каждому были даны равные возможности. С тех пор как я жил в одной комнате и писал первые рассказы, немногое изменилось. Если коммунизм не приведет к разгулу бюрократии, я буду рад ему. В любом случае стоит попробовать. Может быть, получится не хуже, чем сейчас, а вдруг и лучше? Столько бедняков мучается и страдает, столько людей отчаялось, а другие процветают. Пусть будут и роскошь, и игры, и развлечения, но все это не должно быть привилегией меньшинства. Это несправедливо и неразумно.

Хотелось бы мне увидеть, к чему приведут перемены, которые уже назревают, узнать, станут ли они "концом мечты", как утверждают некоторые, или концом трагедии.

Жизнь всегда будет трагичной. Но она будет иной. Тем лучше. Оглянитесь вокруг. Американские финансисты быстро перенимают фашистские методы. Они хотели бы заменить либеральную олигархию олигархией тиранов. Они уже взяли под контроль прессу, радио, кинематограф. Они бы и школу прибрали к рукам, чтобы штамповать марионеток. Раздавать приказы, подчинять. Я мечтаю увидеть мир многоликий и свободный. Фашизм несет смерть. Ну, наштампуют они десять тысяч деревянных солдатиков. И что потом? Мой отец был таким солдатиком. Провел в армии долгие годы, практически всю жизнь. Это очень опасно — вкладывать идеи в головы механических существ, коими мы являемся.

Я всегда сражался с фашизмом. Если он победит, я уеду в Мексику. Одиночество мне не грозит. Знаете, в Германии мои книги запрещены. Это потому что сегодня финансы — единственная сила, которая правит миром. Только не думайте, что я опустил руки. Я вижу мир таким, каков он есть. Фашизм — как раковая опухоль, он убивает миллионы людей. Мы ищем микроб, возбудитель болезни, бьемся, чтобы победить его, а тем временем опухоль делает свое дело. И спасти нас может только страх за свое будущее.

Я, Теодор Драйзер, писатель, интересен тем, кто мыслит, кто неравнодушен к окружающему. Мои читатели всегда восстают против несправедливости. Других читателей у меня нет. Никогда я не буду писать для тех, кого все устраивает. А жизнь бесконечно меняется — то она грустная, то трагическая, а то прекрасная. Я люблю жизнь.

Сегодня вечером деревья в Центральном парке украшены иллюминацией, повсюду горят фары автомобилей. В зоопарке моржи и белые медведи отдыхают от жары. На 5-й авеню чи-

хают моторы, сигналят машины, воют сирены полицейских и пожарных машин. На юге высятся небоскребы, шахматная доска светящихся в ночи окон. Мерцают неоновые вывески. Над Коламбус-сёркл на вершине здания "Дженерал моторс" проплывают буквы: "Купите олдсмобиль. Олдсмобиль – это потрясающие новые гидравлические тормоза. Олдсмобиль – это стальной корпус. Олдсмобиль – это все. Сейчас 10.47". И опять же: "Купите Олдсмобиль..."

Над игрушечным парком поднимается ветер, заглушающий голоса людей, шум машин и рокот города. Из клетки доносится львиный рык.

Всякий американец, даже последний нищий, может стать миллионером или президентом, надо только экономить, трудиться, быть набожным и так далее. Если вы бедный и старый (или молодой), если вы безработный, это ваша вина. Надо было работать, копить. Отсюда сам собой напрашивается вывод: бедный, и в особенности безработный, – жалкий неудачник, а пособие по безработице – акт благотворительности.

Поскольку Форд распоряжается миллионами, его слушают как пророка. Форд – сторонник высоких зарплат, Форд объясняет безработицу элементарной ленью. Форд призывает вернуться с небес на землю. Иногда обстоятельства сильнее Форда, но Форд сильнее любого, кто не так богат. Он верит, что за секретом долголетия нужно обращаться к тем, кому сто лет. Эта теория Форда и ему подобных очень популярна. "Единственная ценность, которая мне принадлежит, – это мой опыт. И его у меня никому не отнять" (Форд). "Избавьтесь от любителей легкой жизни, и вы погубите цивилизацию" (Дж. П. Морган).

Знаю-знаю. В Соединенных Штатах на 100 жителей приходится 2 метра нефтепровода, 37 метров воздушного пути, 148 метров подводного кабеля, 325 метров железной дороги, 3 километра телеграфного провода, 4 километра автодорог, 21 автомобиль, 14 телефонов, 14 радиоприемников и 10 безработных.

"Разъединенные Штаты": книга отчаяния, книга надежды

Интервью Ноама Хомского[1] Марку Фортье и Луи-Фредерику Годе

Перевод с французского Л. Пружанской

Ноам Хомский принял нас в своем кабинете в Массачусетском технологическом институте в Бостоне. Несмотря на свою известность и занятость, Хомский держится просто и приветливо, что, впрочем, свойственно многим американцам. С присущей ему живостью он комментирует нынешнюю действительность. Речь идет о Великой депрессии 1929 года, нынешнем кризисе и книге Владимира Познера "Разъединенные Штаты", актуальность которой сегодня ни у кого не вызывает сомнения.

Довоенное детство Хомского прошло в Нью-Йорке. Тогда же в Нью-Йорке жил и Владимир Познер. В его записках особое внимание уделено Гарлему. Хомского искренне удивляет, что писатель решил поселиться в этом черном районе.

Ноам Хомский. Это нешуточное дело — жить рядом с гарлемскими черными! Гарлем был крайне опасным, но одновременно одним из самых интересных мест в Нью-Йорке. Там процветали литература, искусство, музыка. Тогда даже говорили о "гарлемском ренессансе". Многие белые переселялись в этот район. Впрочем, тамошняя культурная жизнь соседствовала с чудовищной нищетой.

Большинство моих близких родственников — из Нью-Йорка. Поэтому о нищете в годы Великой депрессии я знаю не понаслышке. Мой дядя, владелец газетного киоска на Манхеттене, оказал на меня большое влияние. Хотя дядя не окончил даже начальной школы, для меня он навсегда остался од-

© Л. Пружанская. Перевод, 2010

1 Аврам Ноам Хомский (р. 1928) — выдающийся американский лингвист и политический публицист. Профессор Массачусетского технологического института. Один из основоположников современной лингвистики. С 1960-х гг. широко известен как диссидент и общественный деятель. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ним из самых образованных людей. На жизнь он тоже зарабатывал особым образом: рузвельтовская "Программа поддержки трудовых проектов" финансировала создание рабочих мест. Государство вкладывало деньги в инфраструктуру города, строительство зданий, дорог и поддерживало малый бизнес. Дядя был инвалидом, благодаря чему его бизнес попал в список финансируемых проектов.

В киоск он пристроил работать почти всю семью. В сущности, его дело нас и кормило. Я тоже подрабатывал. Пропадал там днями и ночами. Вокруг кипели страсти. Сколько жарким политическим дискуссиям я был свидетелем, сколько мнений услышал! Я тогда общался с анархистами, бывал, например, на собраниях организации "Fraye Arbayter Shtime"[1]. Там было тесно, но атмосфера царила душевная! В то время на 4-й авеню развелось множество книжных лавок, которые в основном торговали анархистской литературой. Многие мои родственники либо состояли в коммунистической партии, либо были так называемыми сочувствующими. А дядя, напротив, был антикоммунистом, но при этом крайним левым. Впрочем, это неважно. Спроси вы у моей прокоммунистически настроенной родни, что они думают о Сталине, в ответ услышали бы: "Это великий человек!" На самом деле, они о Сталине почти ничего не знали. Для них коммунизм был не мечтой, а вполне конкретным способом решения насущных проблем. Иными словами, их волновало то, что касалось их напрямую: гражданские права, профсоюзное движение и так далее.

Мои тетки работали на швейных фабриках, а двоюродные братья — на заводах. Тем из них, кого уволили, нужно было как-то жить. Вот почему все они активно включились в создание профсоюзов, которые оказывали поддержку рабочим. Например, в 30-е годы безработным швеям помогали организации, связанные с профсоюзами. После страшного пожара, который уничтожил швейную мастерскую в 1912 году, влияние Международного профсоюза швейных работниц возросло. В то время такое случалось нередко. Все знали, что работниц этих мастерских нещадно эксплуатируют. Швеи, которые были внутри в момент пожара, сгорели заживо. Профсоюз тогда ничем не мог помочь работницам. Это событие породило волну возмущения, люди осознали, что профсоюзы необходимы. Позже, в годы Великой депрессии, профсоюзы действительно пришли на помощь рабочим и поддержали их.

1. "Свободный голос трудящихся" (*идиш*).

Марк Фортье и Луи-Фредерик Годе. Таким образом, ваш личный опыт имеет прямое отношение к тому, что описано в "Разъединенных Штатах". Эта книга сейчас поразительно актуальна. В чем, однако, вы видите разницу между 30-ми годами и нынешним экономическим кризисом?

Н. Х. Прежде всего, в определении нищеты. В годы Великой депресии нищета была ужасающей. Она не шла ни в какое сравнение с нынешней. Сегодня, к сожалению, люди переживают лишения тяжелее, чем в 30-е годы. В наши дни вооруженные бейсбольными битами бабушки охраняют спящих внуков от крыс. Раньше такое трудно было себе представить. Нынешний кризис осложняется отсутствием единства в обществе, утратой чувства солидарности, без которой моя семья, например, никогда бы не выжила.

Но такое положение возникло не вчера. Оно существовало и десять лет назад, хотя в США тогда вовсю трубили об эре изобилия. Моя двоюродная сестра отдала долгие годы работе в муниципальных школах Нью-Йорка. Она говорила мне, что в последние двадцать лет медленно, но верно ухудшались условия жизни детей. Они всё хуже питались, насилия становилось всё больше. Конечно, и в моем детстве случались межрасовые стычки и для подростков учреждали комендантский час, однако я никогда не боялся идти один по ночному Нью-Йорку. Несмотря на низкий уровень жизни, люди не теряли достоинства, и, как бы ни был тяжел их быт, нравственные устои сохранялись. Так нас воспитывали в семье и школе. И, самое главное, люди не падали духом, они были уверены, что положение постепенно выправится. Тогда мы не сомневались, что нам удастся выбраться из ямы.

Надежда — вот в чем состоит различие между кризисом 30-х и нашим временем. Ныне этой надежды не существует. Сегодня опросы общественного мнения показывают: 80 % населения убеждено, что правительство — это сборище плутократов и что изменить ничего нельзя. Весьма пессимистический взгляд. К сожалению, эти опросы, скорее всего, довольно точно отражают настроения людей. В годы Великой депрессии подобному фатализму не было места. Наоборот, наблюдался подъем политической борьбы и взлет профсоюзного движения. В то время был создан Конгресс промышленных организаций, множились профессиональные объединения, рабочий люд громко заявлял о своих правах, появилось множество полярных и радикальных мнений. Многие считали, что управление заводами нужно брать в свои руки, а прохвостов-управляющих гнать в шею.

Радикальные идеи, на самом деле имевшие мало общего с коммунистическими, получили поддержку значительной части населения. Так было по крайней мере до конца 40-х. И это, конечно, наводило ужас на предпринимателей.

После Второй мировой войны финансисты в США и других странах развернули энергичную идеологическую борьбу. Например, американцы и англичане, высадившись в Европе, первым делом уничтожили подпольные антифашистские организации. На севере Италии рабочие взяли в свои руки управление заводами еще до прихода англо-американских войск. Первым же делом союзники вернули прежнюю администрацию. В Англии лейбористская партия открыто заявляла, что не допустит рабочих к управлению заводами. В США на пропаганду тратились огромные средства и с одной лишь целью: отучить трудящихся думать о самоуправлении.

Для того чтобы понять, почему американская политическая и экономическая элита испытала в 30-е годы такой шок, вернемся в годы 20-е. Когда Эдвард Бернейс[1] опубликовал свою книгу "Пропаганда", правящий класс ликовал, искренне веря в то, что мир – в его руках, что естественный ход истории на этом завершен. Эти представления рухнули с началом Великой депрессии. Первый удар пришелся как раз по благополучию элиты. Между 90 и 20-ми много общего: эйфория сытых, убеждение, что круг истории замкнулся. И все это – на фоне постепенно усугубляющегося неравенства: зарплаты уже тогда были заморожены. Я хотел бы подчеркнуть, что в истории США последние тридцать лет оказались худшими для тех, кто зарабатывал немного. Однако, несмотря на сходство, биржевой крах в 2008 году не вызвал такой реакции, как кризис 30-х. По крайней мере, пока не вызвал. Сегодня люди больше не надеются на гражданское общество, на социальную солидарность. Никто не создает профсоюзов, не пытается выставить за дверь плохих управленцев. И не происходит этого потому, что нынешняя элита гораздо лучше подготовлена.

М. Ф. и Л. Г. Сегодняшний кризис – это повторение истории "Разъединенных Штатов". Но все же – есть ли надежда?

Н. Х. Начиная с правления Рейгана, пиарщики контролируют избирательные кампании. Они гордятся тем, что сделали политиков товаром. С этой точки зрения очень показа-

1. Эдвард Бернейс (1981–1995) – видный исследователь массового сознания, специалист по психологии толпы. Внучатый племянник З. Фрейда.

тельны выборы Обамы. Неслучайно эту кампанию отметили специальным призом "Лучшая рекламная избирательная кампания года". В качестве товара выступала Надежда. Слова "надежда" и "Обама" – синонимы. Обама стал брендом. И тут возникает важный вопрос: а не вызовет ли в людях эта "реклама надежды" желания объединиться на политической основе?

декабрь 2008 года

Редьярд Киплинг

Soldier, soldier

Переводы с английского
Вступление В. Скороденко

Британской империи нет.

А Редьярд Киплинг есть.

То есть Британская империя тоже осталась и, как к ней ни относись, — это впечатляющая и великая эпоха в истории Владычицы Морей и ее бывших колоний, ныне — стран Содружества. Да и Киплинг остался в своем наследии тем, кем был при жизни, — англичанином, рожденным в ойкумене этой империи, знавшим изнутри ее социальную, военную, управленческую "механику", ее "винтики" и приводные ремни, преданным ее сторонником и защитником, но при этом требовательным и подчас весьма нелицеприятным критиком издержек ее бытования в историческом и человеческом измерении. Он был певцом империи, а не ее пиарщиком, он пребывал в убеждении, что метрополия и колонии образуют некую высшую общность, что первейшая миссия метрополии — цивилизаторская, и гордился тем, что эту миссию судьба предназначила его любимой стране — Англии.

Время вносит коррективы в казавшиеся непререкаемыми приговоры и оценки, представляет вещи в ином, более объективном, сбалансированном

© В. Скороденко. Вступление, 2010
© Н. Резник. Перевод, 2010
© А. Ротов. Перевод, 2010
© М. Бородицкая. Перевод, 2010

свете. Сегодня, в перспективе истории, взгляд на Британскую империю отличается от того, как воспринимали ее современники и в самой Великобритании, и за ее пределами, какой видели ее, скажем, английские сторонники имперской идеи и социалисты, советские коммунисты или индусы Бенгалии, где писатель появился на свет. Но это тема другого разговора, здесь же речь идет о Киплинге.

С ним время в конечном итоге обошлось по справедливости. Соотечественники долго не могли разобраться с истинными масштабами его творчества, периоды острого интереса к нему и демонстративного забвения сменялись еще при жизни писателя, настоящее призвание начало складываться примерно через полвека после его смерти. В России, как ни парадоксально, его, лауреата Нобелевской премии по литературе 1907 года, должным образом оценили как художника только в советскую эпоху, но эта оценка непременно обставлялась идеологическими оговорками о классовой чуждости книг этого "барда британского империализма". Безоговорочное признание пришло на рубеже 1980-х годов.

Сегодня Киплинг причислен к сонму классиков мировой литературы, чьи произведения выдержали испытание временем, поскольку их читает каждое новое поколение.

На память приходит приговор И. А. Куприна: книги Киплинга хороши, но нет на них "самых верных отпечатков гения — вечности и всечеловечности". Ну, про "вечность", думается, все сказал еще Державин в "Грифельной оде":

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Так что применительно к произведениям классической литературы о вечности можно говорить разве что в метафорическом смысле — их будут читать, пока есть кому читать. Но с этим у Киплинга вроде бы все в порядке. Да и "всечеловечность", под которой Куприн явно разумел общечеловеческий интерес и резонанс созданного художником-творцом, лучшим страницам Киплинга отнюдь не чужда, в противном случае не остался бы он живым писателем, но превратился в мелкий факт истории литературы, в лучшем случае сделался бы, по слову А. Блока, "достояньем доцента". Тут кроется один из существенных парадоксов творческой манеры Киплинга. Его произведения густо насыщены историческими реалиями времени и среды, о каких он писал, — географическими и историческими названиями, профессиональными терминами, лексикой, воссоздающей "местный колорит" в его непередаваемой пластической яркости, зримости и т. п. Многие из этих реалий ушли в прошлое, забыты прочно, так что читателю придется залезть в комментарии, если он захочет досконально все выяснить. А не захочет, то и не нужно, поскольку все это — тот "сор" исторического быта и бытия людей, стран, народов, империй и прочего, та

почва, которая питала творчество Киплинга ("Когда б вы знали, из какого сора растут стихи..." — Анна Ахматова). Например, имена географических точек в пограничье между Индией и Афганистаном — Абазай, Бонаир, форт Букло, ущелье Джагей — сами по себе не суть важны, они призваны "обрамлять" раскрытие общечеловеческих ценностей в обстоятельствах исключительных, придавать достоверность поэтическому повествованию о силе духа, отваге и чести, когда "сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает" ("Баллада о Востоке и Западе". Перевод Е. Полонской).

Это наблюдение справедливо и в отношении военной лирики Киплинга, где очень многие стихотворения привязаны к конкретным войнам, кампаниям, сражениям, эпизодам. Он первый в английской поэзии раскрыл изнутри и без утайки то, что эффемистически именуют трудностями и невзгодами военной жизни, показал солдата в казарме, в увольнительной, на марше, в бою и в смерти, в силе и слабости. Он, как всегда, писал о том, что хорошо знал, и при этом исходил из понимания колониальных войн как прежде всего цивилизаторских по их конечной цели (тут есть с чем поспорить) и из тех же нравственных заповедей на первое место ставил честь, долг, отвагу и жертвенность (евангельское "душу свою за други своя"). "Строительный материал" ему и поставляли многочисленные колониальные войны, что вела Англия в разных заморских землях во имя и на благо империи. Было бы странно, если б он не укрепился в своих нравственных заповедях, когда война вплотную приблизилась к Британским островам и полыхала уже по другую сторону Ла-Манша:

За все, что есть у нас,
За внуков, за детей
Вставайте в скорбный час —
Ведь гунны у дверей!

Перевод К. Атаровой

Словно испытывая на прочность ценности, которые они исповедовали, Первая мировая война забрала у двух знаменитых писателей, "офицеров и джентльменов" Британской империи сэра Артура Конан Дойла и Джозефа Редьярда Киплинга, который отказался от возведения в рыцарское достоинство, каковым его собирались пожаловать в годы Англо-бурской войны, единственных сыновей. Своим ценностям они остались верны, но от этого удара не оправились до самой смерти: Конан Дойл уверовал в спиритизм, Киплинг замкнулся в себе, хотя продолжал писать. Памяти сына и всех сыновей, погибших в ту войну, он создал пронзительный поэтический реквием "Сын мой Джек", четко обозначив в подзаголовке: 1914—1918.

История, в том числе и история литературы, не знает сослагательного наклонения, но отношение Киплинга ко Второй мировой войне, его поэтическая позиция, доведись ему дожить до начала этой войны, сомнений не вызывает. Не случайна, видимо, своеобразная интонационная "перекличк-

ка" на глубинном уровне между Киплингом — автором "За все, что есть у нас..." — и советским поэтом, переводившим, кстати, Киплинга на русский язык, Константином Симоновым, автором знаменитого в Великую Отечественную войну стихотворения "Если дорог тебе твой дом..." (1942). Поэтому в год 65-летия Великой Победы журнал "Иностранная литература" вполне уместно вспоминает об одном из лучших, если не лучшем иностранном мастере военной поэзии.

Стихотворение "Soldier, Soldier", хотя и не из самых известных у Киплинга, представляет собой законченный образец его искусства в жанре баллады. Впервые опубликованное на страницах еженедельника "Скотс обсервер" 12 апреля 1890 года и включенное автором в сборник "Казарменные баллады" (1892), оно было написано в мирный промежуток между окончанием Англо-суданской и 3-й англо-бирманской войн (1885) и началом Англо-бурской войны (1899). Лирическая тема гибели любимого на войне раскрыта здесь в общечеловеческом плане, что несколько облегчает труд переводчика, которого, впрочем, ожидают подводные камни другого порядка, прежде всего характерно киплинговская смысловая насыщенность поэтического текста при экономии выразительных средств и присущем английскому солдатскому сленгу "сглатывании" букв.

На русском языке стихотворение впервые появилось в переводе Ады Ивановны Оношкович-Яцыны (1896—1935), которая фактически ввела поэзию Киплинга в наш поэтический обиход, выпустив в 1922 году книжечку переводов двадцати двух его стихотворений. Все они с добавлением новых ее переводов вошли в книгу Киплинга "Стихотворения" (1936), составив добрую половину всего сборника. Она "озвучила" на русском языке такие хрестоматийные произведения, как "Пыль", "Мэри Глостер", "Томлинсон", "Баллада о царской милости", "Самая старая песня" и др. Ученица Н. Гумилева и участница переводческой студии М. Лозинского, она переводила Эредиа, Мольера, Гюго ("Рюи Блаз"), Байрона, Гейне, но в благодарной памяти российских читателей ее имя прочно связано именно с Киплингом.

Soldier, soldier

"Soldier, soldier come from the wars,
Why don't you march with my true love?"
"We're fresh from off the ship an' 'e's
maybe give the slip,
An' you'd best go look for a new love,"
New love! True love!

Best go look for a new love,
The dead they cannot rise,
an' you'd better dry your eyes,
An' you'd best go look for a new love.
Soldier, soldier come from the wars,
What did you see o' my true love?"
"I seed 'im serve the Queen in a suit o' rifle-green,
An'you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
Did ye see no more o' my true love?"
"I seed 'im runnin' by when the shots begun to fly –
But you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
Did aught take 'arm to my true love?"
"I couldn't see the fight, for the smoke it lay so white –
An'you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
I'll up an' tend to my true love!"
'"E's lying on the dead with a bullet through 'is 'ead,
An'you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
I'll down an' die with my true love!"
"The pit we dug'll 'ide 'im an' the twenty men beside
'im –
An'you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
Do you bring no sign from my true love?"
"I bring a lock of'air that 'e allus used to wear,
An'you'd best go look for a new love."

"Soldier, soldier come from the wars,
O then I know it's true I've lost my true love!"
"An'I tell you truth again
– when you've lost the feel o' pain
You'd best take me for your true love."
True love! New love!
Best take 'im for a new love,
The dead they cannot rise,
an' you'd better dry your eyes,
An'you'd best take 'im for your true love.

Братцы, братцы...

– Братцы, братцы, вы с войны,
Что ж не с вами мой дружок?
– Был по морю наш путь, он мог и утонуть!
Поищи-ка нового дружка.

Старый! Новый!
Ищи себе дружка.
Мертвым не помочь, вытри слезы прочь,
Поищи-ка нового дружка!

– Братцы, братцы, вы с войны,
Видали ль моего дружка?
– Он был в бою одет в полковой зеленый цвет.
Поищи-ка нового дружка.

– Братцы, братцы, вы с войны,
Видали ль моего дружка?
– Когда пошли палить – бежал он во всю прыть.
Поищи-ка нового дружка!

– Братцы, братцы, вы с войны,
Он не был ранен, мой дружок?
– Я битву проглядел, был дым ужасно бел.
Поищи-ка нового дружка.

– Братцы, братцы, вы с войны,
Хочу я вынянчить дружка!
– Но он лежит в траве с пулей в голове.
Поищи-ка нового дружка.

– Братцы, братцы, вы с войны,
Пойду помру с моим дружком!
– Глубокая могила их двадцать душ укрыла.
Поищи-ка нового дружка.

– Братцы, братцы, вы с войны,
Есть что-нибудь на память от дружка?
– Вот я тебе принес густую прядь волос.
Поищи-ка нового дружка.

– Братцы, братцы, вы с войны.
И вправду для меня потерян мой дружок!

— Тебя мне очень жаль, когда пройдет печаль,
Возьми меня себе в дружки!

Старый! Новый!
Бери себе дружка!
Мертвым не помочь, вытри слезы прочь,
И лучше-ка возьми его в дружки!

Перевод А. Оношкович-Яцына

Редиард Киплинг. Избранные стихи. —
Л.: Худож. лит., 1936.

"Эй, солдат..."

"Эй, солдат, отчего, отчего
Нет с войны моего дорогого?" —
"Он на трап, может быть, не успел вскочить.
Ты сыскала бы парня другого".

Парня надежного! Парня другого!
Ты сыскала бы парня другого.
Мертвецам не ожить. Мой совет: потужить
И найти себе парня другого.

"Эй, солдат, что слыхать про него,
Про дружка моего дорогого?" —
"Он в колониях был, королеве служил.
Ищи себе парня другого".

"Эй, солдат, ты встречал ли его,
Моего дружка дорогого?" —
"Был он в хаки одет, уходил в секрет.
Поищи же парня другого".

"Эй, солдат, а потом-то его
Ты видал, моего дорогого?" —
"Всё покровом густым заволакивал дым.
Ты ищи лучше парня другого".

"Эй, солдат, где искать мне его,
Моего дружка дорогого?" —
"Он за морем лежит, а череп пробит.
Так что парня ищи другого".

"Эй, солдат, мне не жить без него.
Смерть приму на груди дорогого". –
"Там, где бой отгремел, друг твой в месиве тел.
Ты искала бы парня другого".

"Эй, солдат, есть ли весть от него,
От дружка моего дорогого?" –
"От него я принес прядь твоих волос.
Так что парня ищи другого".

"Эй, солдат, верю: нет уж его.
Как мне быть без дружка дорогого?" –
"Ты поплачь о нем, погорюй, а потом
Ты во мне найдешь парня другого".

Парня надежного! Парня другого!
В нем найдешь ты парня другого.
Мертвецам не ожить. Мой совет: потужить
И найти в нем парня другого.

Перевод В. Васильева

Редьярд Киплинг. Избранное. –
Л.: Худож. лит., 1980.

Солдат, солдат

– Солдат, солдат, пришедший с войны,
А где же любимый мой?
– Вместе с нами вчера не пришел он, сестра.

Ищи другую любовь.
Станет другой любимым.
Ищи другую любовь.
Мертвым уже не встать, не стоит о них рыдать.
Ищи другую любовь.

– Солдат, солдат, пришедший с войны,
Как сражался любимый мой?
– Поднимал он ружье за велич-ство ее.
Ищи другую любовь.

– Солдат, солдат, пришедший с войны.
Что же видел любимый мой?
– Видел пулю врага, вот и вся недолга.
Ищи другую любовь.

— Солдат, солдат, пришедший с войны.
Был ли ранен любимый мой?
— Кто бежал, кто упал, я в дыму не видал.
Ищи другую любовь.

— Солдат, солдат, пришедший с войны,
Он вернется, любимый мой!
— Понапрасну не жди, спит он с пулей в груди.
Ищи другую любовь.

— Солдат, солдат, пришедший с войны,
Там я лягу, где милый мой.
— Двадцать мертвых солдат там вповалку лежат.
Ищи другую любовь.

— Солдат, солдат, пришедший с войны,
Что оставил любимый мой?
— Амулет — прядь волос в рюкзаке я принес.
Ищи другую любовь.

— Солдат, солдат, пришедший с войны,
Верю я: нет моей любви.
— Эта правда стара: все проходит, сестра.

Ты любимым меня зови.
Станет другой любимым.
Любимым его зови,
Мертвым уже не встать, не стоит о них рыдать.
Любимым его зови.

Перевод Н. Резник

Воин, воин

— Воин, воин, с войны вы пришли —
Что ж в строю не идет мой любимый?
— С корабля держим путь — знать, успел улизнуть, —
Полюби ты другого теперь.
Да-да! Не его!
Полюби не его.
Мертвым встать не дано. Плачь, не плачь — все одно.
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
Вы любимого там не встречали?

— Видел я земляка — был он в форме стрелка;
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
Что он делал в тот миг, расскажите!
— Стали пушки стрелять — он пустился бежать;
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
Был ли ранен в бою мой любимый?
— Трудно было в дыму разобрать, что к чему;
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли.
Я сейчас же к любимому еду!
— Он средь мертвых лежит: череп пулей пробит,
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
Лягу я и умру с милым рядом!
В яму он полетел, там еще двадцать тел —
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
Ничего не оставил мне милый?
— Только локон волос я состриг и привез;
Полюби ты другого теперь.

— Воин, воин, с войны вы пришли,
О, сомнения нет: мертв мой милый!
— Это правда, но коль успокоится боль,
Полюби ты меня, как его.
Да-да! Как его!
Полюби, как его.
Мертвым встать не дано. Плачь, не плачь — все одно.
Полюби ты другого теперь.

Перевод А. Ротова

Солдатик, солдатик...

— Солдатик, солдатик, где милый мой друг?
Не видно его на причале.
— В пути занемог иль удрал под шумок,
К тебе он вернется едва ли.

Едва ли, едва ли...
Нет милого — что ж,
Другого найдешь,
А этот вернется едва ли!

— Солдатик, солдатик, его ты встречал?
Тепло ль его там одевали?
— В зеленый мундир, протертый до дыр,
Но в нем он вернется едва ли.

— Солдатик, солдатик, ты с ним говорил?
О чем вы, скажи, толковали?
— Бежали мы рядом навстречу снарядам.
Не жди, он вернется едва ли.

— Солдатик, солдатик, он ранен в бою —
Иль ядра его миновали?
— Не знаю, я мимо глядел — из-за дыма.
Не жди, он вернется едва ли.

— Солдатик, солдат, я найду лазарет,
Где раны его врачевали!
— Он пулей убит, в могиле зарыт
И встанет из гроба едва ли.

— Солдатик, а где тот заветный кисет,
Что губы его целовали?
— Держи, вот твой локон, от крови намок он —
Живой с ним расстался б едва ли.

— Солдатик, так значит, мой милый погиб!
Напрасно я жду на причале.
— Его не вернуть, поплачь и забудь,
С другим позабудешь печали.
Печали, печали...
Другого найдешь:
Чем я-то не гож?
Бери — прогадаешь едва ли!

Перевод М. Бородицкой

Симона Вейль

Дружба

Глава из трактата "Формы неявной любви к Богу"

Из *переписки*

Перевод с французского и вступительная статья
Петра Епифанова

"Золотой запас, который следует передать дальше"

Имя Симоны Вейль в России все еще остается мало кому известным. Знакомство нашего читателя с личностью и мыслью одного из самых ярких, своеобразных и загадочных мыслителей XX века происходит на редкость медленно, практически незаметно. С 1990 года, когда перевод ее статьи "'Илиада', или Поэма о силе" был напечатан в "Новом мире" с предисловием С. С. Аверинцева, по настоящее время публикации работ Симоны или биографических материалов о ней у нас можно перечислить по пальцам одной руки[1].

© Gallimard, 1951. © Gallimard, 1960. © Gallimard, 1999. © Gallimard, 2006.
© Fayard, 1966
© Петр Епифанов. Перевод, вступительная статья, 2010

1. Симона Вейль. "Илиада", или Поэма о силе / Перев. с франц. К. Темерсон и А. Суконика; Вступ. ст. С. Аверинцева; Послесл. А. Суконика // Новый мир, 1990, № 6. Симона Вейль. Укоренение. Письмо клирику. / Перев. с франц. О. Игнатьевой; Вступ. ст. С. Аверинцева и А. Шмаиной-Великановой. – Киев: Дух і літера, 2000. Ангелика Крогман. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. / Перев. с нем. М. Бента – Под ред. О. Мичковско-

Во Франции именем Симоны названы улицы больших и малых городов, школы и лицеи. Ее сочинения и посвященные ей книги в каждом крупном магазине занимают по две полки и больше. Мало это или много для молодой женщины, которая прожила 34 года, а свои главные вещи написала в течение последних двух лет? В сборниках и по отдельности ее работы переиздаются французскими издательствами едва ли не ежегодно, они переведены на все европейские языки. Ассоциации по изучению наследия Симоны Вейль имеются не только в ее родной стране, но и в Соединенных Штатах, а в Германии и Мексике существуют институты, носящие ее имя. Ее хорошо знают и любят в Японии и Индии.

Католические церковные власти время от времени перепечатывают ответы официальных богословов на вопрошания Симоны Вейль, обращенные к Римской церкви, где снисходительно разъясняется "несостоятельность ее претензий". Однако все чаще католические же авторы — богословы, миссионеры, простые миряне — пишут о "вселенской вести" Симоны Вейль, о важности ее свидетельства для христианской мысли и жизни. Ее тексты используются для молитвенного размышления в монашеских общинах. Во Франции можно слышать, как люди, даже далекие от церковности, отзываются: "Симона Вейль? Это такая святая, вроде Жанны д'Арк..."

"Святую Симону" почитают не только верующие. "Несравненным правдолюбцем", "единственной великой душой нашего времени" называл ее Альбер Камю, как известно, объявлявший себя атеистом. С конца 40-х годов именно Камю сделал многое для того, чтобы религиозные размышления и исследования Симоны Вейль дошли до читателей. В 1957 году, в день присуждения ему Нобелевской премии, писатель, скрываясь от репортеров, пришел в квартиру, где еще жила ее престарелая мать, и до вечера оставался в одиночестве в комнате Симоны, у ее запачканного чернилами стола. Может быть, он молился — втайне от всего мира и даже от самого себя... Ее имя с восхищением повторяли бунтари Сорбонны в мае 68-го. Испанские анархисты гордятся недолгим участием Симоны Вейль в Гражданской войне 30-х годов и переиздают ее труды по социальным вопросам...

Во вступительной статье к той самой первой публикации в "Новом мире" за 1990 год Сергей Аверинцев написал слова, которые с тех пор приводят практически все, кто пишет и говорит о Симоне в России:

Если XXI век — будет, то есть если человечество не загубит своего физического, или нравственного, или интеллектуального бытия, не разучится вко-

го. — Челябинск: Аркаим, 2003. Симона Вейль. Тяжесть и благодать. / Перев. с франц. Н. Ликвинцевой; Предисл. Н. Ликвинцевой; Вступ. ст. А. Шмаиной-Великановой. // М.: Русский путь, 2008. Симона Вейль. Любовь к Богу и несчастье. / Перев. с франц. П. Епифанова. // Континент, 2009, № 141. Имеется небольшое количество журнальных эссе и заметок, которые не включены в этот список, потому что непосредственной информации о жизни и трудах Симоны Вейль они не несут.

нец почтению к уму и к благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем существенном смысле также и веком Симоны Вейль[1].

Звучит удивительно, неправдоподобно. Но и амбиции Симоны выглядели шокирующими, почти безумными. Вот что она писала известному католическому деятелю своего времени:

Хочу перечислить Вам некоторые мысли, которые живут во мне по меньшей мере несколько лет и создают преграду между мной и Церковью... Размышления над этими проблемами для меня отнюдь не забава. Они не только важнее самой жизни, ибо речь идет о вечном спасении; но я считаю их куда более важными, чем вопрос о моем собственном спасении. Забавой в сравнении с ними покажется и выбор между жизнью и смертью... Я размышляю об этих предметах со всей силой любви и внимания, какая мне доступна. Эта сила ничтожно мала по причине моего крайнего несовершенства, но, как мне кажется, она постоянно увеличивается. По мере того как она растет, узы, связывающие меня с католической верой, становятся все более и более прочными, все глубже укореняются в сердце и в разуме. Но в то же время и мысли, которые отдаляют меня от Церкви, — тоже обретают бóльшую силу и ясность. Если эти мысли в самом деле несовместимы с принадлежностью к Церкви, значит, для меня вовсе нет надежды когда-либо приобщиться таинств. Если так, то я не вижу, как можно избежать вывода, что мое призвание — оставаться христианкой вне Церкви. Возможность такого призвания хотя бы для одного человека означала бы, что Церковь, называясь по имени католической[2], в действительности таковой не является и должна однажды ею стать, если ей суждено исполнить свою миссию[3].

Не ссылаясь на голос с неба или чудесное знамение, опираясь лишь на совесть и интеллект, простая, никому не известная девушка пытается вступить в спор с церковной иерархией, с многовековой теологической традицией.

В самой краткой и, поневоле, неполной форме учение, которое она защищает, таково. В основе мира лежит принцип Жертвы Бога. Церковная традиция учит, что Сын Божий воплотился в конце времен ради искупления грехов человечества, которое в начале своей истории уклонилось от следования Божией воле. Симона верит, что Воплощение Бога и Искупление были и есть всегда. Бог страдает вместе с каждой страдающей душой с первого до последнего дня мира:

Если бы Искупление со свойственными ему ощутимыми признаками и средствами не присутствовало на земле изначально, нельзя было бы простить

1. Новый мир, 1990, № 6, с. 249.
2. То есть "всеобщей", "всецелой" — от греческого καθ'όλου — вообще, целиком.
3. Письмо к одному монаху (Перевод мой. — *П. Е.*). В переводе О. Игнатьевой эта работа Симоны Вейль носит название "Письмо клирику".

Богу (если позволительно использовать такие слова, не впадая в богохульство) несчастье стольких невинных: лишенных имущества и родины, угнанных в рабство, преданных на пытки и умерщвленных в течение всех веков, предшествующих христианской эре. Христос пребывает на этой земле — во всяком случае, если люди Его не изгоняют, — везде, где есть преступление и несчастье[1], —

пишет она. И идет дальше: она считает, что и сама вера в Христа тайно присутствует на земле всегда и везде — в глубине всякого подлинного религиозного вдохновения, в прозрениях пророков и философов, поэтов, художников, музыкантов, независимо от их принадлежности к исторической Церкви и ее учению. Она верит, что Христос живет в каплях пота каменщика или матроса, что Его плоти можно причаститься в куске хлеба, оплаченном месяцами изнурительного крестьянского труда, что безгласная геометрическая теорема поет Ему хвалу не менее звучно, чем григорианский хорал. Что бессознательные, анонимные друзья и ученики Христа находятся даже среди тех, кто считает себя агностиками и атеистами... Итак Церковь — это весь мир людей во всем его многообразии, и необходимо, чтобы Церковь официальная это осознала сама и помогла осознать миру.

Ее открытие кажется ей вестью вселенской важности. Она обходит монастыри и храмы Прованса, ища отклика хоть у одного из служителей Церкви. Ее отказываются слушать, укоряют в бесовской гордыне, ищут в истории примеры еретиков, чьи взгляды, по их мнению, она воскрешает... Добрый священник-доминиканец о. Перрен, почти слепой, но со зрячим сердцем, восхищаясь ее честностью и благородством поиска, сравнивает ее с альбатросом из стихотворения Бодлера, чьи исполинские крылья парят над океаном, но не позволяют ходить по земле... Он понимает, что идеи Симоны не найдут отклика в церковной среде, и предлагает крестить ее "без огласки". Она отвечает, что для нее "лучше умереть за Церковь, чем войти в нее под условием отказа от того, что открыто ей как воля Бога". Она примет крещение, только когда (представьте!) Римско-католическая церковь официально признает, что маленькая, невзрачно одетая, нищая еврейка-беженка — говорит правду. Ибо она твердо уверена, что при всей кажущейся новизне только такое понимание учения Христа способно по-настоящему одухотворить жизнь европейской цивилизации, которая лишь по привычке продолжает называть себя "христианской"...

Она будет твердить это и на смертном одре, когда к ней призовут священника, но он уйдет, не сумев "смирить" ее. Но подруга незаметно окропит голову лежащей в постели Симоне несколькими каплями воды и произнесет шепотом формулу крещения... С тех пор в католической среде не

1. Письмо к одному монаху.

прекращается спор: считать Симону крещеной, умершей "в мире" с Церковью — или все-таки, увы, нет...

Симона Вейль родилась 3 февраля 1909 года в безрелигиозной еврейской семье. Отец — известный врач Бернар Вейль — был родом из Страсбурга, мать Сельма — из Ростова-на-Дону. В доме Вейлей дружески принимали многих эмигрантов и изгнанников из России, начиная от известного биолога Ильи Мечникова с семьей в предвоенные годы — до Льва Троцкого в 30-е[1]. Детей у Вейлей было двое — Андре, впоследствии крупнейший математик[2], и Симона. В детях воспитывали трудолюбие и упорство, что, в сочетании с рано проявившимися выдающимися умственными способностями, принесло удивительные плоды. Впрочем, Симона, в отличие от брата, была очень болезненна; учеба, физический труд, спорт требовали от нее подчас предельного напряжения сил. С двенадцати лет до самой смерти ее мучили почти непрерывные мигрени.

В 1925 году во время обучения в лицее Симона посещала лекции и занятия Эмиля Шартье (Алена) — видного французского философа, который во многом способствовал воспитанию ее как будущего мыслителя. С 1928—1931 годах она обучалась на философском факультете Эколь Нормаль, где получила прекрасное классическое образование: изучала в подлиннике Гомера, Платона, философов-стоиков, великих греческих драматургов. С начала 30-х годов активно участвовала в левом рабочем движении. Симпатизируя в большей степени анархистско-синдикалистским течениям, она всегда сохраняла независимую позицию. Из-за политической активности ее несколько раз увольняли с преподавательской работы. В конце 1934—1935-м годах Симона работала на заводах "Альстом", "Карно", "Рено" в качестве ученицы, затем фрезеровщицы, считая, что тот, кто посвящает себя борьбе за интересы социальных низов, должен разделить условия их труда и быта. По этой же причине неоднократно уезжала в сельскую местность для участия в полевых работах — трудилась подолгу и за скудную плату. Регулярно публиковала статьи о положении рабочих в левых изданиях, особо подчеркивая подавление и вырождение личности в условиях современной индустрии, пагубное сужение духовных и культурных запросов, отрыв от исторических корней, земли и природы. В

1. Благодаря такой традиции неформальных связей с Россией в 1930-е годы, когда левая (а подчас и официальная) пропаганда во Франции создавала идеализированный образ сталинского СССР, Симона Вейль была неплохо осведомлена о реальном положении в стране "победившего пролетариата". Она неоднократно делала в своих печатных работах трезвый анализ идеологии и практики большевизма.

2. Андре Вейль (1906—1998) — математик, один из величайших ученых XX века. В 1930-е гг. вместе с несколькими молодыми французскими математиками организовал группу, которая получила известность под коллективным псевдонимом Николя Бурбаки. Известен фундаментальными работами в области алгебраической геометрии, функционального анализа, но главным образом — теории чисел. Во время Второй мировой войны эмигрировал в США, где работал в Чикагском университете и Институте перспективных исследований в Принстоне.

августе 1936 года Симона отправилась в Испанию для участия в гражданской войне на стороне республиканцев; впрочем, уже в сентябре, получив случайно сильный ожог ноги, была вынуждена вернуться домой. В 1937—1939 годах недолгие периоды занятости сменялись вынужденными отпусками по болезни. За это время Симона дважды посетила Италию, что было очень плодотворно для нее в духовном и творческом отношении. На Страстной седмице 1938 года во время службы в бенедиктинском монастыре Солем она пережила мистический опыт, после чего осознала себя христианкой. В то же время она продолжала писать публицистические работы, особенно много размышляя о причинах и характере разгорающейся войны, а также о сущности и происхождении тоталитарных идеологий эпохи — нацизма и коммунизма.

14 июня 1940 года в никем не защищаемый Париж вошла армия Германского рейха. 22 июня Германия с Францией подписали так называемый "договор о перемирии". По его условиям, две трети страны были оккупированы, остальное победители оставили под номинальным контролем зависимого от них правительства маршала Петэна. Симона Вейль покинула Париж 13 июня вместе со своими пожилыми родителями. Среди многотысячных толп беженцев, где поездом, где пешком, семья добралась до города Виши, который стал отныне административным центром *Французского государства* (слово "республика", в угоду немцам, было отменено). Затем Вейлям удалось переехать в Марсель, где Симона пыталась найти работу по специальности, подавая заявки на место преподавателя философии или математики. Однако на "неоккупированной территории" под давлением Германии вскоре вступили в силу законы, запрещавшие евреям преподавательскую деятельность. Таким образом, в течение 1941-го и начала 1942 года у Симоны оказалось много, как никогда, свободного времени для духовных размышлений. Как случилось, что именно европейская — христианская! — цивилизация выносила в своих недрах гитлеровский нацизм? Как случилось, что ее родина, жизнелюбивая, культурная, демократическая Франция, почти без сопротивления встала на колени перед врагом? Не лежит ли и на ее народе доля вины в европейской трагедии? Все эти жестокие вопросы, которые она ставила предельно остро, не оставляли ее, когда она пыталась решить еще более мучительную для нее проблему — о своем отношении к Церкви и к историческому христианству. На ее глазах христианская Европа, духовной воспитательницей которой от самой колыбели была Римская церковь, переживала период глубочайшего нравственного падения. Нужно было разобраться, дойти до глубинных причин, понять, где разошлись пути цивилизации и христианства и почему Церковь, называющая себя вселенской, на исходе второго тысячелетия своей истории оказалась бессильной выполнить свою миссию даже на одном континенте. Среди статей, написанных Вейль в "марсельский" период ее жизни, особо выделяется трактат "Формы неявной любви к Богу", одну из глав которого, посвященную дружбе, читатель может прочесть ниже.

Образ жизни Симоны в то время был следующим: с самого дня падения Парижа она питалась только хлебом и овощами, не ложилась в постель, а засыпала на несколько часов на полу. Одежда ее была всегда чиста, но всегда одна и та же. Друзья и знакомые вспоминают ее в неизменном грубом длинном плаще и зеленом шерстяном берете, в башмаках на босу ногу в любую погоду. Каждый раз, когда ей удавалось заработать немного денег, она делилась ими с нуждающимися. День ее начинался с молитвы "Отче наш", которую она многократно читала по-гречески, пока не достигала полной концентрации внимания. Об этой стороне ее жизни мы знаем из свидетельств двух самых близких ее друзей и собеседников той поры: упомянутого выше священника-доминиканца Жозефа-Мари Перрена и Гюстава Тибона, самобытного философа-крестьянина, на чьей ферме Симона жила и трудилась в августе 1941 года[1]. Частичное представление о ее духовных упражнениях дают записи молитв, которые она слагала сама. Не всякий решится повторить эти молитвы от своего имени:

Отче, во имя Христа, пошли мне то, что я прошу.

Чтобы я не могла послужить никакому своему желанию ни одним движением тела, ни даже намеком на движение, как человек полностью парализованный. Чтобы я была неспособна ничего ощутить, как тот, кто совершенно слеп, глух и лишен трех остальных чувств. Чтобы я была не в состоянии связать даже две самых простых мысли, как один из тех полных идиотов, которые не только не умеют считать или читать, но даже не смогли научиться говорить. Чтобы я была нечувствительна к любым проявлениям горя или радости и неспособна любить ни живое существо, ни вещь, ни даже самое себя, как до конца выжившие из ума старики.

Отче, во имя Христа, пошли мне, поистине, и это.

Чтобы тело могло проворно двигаться, или твердо оставаться неподвижным, в постоянном согласии с волей. Чтобы мой слух, мое зрение, вкус, обоняние, осязание воспроизводили совершенно точный отпечаток сотворенного Тобою мира. Чтобы мой рассудок с полной ясностью выстраивал все представления в строгом соответствии с истиной. Чтобы мое восприятие[2] со всей возможной силой испытывало любые оттенки скорби и радости. Чтобы моя любовь горела неутолимым пламенем любви к Богу и любви ради Бога. И пусть все это будет исторгнуто у меня, испепелено Божиим огнем, преображено в природу[3] Христа и дано в корм несчастным, чьи тело и душа лишены всякого рода пищи. А я... пусть я буду парализована, слепа, глуха, буду как идиот от рождения или как выжившая из ума старуха.

1. В 1947 г. оба друга предприняли издание фрагментов записей Симоны Вейль, объединив их в сборник под названием "Силы тяжести и благодать" (Simone Weil. La pesanteur et la grâce. – Paris: Plon, 1947), а еще через 20 лет подготовили книгу воспоминаний о ней: J.-M. Perrin, G. Thibon. Simone Weil telle que nous l'avons connue. – Paris: Fayard, 1967.
2. Sensibilité.
3. Substance.

Отче, сотвори это превращение сейчас, во имя Христа. И даже если я прошу с несовершенной верой, исполни мою молитву, как если бы она была произнесена с верой совершенной.

Отче, поскольку Ты — Благо, а я — ничтожество, забери у меня это тело и эту душу и сделай их чем-то пригодным для тебя, и пусть в вечности от меня останется или то, что ты возьмешь, или не останется вовсе ничего.

За текстом молитвы следует не менее впечатляющий комментарий:

Такие слова имеют действенную силу, только когда они продиктованы Духом. Подобных вещей нельзя просить по собственному произволу. Это происходит лишь вопреки желанию. Вопреки желанию, однако, мы соглашаемся. Мы соглашаемся не тогда, когда нас оставляют. Мы соглашаемся на такое принуждение, которое душа, во всей своей полноте, оказывает нашей душе, во всей ее полноте. Но это согласие бывает полным и безоговорочным, оно дается в едином порыве всего нашего существа.

Не отсюда ли [в Библии и у писателей-мистиков. — *П. Е.*] метафора брака? Что происходит при этом между Богом и душой, похоже на то, что бывает между супругом и супругой, когда она еще девственна, — в первую брачную ночь. Новобрачная соглашается уступить принуждению[1]. Так происходит и соединение души с Богом. Душа дрожит от страха и не чувствует, что любит Бога. Она сама не понимает, что, если бы она Его не любила, она не согласилась бы. Так готовится брачное соитие — то, что сделает личное начало[2] в человеке простым посредником между его плотью и Богом[3].

Правительство Виши не разорвало дипломатических отношений с Соединенными Штатами и формально не вступало в мировую войну на стороне Германии. Благодаря этому Вейли весной 1942 года смогли получить американскую визу. Это было счастливым обстоятельством: задержись Симона и ее родители на юге Франции еще хотя бы на полгода, их жизнь, скорее всего, закончилась бы в лагере смерти[4]. Прежде родителей и сестры в Америку уехал со своей семьей Андре. 6 июля 1942 года, после месячного плавания на португальском судне, Симона Вейль прибыла в Нью-Йорк. Теперь она могла быть спокойна за родных: они дождутся окончания войны в безопасности. Сама же она буквально с первых дней вела переписку с

1. В оригинале мысль выражена афористично, ярко и грубо: Le marriage est un viol consenti (Брак — это изнасилование по согласию).
2. Personne d'un homme.
3. Тетрадь 16, с. 69–70 (перевод мой. — *П. Е.*).
4. В ноябре 1942 года, после того как территория, находившаяся в ведении правительства Виши, была оккупирована немцами и итальянцами, по всей Франции начались аресты евреев для депортации в лагеря смерти. Симона Вейль, хорошо известная активным участием в левых движениях 30-х гг. и антифашистскими статьями в газетах, не имела никаких шансов избежать той же участи.

комитетом генерала де Голля "Сражающаяся Франция", прося принять ее в ряды этого движения и направить на родину для участия в антифашистской борьбе. Наконец от руководства "Сражающейся Франции" было получено согласие на ее приезд в Лондон, в штаб-квартиру организации, для получения дальнейших распоряжений. В штабе де Голля Симону зачислили в штат на должность "редактора". Но функционеры организации и прежде всего сам ее лидер понимали характер и причины происходящего в мире и на родине совершенно иначе, чем Симона. Ее горячее желание участвовать в борьбе с оккупантами оказалось невыполнимо. В течение нескольких месяцев, днями и ночами, на работе и дома Симона непрерывно писала свой последний большой текст — "Укоренение", размышление о Франции с точки зрения ее истории, ее отношения к Богу и к человеческой личности, трактат, где научный анализ сменяется ироничной публицистикой, публицистика — пророческими обличениями... Вскоре и она сама, и ее занятия стали вызывать у начальства болезненную реакцию. "Полный бред", "эта дура", "сумасшедшая" — вот ряд эпитетов, которыми разражался де Голль, багровея при одном упоминании Симоны Вейль...

15 апреля 1943 года Симону нашли без сознания в комнате, которую она снимала. Причина не вызывала сомнений: крайнее истощение — физическое и нервное. В больнице, практически уже не вставая с постели, она продолжала писать и перечитывать любимые, заветные книги: Евангелие на греческом, сочинения св. Хуана де ла Круса на испанском, "Бхагавад-Гиту" на санскрите, английскую народную поэзию. Последним прочитанным произведением, которое она отметила в своей записной книжке, была повесть советского писателя Василия Гроссмана "Народ бессмертен". 24 августа 1943 года Симона Вейль умерла в туберкулезном санатории в Эшфорде (предместье Лондона) от "ослабления сердечной мышцы, вызванного недоеданием и туберкулезом легких".

В душе Симоны жила уверенность, что ей поручен, говоря ее же словами, *золотой запас, который следует передать дальше. То, что я вижу в моих современниках, все больше убеждает меня: никто не хочет им владеть,* - писала она матери всего лишь за месяц до смерти. — *Это цельный слиток. Все, что прибавляется к нему, немедленно сплавляется с остальным. По мере того как слиток растет, он становится все компактнее. Я не могу раздробить его на мелкие части. Чтобы принять его, требуется усилие... Что касается потомков — даже если когда-нибудь снова народится поколение с мускулами и разумом, печатные труды и рукописи нашей эпохи к тому времени, несомненно, исчезнут материально. Это меня не беспокоит. Золотая жила неисчерпаема...*[1]

1. Цит. по кн.: Ангелика Крогман. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. С. 150.

Дружба

Есть на свете форма чистой человеческой любви, которая заключает в себе предощущение и отблеск любви Божественной. Это — дружба, если использовать данное слово в строгом соответствии с его подлинным значением.

Когда мы кому-либо оказываем предпочтение, такое предпочтение по необходимости отличается от того, что мы называем словом "милосердие". Милосердие никого не предпочитает. Оно останавливается на ком-либо в отдельности, только если случается несчастье, которое ведет к обмену между состраданием одного человека и благодарностью другого. Милосердие в равной мере доступно всем людям, поскольку несчастье, случившееся с любым из них, предполагает подобный обмен.

Личное предпочтение по отношению к определенному человеку бывает двух видов. Либо мы ищем в другом человеке некое благо для себя, либо нуждаемся в самом этом человеке. Говоря более общо, все человеческие привязанности можно разделить на две группы: мы стремимся к какой-то вещи, либо желая найти в ней благо, либо потому, что просто не можем обойтись без нее. Иногда два эти побудительных мотива совпадают, но происходит это далеко не всегда. Сами по себе они различны и полностью независимы друг от друга. Когда у нас нет выбора, мы едим даже ту пищу, к которой обычно чувствуем отвращение, ибо нам не остается ничего другого. Человек, который любит поесть, но не делает из еды культа, предпочитает блюда повкуснее, однако может легко обойтись и без них. Если же нам не хватает воздуха и мы задыхаемся, мы бьемся за каждый его глоток — и не потому что ожидаем получить от глотка воздуха некое благо, а потому, что нам без него не выжить. А вот обратный пример. Люди едут на море, чтобы подышать морским воздухом: их не принуждает к этому никакая необходимость, им это просто приятно.

Часто бывает, что с течением времени вторая из побудительных причин автоматически занимает место первой. Это одно из самых тяжелых страданий. Человек курит опиум, чтобы войти в особое состояние, которое вначале кажется ему чудесным, но постепенно становится невыносимой мукой. Несчастный понимает, что это состояние для него разрушительно, но уже не может без него жить. Арнольф покупает Агнес у ее мачехи, видя благо в том, чтобы приобрести маленькую девочку, из которой надеется со временем вырастить себе добрую супругу. Повзрослев, она приносит ему одни муки и унижения. Но за эти годы его привязанность к ней

становится жизненной необходимостью, что вынуждает его произнести ужасную фразу:

Но я чувствую внутри себя то, от чего я сдохну...

Гарпагон сначала видит в золоте благо. Постепенно золото становится для него предметом мучительной страсти, лишение которого причиняет ему смерть. Как сказал Платон, между существенными свойствами необходимости и блага – большая разница.

Нет никакого противоречия в том, чтобы искать блага рядом с другим человеком и желать блага ему. По этой самой причине, когда нас влечет к человеку стремление получить благо только для себя, тут нет условий для дружбы. Дружба есть сверхприродная гармония, союз противоположностей.

Когда человек станет для нас чем-то в той или иной степени необходимым, тогда мы уже не сможем желать ему блага, пока не прекратим желать блага самим себе. Там, где существует необходимость, существуют принуждение и господство. Мы находимся в зависимости от того, в чем мы нуждаемся, или, во всяком случае, от того, кто им обладает. Главное благо для каждого человека – это свобода распоряжаться собой. А мы или сами от нее отрекаемся (что есть грех идолослужения – ибо мы вправе отказываться от этой свободы только ради Бога), или желаем, чтобы свободы был лишен человек, в котором мы чувствуем нужду.

Разные механизмы способны рождать между людьми узы любви, приобретающие железную силу необходимости. Часто такой характер имеет материнская любовь; изредка – отцовская (как у Бальзака в "Отце Горио"); а также любовь сексуальная в своих наиболее интенсивных проявлениях (как в "Школе жен" и "Федре"[1]); очень часто – любовь супружеская (особенно в силу привычки); реже – любовь детей к родителям и любовь братская.

Впрочем, есть разные степени необходимости. Необходимым до некоторой степени является все, утрата чего реально приводит к ослаблению жизненной энергии – в точном и строгом смысле, который это слово могло бы иметь, если бы феномены жизнедеятельности были столь же хорошо изучены, как законы падения физических тел. В высшей степени необходимо для нас то, лишение чего влечет за со-

1. "Школа жен" – комедия Ж.-Б. Мольера; "Федра" – трагедия Ж. Расина. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

бой смерть. Это тот случай, когда вся жизненная энергия одного существа зависит от другого существа. На более низком уровне необходимости потеря вызывает более или менее значительное уменьшение энергии. Так, полное лишение пищи вызывает смерть, в то время как ее ограничение приводит только к ослаблению организма. Тем не менее мы называем необходимым количество пищи, отсутствие которого приводит к истощению.

Чаще всего человеческие привязанности становятся необходимостью при определенном сочетании факторов симпатии и привычки. Как в случаях страсти к стяжательству или к наркотической интоксикации, о которых говорилось выше, так и здесь — то, что сначала было поиском блага, с течением времени превращается в необходимость. Но в отличие от стяжательства, наркомании и других порочных страстей, в привязанности могут одновременно сочетаться оба побудительных мотива — поиск блага и чувство необходимости. Могут они существовать и раздельно. Когда привязанность одного человека к другому продиктована чистой необходимостью, это чудовищно. Мало что на свете до такой степени позорно и страшно. Всегда есть что-то пугающее, когда человек ищет благо, а находит одно лишь рабство необходимости. Сказки, где лицо любимой внезапно оборачивается мертвым черепом, дают верный образ такого рабства. Конечно, человеческая душа богата на выдумки, с помощью которых маскирует свой позор и рисует воображаемые блага там, где на самом деле господствует одна лишь жестокая необходимость. Позор — зло именно потому, что вынуждает душу к самообману...

Когда один человек привязан к другому узами более или менее явной необходимости, не бывает, чтобы он при этом стремился сохранить равную самостоятельность для себя и для другого. Не бывает — в силу самого природного механизма. Но бывает по чудесному вмешательству сверхъестественного. Чудо, о котором мы сейчас будем говорить, это — дружба.

"Дружба есть равенство, происходящее из гармонии"[1], — говорили пифагорейцы. Это гармония, ибо здесь присутствует сверхъестественное единство между двумя противоположностями, которые Бог сочетал, создавая мир людей: единство между необходимостью и свободой. Это равенство, ибо в дружбе мы стремимся сохранить возможность свободного согласия для себя и для другого.

1. Это пифагорейское изречение процитировано в книге Диогена Лаэртского "Жизнеописания, учение и слова знаменитых философов".

Где один желает подчинить себе другого или поставить самого себя в подчиненное положение, там нет и намека на дружбу. У Расина Пилад – не друг Оресту[1]. При неравенстве дружба невозможна.

В дружбе очень важна определенная взаимность. Когда с одной из двух сторон нет никакой благосклонности, другой должен сдерживать в себе чувство симпатии, уважая свободу согласия, которую он не вправе нарушать. Если с одной из двух сторон нет уважения к свободе другого, тот должен порвать узы дружбы из уважения к самому себе. А тот, кто согласится поставить себя в подчиненное положение, дружбы взамен не получит. Хотя необходимость, обусловленная чувством привязанности, может существовать лишь с одной стороны; и в данном случае дружба (если употреблять это слово в его точном и строгом смысле) будет односторонней.

Дружба теряет свою чистоту, если необходимость хоть на мгновение берет в ней верх над желанием сохранить для обеих сторон свободу взаимного согласия. Все человеческие дела, совершаемые по принципу необходимости, нечисты.

Нечистой является любая дружба, в которой есть хоть малейший намек на желание угодить или чтобы тебе угодили. В подлинной дружбе оба эти желания полностью исключены. Двое друзей от души согласны оставаться двумя индивидуальностями, но – не одной. Они уважают дистанцию между собой, которую устанавливает само то обстоятельство, что они разные от природы. Человек вправе желать достигнуть непосредственного единения только с Богом.

Дружба есть чудо, при котором человек соглашается смотреть на расстоянии, не приближаясь, на другого человека, который необходим ему как пища. Ева не обладала такой силой души; а к тому же не испытывала нужды в плоде райского дерева. Если бы в момент, когда она смотрела на плод, она была голодна, но продолжала неустанно смотреть на этот плод, не делая к нему ни шага, то совершила бы чудо, аналогичное чуду совершенной и истинной дружбы.

Такой сверхъестественной добродетелью уважения к человеческой свободе дружба очень напоминает чистые формы сострадания и благодарности, вызванные несчастьем. Это те два случая, когда противоположности являются усло-

1. Имеется в виду пьеса Ж. Расина "Андромаха", где перерабатывается сюжет, известный по древнегреческим трагедиям. Пилад в пьесе называется "другом" Ореста, но при этом представлен типичным слугой или вассалом средневекового владетельного вельможи, который хорошо "знает свое место".

виями гармонии: в первом — необходимость и свобода, а во втором — подчинение и равенство. Эти две пары противоположностей равноценны.

Бескорыстная дружба не допускает ни угодничества, ни желания, чтобы тебе угождали; и поэтому в ней, вместе с чувством привязанности, присутствует нечто, похожее на полное беспристрастие. Связывая две личности, дружба имеет в себе нечто безличное. Ей не вредит беспристрастность. Что никак не мешает подражать совершенству Отца небесного, Который разливает повсюду свет солнца и дождевую влагу. Напротив, дружба и такое подражание — взаимообусловлены, во всяком случае — довольно часто. Ибо, поскольку люди (может быть, за некоторыми очень небольшими исключениями) связаны между собой узами привязанностей, имеющих некоторую степень необходимости, они не могут приблизиться к Божественному совершенству иначе, как претворяя эти привязанности в дружбу. Дружба есть нечто всеобъемлющее. Она заключается в том, чтобы так любить человека, как хотелось бы нам уметь любить каждого из составляющих род человеческий. Как геометр, изучивший отдельный треугольник, выводит на его примере общие свойства треугольников, так умеющий любить направляет на отдельное человеческое существо любовь ко всему творению. Согласие сохранять свободу для себя и для другого есть, по существу, нечто всеобъемлющее. Желая сохранить свободу более чем для одного существа, мы тем самым желаем сохранить ее для всех; ибо уже не допускаем, что мир может быть выстроен вокруг какого-то одного земного центра. Ибо такой центр мы помещаем превыше небес.

Дружба теряет свойство свободы, если два человека, которые любят друг друга, полагают, в силу злоупотребления взаимной привязанностью, что они — единое целое. Это уже не дружба в подлинном смысле слова. А, да будет позволено сказать, прелюбодейный союз, даже если речь идет о супругах. Дружба возможна лишь там, где люди соблюдают и уважают разделяющую их дистанцию.

Простой случай, когда человеку приятно думать обо всем точно так же, как думает любимый человек, или хотя бы стремиться к полному совпадению мнений, является преступлением против чистоты дружбы, равно как и против умственной честности. А ведь последнее случается очень часто. Соответственно, чистая дружба — явление весьма редкое.

Если узы привязанности между человеческими существами и взаимной необходимости не преображены сверхъесте-

ственным образом в дружбу, любовь не только становится нечистой и низменной, но и смешивается с ненавистью и отвращением. Это замечательно показано в "Школе жен" и "Федре". Там речь идет о плотской любви, но ровно таков же механизм действия и других привязанностей. И легко понять почему: мы ненавидим то, от чего испытываем зависимость, и испытываем отвращение к тому, что зависит от нас. Иногда привязанность не просто смешивается с ненавистью и отвращением, но полностью в них превращается. Подобное превращение может произойти почти сразу, так что чувство привязанности даже не успевает возникнуть — такое бывает, когда необходимость откровенно кажет себя чуть не с первой минуты. Если же нужда друг в друге не имеет эмоционального характера и обусловлена только житейскими обстоятельствами, враждебность проявляется сразу.

Христос сказал Своим ученикам: "Любите друг друга" (Ин. 13:34; 15:12), но то не было предписанием взаимного расположения. Они уже были связаны общими убеждениями, общинной жизнью, привычкой, наконец, — Он же заповедал им преобразить все это в дружбу, дабы существующая между ними связь не обратилась в нечистые пристрастия или ненависть.

Из того что накануне Своей смерти Христос присоединил эти слова как "заповедь новую" (Ин. 13:34) к заповедям о любви к Богу и ближнему, мы можем заключить, что чистая дружба — как и милосердие к ближнему — заключает в себе нечто подобное таинству. Возможно, Он желал указать именно на это, говоря о дружбе между христианами: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20).

Чистая дружба есть образ изначальной и совершенной дружбы, соединяющей Троицу, — той дружбы, которая есть сущностное свойство Самого Бога. Невозможно, чтобы два человеческих существа "стали едино" (Ин. 17:11, 21), и при этом искренно уважали дистанцию, их разделяющую, если Бог не будет присутствовать в каждом из них. Две параллельные прямые могут встретиться только в бесконечности...

Из переписки

В марте 1937 года Симона по настоянию родителей выехала из Парижа на лечение в Швейцарию, в курортную местность Кран-Монтана. Средст-

ва на отнюдь не дешевую поездку выделил отец; у самой Симоны, почти год как безработной, денег не было вовсе. Здесь, проживая в санатории-клинике Ля Мубрá, она продолжала свои литературные занятия — в основном, писала статьи на злободневные политические темы. При этом она находила время и для дружеского общения с другими пациентами клиники, среди которых было немало ярких, интересных личностей из разных стран Европы.

Самые теплые отношения (впрочем, не выходившие за рамки чисто товарищеских) сложились у нее со студентом-медиком из Женевы Жаном Постернаком[1], молодым человеком светлого ума, открытого характера и высокой культуры. Он был начитан, разбирался в искусстве и музыке, прекрасно играл на фортепьяно и, кроме того, привез с собой коллекцию патефонных пластинок с записями известных исполнителей музыкальной классики. Комната женевского студента вскоре стала, по отзыву Симоны, настоящим "центром общественной жизни Ля Мубра". Он был на четыре года ее моложе и не обладал такой, как у нее, безмерной филологической эрудицией, что позволяло Симоне читать ему настоящие лекции на темы, которыми она сама была увлечена: о Платоне, Гомере, Эсхиле... Говорили, конечно, и о политической ситуации в Европе, которая становилась все более угрожающей. Но, так или иначе, молодые люди общались весело и счастливо.

23 апреля, по окончании курса лечения (кажется, мало успешного), Симона выехала в Италию. Это была ее первая поездка в эту страну. Симоне хотелось не только приобщиться к всемирно известным сокровищам античной, средневековой и ренессансной культуры, но — не в меньшей степени — и познакомиться с характером итальянского народа. Интерес вызывала и политическая система страны, в которой авторитарность, подавление инакомыслия и колониальные амбиции сочетались с государственным ограничением капитализма и социальным регулированием. Жан Постернак, который хорошо знал Италию и имел там друзей и знакомых, дал Симоне кое-какие полезные рекомендации. Находясь в Италии, она поддерживала с ним переписку, делясь впечатлениями и мыслями.

Письма Симоны Вейль Жану Постернаку сохранили живой отблеск дружбы двух светлых молодых душ.

1. Жан Постернак (1913–2005) — ведущий швейцарский ученый-физиолог, многолетний профессор Женевского университета, известен не только как исследователь, но и как организатор научной деятельности, как прекрасный преподаватель, воспитавший несколько поколений медиков и биологов страны. В статьях коллег и учеников, посвященных памяти Постернака (http://www.swissphysio.org/posternak.shtm), особо подчеркиваются замечательные человеческие качества ученого — те самые, которые когда-то вызвали горячую симпатию Симоны.

Симона Вейль – Жану Постернаку
Письмо 1

Флоренция, май 1937 г.

Дорогой друг,

кажется, Ваши оценки "Музыкального мая"[1] отвечают и моим вкусам, потому что я с ними согласна. "Женитьба Фигаро", которую я раньше не знала (кроме фрагментов), исполненная под управлением Бруно Вальтера на превосходном уровне, произвела на меня впечатление, которое Вы легко можете себе представить[2]. Однако это впечатление меркнет перед "Коронацией Поппеи"[3], сыгранной в амфитеатре сада Боболи, под звездным небом, с дворцом Питти вместо декораций. Мне было ужасно жаль, что Вы не здесь, чтобы и Вам насладиться этим чудом — одним из тех чудес, память о которых остается на всю жизнь. Но хочется верить, что однажды Вы это услышите. Публика была холодна. (Сборище тупиц!) Ну а я прыгала от счастья, одна за весь амфитеатр. Вот это музыка: такая простая, светлая, нежная, которая просто зовет танцевать... Вы ведь помните, как я реагировала, когда Вы играли на фортепьяно что-нибудь из Баха? Вот так и эти мелодии Монтеверди, которыми я восхищалась снова, после того как уже слышала его славное анданте.

Нынешнее возвращение во Флоренцию было для меня удивительным. Если первая встреча с Флоренцией — счастье, то насколько большее счастье вновь встретиться с ней, как с оставленной родиной после недолгого путешествия! Вот в точности то впечатление, которое она произвела на меня. На этот раз я решительно отказалась ехать в Венецию. Конечно, если мне никогда больше не придется видеть Венецию, я буду чувствовать и к ней любовь (хотя бы ради того, чтобы послушаться Вас), но я знаю и то, что она никогда не будет столь близка моему сердцу, как Флоренция. Красоты Флоренции — из тех, которые не су-

1. "Музыкальный май" — международный оперный фестиваль, который проводится во Флоренции с 1933 г. (после 1937-го ежегодно); продолжается в течение мая и июня.
2. Бруно Вальтер (1876–1962) — всемирно известный немецкий дирижер еврейского происхождения. После прихода к власти нацистов эмигрировал. Работал и жил в Австрии, во Франции, затем в США, где оставался до кончины. Продолжал концертную деятельность до 84-летнего возраста.
3. Клаудио Монтеверди (1567–1643) — итальянский композитор и священник. Опера "Коронация Поппеи", написанная им в старости, за год до смерти, считается кульминацией всего его творчества и одним из мировых шедевров оперного искусства.

мел бы прославить Д'Аннунцио; во всяком случае, я не могу себе это представить. Говорю к похвале Флоренции, ибо остаюсь далека от того, чтобы разделить Вашу симпатию к "Fuoco", прочесть который Вы рекомендовали мне в одном из писем. Его понимание искусства и жизни приводит меня в ужас, и я уверена, что этот человек скоро будет прочно и заслуженно забыт[1].

Во Флоренции за малое время можно собрать изрядное количество чистых удовольствий. Смотрите. Это Фьезоле[2] (откуда я спускалась только ради того, чтобы послушать Моцарта...), Сан-Миниато (куда я возвращалась дважды, — самая красивая из флорентийских церквей, на мой взгляд), Старая Сакристия церкви Сан-Лоренцо, статуи Донателло, рельефы на Кампаниле, фрески Джотто в Санта-Кроче, "Концерт" Джорджоне, "Давид", "Утро", "Ночь"[3]... Это запечатленные в памяти стихи Данте, Петрарки, Микеланджело, Лоренцо Великолепного. (Кстати, Вам они известны? Я, пока не побывала здесь, не знала, что он занимался поэзией; есть среди них и очень милые:

Quant'è bella giovinezza
Che se fugge tuttavia...)[4]

Это Россини, Моцарт, Монтеверди. Это — Галилей (ведь я только что купила полное собрание его сочинений и провела прекрасный светлый вечер, рассматривая его необычайные открытия в области равномерно ускоренного движения. Подобное доставляет столько эстетического удовольствия, как мало что другое...); это особенно почитаемый здесь Макиавелли, et cetera, et cetera...

Как бы я хотела узнать, понять связь между всеми этими цветами итальянского гения, а не наслаждаться ими лишь поверхностно!..

1. Габриеле Д'Аннунцио (1863–1938) — итальянский писатель, поэт, идеолог и политический авантюрист. Культом силы и плоти, проповедью "сверхчеловеческого" аморализма, а также воинственно-националистическим пафосом своего творчества во многом подготовил идеологию итальянского фашизма. В политической практике фашистского движения — соперник Муссолини, в 30-е гг. — противник сближения с германским нацизмом. "Огонь" ("Fuoco") — роман писателя, изданный в 1900 г. (рус. перев. 1910). Слова Симоны не сбылись. Через 70 лет после кончины Д'Аннунцио его мораль, идеология, эстетика и стиль жизни вновь находят поклонников, в том числе в России.
2. Городок в 8 км от Флоренции, богатый памятниками искусства и культуры разных эпох.
3. Знаменитые скульптурные работы Микеланджело, находящиеся во Флоренции.
4. Строки из "Триумфа Вакха и Ариадны", гимна безудержного гедонизма. Правитель Флоренции, герцог Лоренцо Медичи написал его для карнавального шествия 1490 г.

Еще я собрала в своей памяти целую коллекцию флорентийских "fiaschetterie"[1] (не правда ли, милое словечко?), потому что только в них и питалась (paste al sugo[2] – от 70 чентезимо до 1 лиры) и каждый раз в новой. Одна из них – совсем близко от Кармине (о, как прекрасны эти фрески Мазаччо!)[3], там бывает полно молодых рабочих и пожилых маленьких рантье, они развлекаются тем, что импровизируют песни, стихи и музыку! Мне так жаль несчастных, которые, на свою беду, имеют деньги – и вынуждены обедать в ресторанах за 8 или 10 лир.

Вообразите себе, что, кроме этого, я посещала во Флоренции... местное отделение партии фашистов, занимающее прекрасный дворец, куда перевел его один из основателей флорентийского "фашио" – железнодорожник по профессии и в прошлом синдикалист (с этого и начался контакт между нами)[4], с которым я случайно разговорилась на террасе в кафе на Пьяцца Витторио Эмануэле. В этом casa del Fascio есть информационное бюро для иностранцев, где работает один молодой интеллектуал – искренний, умный и, конечно, симпатичный (таких туда и отбирают). Мы встретились в его бюро: маркиз, потомок одной из старейших флорентийских фамилий, очень богат, очень фашист и – ужасно интересен. Из вещей, о которых мне рассказывали (заметьте, что я никак не маскировалась), что-то мне показалось симпатичным, что-то – не очень. Слишком долго пересказывать. В бюро Dopolavoro[5] мне показали сборник новых литературных сочинений рабочих: очень разочаровывает, если сравнить с теми, что в журналах, которые я читаю (Вы их помните?). Глупость патронажа[6] во всем его уродстве. Мне это кажется знаменательным.

1. Fiaschetteria – характерное для Флоренции сочетание винной лавки с закусочной. Это слово, как бы по аналогии с нашей "рюмочной", буквально можно перевести – "бутылочная" (от fiasco – род большой бутылки). Юмористическую реакцию Симоны вызывает переносное значение слова "fiasco" – провал, неудача, конфуз.
2. Pasta al sugo – макароны под соусом. Симона ошибочно пишет итальянское слово "pasta" на французский манер.
3. Санта-Мария дель Кармине – церковь во Флоренции на южном берегу Арно. При скромности внешнего архитектурного облика славится живописью – в особенности, фресками Мазаччо, украшающими одну из капелл.
4. В 1937 г. Симона Вейль еще продолжала участвовать в движении анархосиндикалистов.
5. Dopolavoro (буквально переводится "после работы") – фашистская организация досуга.
6. Имеется в виду теория и практика социального патронажа, распространявшиеся в разных вариантах на Западе в 30-е гг. Имела целью не допустить "большевизации" рабочего класса в условиях экономического кризиса и революционной активности партий Коминтерна, направляемых Советским Союзом. Полемизируя с французскими идеологами социального патронажа (О. Детёф и др.), Симона, однако, сотрудничала в их изданиях, которые и упоминает чуть выше.

В связи с этим, стоит рассказать о моей встрече с Вашим другом Люсьеном Элль[1]. Вот было бы интересно узнать, как он сам отзывается о ней, — если он писал Вам с тех пор. Думаю, что, если бы Вы невидимо присутствовали при нашем разговоре, Вы бы очень повеселились. Что касается меня, я с большим интересом, и уже давно, хотела поговорить начистоту с парнем такого склада — то есть, с одной стороны, носителем известных Вам взглядов, а с другой — человеком развитым, имеющим свое мнение, а не просто чьим-то отражением. Мне показалось, что у него есть и такое мнение и вместе с тем характер — из тех, что полны внутреннего укрощенного жара и больших скрытых амбиций. Такие люди мне всегда интересны. Итак, я очень благодарна Вам за знакомство с ним; но не думаю, что он скажет Вам за это большое спасибо. Я его порядком замучила. Но ведь не нарочно же...

Он думает, что мое законное и нормальное место в обществе — на дне какой-нибудь соляной шахты. (Он меня, вероятно, туда и засунет — если хоть сколько-нибудь последователен в своих идеях, — как только его единомышленники придут к власти во Франции.) На этот счет я с ним вполне согласна. Но если бы даже у меня был выбор, я предпочла бы мучиться, пока не издохну, на дне соляной шахты, чем жить с таким узким и ограниченным горизонтом, как у этой молодежи. Шахта кажется менее удушливой, чем их атмосфера — эта одержимость идеей нации, это поклонение силе в самой брутальной форме, а именно — в форме коллективизма (см. о "великом звере" у Платона — "Государство". 1:6), это замаскированное обожествление смерти... По контрасту, на меня будто повеяло свежим ветром от того, что Вы написали о Тосканини (Вы понимаете, о чем я)[2]. Есть же еще на свете люди, которые считают себя согражданами всему человечеству по благородной традиции Марка Аврелия и Гёте.

Благодарение небесам, здесь, в этой стране, кроме людей, одержимых всеми такими мифами, есть еще мужчины и женщины из народа, молодые ребята в синих спецовках, чьи фи-

1. Товарищ Ж. Постернака по учебе в коллеже, сын деятеля одной из международных организаций, располагавшихся в Женеве. Имея итальянское гражданство, в предвоенные годы жил в Риме.
2. Артуро Тосканини (1867–1957) — всемирно известный итальянский дирижер. После Первой мировой войны отдал дань воинственной романтике, был близок к Д'Аннунцио и даже принял участие в его политических авантюрах (занимал пост министра культуры в так называемом "государстве Фиуме" в 1919 г.). Однако позднее, в 30-е гг., когда политика Муссолини, сблизившегося с Гитлером, приобрела отчетливые агрессивные черты, Тосканини покинул Италию. С 1938-го по 1954 г. дирижировал оркестром Национального радио в Нью-Йорке.

зиономии и поведение несут на себе только печать связи с проблемами повседневной реальной жизни. Хотя Ваш друг имеет общее с ними итальянское гражданство, которому придает столь большую цену, думаю, что я к ним ближе, чем он. Вот о чем я думала в поезде от Рима до Теронтолы (ответвление на Ассизи), в вагоне, полном колоритных типов — рабочих, возвращавшихся из Абиссинии[1], с которыми я побраталась совершенно запросто. (Говорю не о взглядах, а о чисто человеческом общении[2].)

Все, прежде виденное мною в Ассизи, в Милане, во Флоренции, в Риме, — будто стерлось из памяти: настолько ослепили меня эти поля — такие нежные, такие чудесно-евангельские, францисканские, эти трогательные часовни, это множество счастливых воспоминаний, эти прекрасные образцы человеческой натуры — умбрийские крестьяне, такой красивый, здоровый, крепкий, веселый и добродушный народ! Я и в мечтах не могла представить себе столь чудесный край. И вот ведь загадка: в Ассизи и в окрестностях все дышит духом св. Франциска — все, кроме того, что сделано в его честь (исключая разве что замечательные фрески Джотто). Из того что предшествует Франциску, все — францисканское! Можно подумать, что Провидение сотворило эти счастливые поля, эти смиренные, милые храмы, чтобы подготовить его приход. Вы заметили, что капелла, в которой он молился, в Санта-Мария дельи Анджели (пропади пропадом огромная церковь, которая ее окружает!), — это маленькое чудо архитектуры[3]? Она настолько же превосходит творения большинства известных архитекторов, насколько народная песня лучше большинства музыкальных шедевров.

Мне не удалось остановиться — хоть женщин туда допускают — в крохотном монастырьке дельи Карчери[4], в часе с четвертью пути в гору от Ассизи. Не найти вида более ясного.

1. После оккупации Абиссинии в 1936 г. итальянские власти предприняли в северо-восточной части этой страны — Эритрее — значительное индустриальное и дорожное строительство.

2. По свидетельству близкой подруги — С. Петреман, — до поездки Симона не знала итальянского языка, но, как только пересекла итальянскую границу, стала активно учить его в живом общении.

3. Имеется в виду так называемая Порциункола, маленькая романская церковь IX в., дарованная св. Франциску и его братству в 1208 г., главная францисканская святыня в окрестностях Ассизи. В XVI-XVII вв. Порциункола была заключена внутрь огромной, специально для этого выстроенной базилики в стиле раннего барокко.

4. Eremo delle Carceri — скит на склоне горы Субазио в 4 км от Ассизи, филиал монастыря св. Франциска. Был для Франциска и его братии любимым местом уединения и медитации. Приводя итальянское название, Симона с непривычки путает артикль.

более райского, чем вид на Умбрию с высоты. Умел же этот св. Франциск выбирать роскошные места, чтобы жить в нищете! Да не был он никаким аскетом! Здесь молодой францисканец, весь горящий верой — умри он сейчас, точно пошел бы прямо в рай, — показал мне русло потока, высохшего, когда якобы св. Франциск, которому шум вод мешал в его медитациях, помолился, чтобы они остановились. С тех пор (это не я, это молодой францисканец говорит) вода в потоке бывает, только когда Италии угрожают большие бедствия — например, в 1915 году, когда Италия вступила в войну.

А как раз в тот самый день[1] весь Ассизи был заклеен плакатами, посвященными годовщине вступления Италии в войну: ее отмечают как национальный праздник. Там прославлялся "этот день, когда впервые, после долгого засилья материализма, дух одержал триумф над материей... этот день, праздник воинов древних и будущих времен..."

Я заключила, что, по милой логике этого молодого францисканца, и св. Франциска, и источник следовало бы посадить в тюрьму.

Ну что тут поделать? Не только Тосканини — сам св. Франциск не с ними.

Впрочем, если б не это восхваление войны, многое в их системе могло бы показаться привлекательным; но — кажется, я Вам уже объясняла почему — система, как я думаю, по самой своей сути нуждается в этом восхвалении. Система, которая поразила меня не столько своими претензиями на гуманизм, сколько тем, как все они фальшиво звучат. Там нет жизни и смерти. Там реален (и даже слишком) только соблазн войны; но ведь война не имеет ничего общего с этими бессмысленными фразами. И еще более бессмысленными они кажутся именно в этой стране, среди этого народа.

На другой день, во Фьезоле, когда я ожидала автобуса, со мной разговорился один местный рабочий. Увидев в моих руках книги, он сказал, что рад бы учиться, да у него слишком грубая профессия — каменщик; что Фьезоле расположено восхитительно и жизнь могла бы быть прекрасна, но, по правде говоря, зарабатывает он слишком мало, и доля его горькая — и все это самым простым тоном и с веселой улыбкой. Я спросила, есть ли у него семья; он сказал, что слишком

1. День вступления Италии в Первую мировую войну — 23 мая 1915 г. Отправившись из Рима в Ассизи вскоре после Пятидесятницы, которая в 1937 г. праздновалась 16 мая, Симона застала здесь подготовку к официальным военно-патриотическим торжествам. Итак, письмо, вероятнее всего, написано в 20-х числах мая.

любит свободу, чтобы иметь охоту жениться, и что, увлекаясь музыкой, каждое воскресенье выходит на улицу с приятелями и с гитарой... (Вот один из тех, кому нет нужды думать о вещах, которые так занимают Вашего друга!) Ну, как не полюбить такой народ!

Я была счастлива увидеть, что Вы читаете Платона в том состоянии духа, которое для этого подходит, — то есть в экстазе. Что же касается других диалогов — что бы Вам посоветовать?.. На французский более-менее прилично переведены только "Горгий" и "Теэтет" (и то уже хорошо!). Относительно "Государства", диалога наиболее возвышенного, могу Вам предложить только вот что: по возвращении в Париж я переведу для Вас самые лучшие места, и это могло бы послужить для Вас отправной точкой, чтобы найти хороший перевод на один из других языков. А если такого нет, тогда учите греческий... Это легкий язык. А еще можете написать Марио Мёньé и попросить, чтобы он ради всех страдальцев, вроде Вас, продолжил свой труд[1].

Мне показалось, что Вы придаете большую важность рассуждениям о бессмертии. А вот я не считаю этот вопрос весьма важным, по мне он, напротив, заслуживает очень мало внимания. Это такое дело, о котором наперед никто не может ничего сказать с уверенностью. И что нам до этого? Ни одна из реальных проблем жизни не меняется в зависимости от наших знаний о посмертной участи. Дела этой, здешней жизни — вот что надо возвысить до уровня вечности ("Mens sentit experiturque se aeternam esse"[2], — говорил Спиноза), вырываясь из плена того, что постоянно рождается и гибнет. И если все исчезает со смертью, тогда еще важнее не упустить ту жизнь, которая нам предоставлена, и тем самым спасти свою душу, пока она не исчезла. Я убеждена, что именно в этом истинный смысл учений Сократа и Платона (так же как и Евангелия), а остальное — лишь символы и метафоры. Подлинная задача "Федона" — поиск ответа на вопрос, относится ли душа к вещам, которые рождаются и исчезают, или она другой природы. И аргументы по этому вопросу мне кажутся

1. Марио Мёньé (1880–1963) известный французский переводчик древнегреческой литературы. В 1922 г. издал перевод платоновского "Пира", но в последующие годы предпочитал работать с художественно-поэтическими текстами. Его деятельность увенчалась полными переводами "Илиады" и "Одиссеи".

2. "Разум чувствует и знает по внутреннему опыту, что он вечен" (*лат.*) Вероятно, Симона приводит по памяти следующие слова Спинозы: "Но тем не менее мы чувствуем и внутренне сознаем, что мы вечны" (Этика, раздел 5, теорема 23, схолия. Перевод Н. Иванцова). Весь этот пассаж о бессмертии кажется навеянным сочинениями Спинозы.

совершенно неопровержимыми, а наиболее убедительными из всех — воспоминания о таком человеке, как Сократ.

Относительно "Илиады", я советовала бы Вам дождаться моей оценки того перевода, о котором Вы говорите. Нет ничего лучше "Илиады"; это чтение, которым нельзя пренебречь. Жалость, что Вы не можете непосредственно приступить к столь прекрасной вещи[1], заставляет меня выписать здесь для Вас несколько отрывков:

Песнь 18

[Следует текст диалога между Ахиллом и его матерью Фетидой — 50 строк — в собственном переводе Симоны. — *П. Е.*]

Песнь 21

Ахилл, приведенный в неистовство смертью Патрокла (тем более что он чувствовал себя повинным в ней), истребляет троянцев, которые разбегаются перед ним. И вот — обнаруживает выбегающего из реки Ликаона, сына Приама,

> ...коего некогда сам он
> В плен, невзирая на вопль, из отцова увлек вертограда[2],

в тот момент, когда Ликаон рубил смоковные ветви, чтобы сделать из них колеса для колесницы. Ахилл продал царевича на Лемнос, откуда некий чужеземец выкупил его и отослал в Арисбу, и Ликаон —

> Скоро, бежавши оттуда, в отеческий дом возвратился.
> Дома одиннадцать дней веселился с друзьями своими,
> После возврата из Лемна; в двенадцатый бог его паки
> В руки привел Ахиллеса, которому сужено было
> В царство Аида низринуть — идти не хотящую душу.
> Быстрый могучий Пелид, лишь узрел Приамида нагого
> (Он без щита, без шелома и даже без дротика вышел;
> По полю все разбросал, из реки убегающий; пóтом
> Он изнурился, с истомы под ним трепетали колена),
> Гневно вздохнул и вещал со своею душой благородной:
> "Боги! великое чудо моими очами я вижу!..[3]

1. То есть в подлиннике.
2. Илиада. Песнь 21, ст. 35–36. Здесь и далее в переводе Н. Гнедича.
3. Там же. Ст. 44–54.

Ахилл взбешен, видя перед собой юношу, которого сам пленил и продал в рабство незадолго до этого. [Далее следуют 56 строк в переводе С. Вейль. – *П. Е.*]

P. S. Я совсем ничего не рассказала Вам о Риме. Кроме памятной встречи с Вашим другом, мне не забыть, как я просто опьянела от греческих статуй (они в самом деле произвели на меня такое впечатление; и только они – лучше Микеланджело по крайней мере те, стиль которых наиболее чист. После этого, что еще – кроме Баха – может выразить столь совершенное и божественное равновесие между человеком и мирозданием?), а еще – от мессы в Пятидесятницу у Святого Петра, исполненной мужским и детским хорами. Божественная музыка – под этим божественным куполом, среди коленопреклоненной толпы, где было видно много простых лиц мужчин и женщин из народа. К тому, что нет ничего лучше слов католической литургии, прибавьте совершенное, изысканное искусство Вагнера! А еще лучше – что и народ принимал в этом участие!..

Письмо 2

Париж, лето 1937 г.

Дорогой друг,

Вы, наверное, полагаете, что я забыла свое обещание относительно "Государства"[1]. Нет, я очень часто думала об этом, но после возвращения была нездорова и, как следствие, не способна к работе. Не знаю, увижу ли еще когда-нибудь оливы... Это лишение, которое я чувствую постоянно. Чувство, с которым я думаю об Италии, можно выразить разве что словом "Heimweh"[2]. Например, не могу без волнения прочесть само имя Джотто или вспомнить название любой из улиц Флоренции. А еще постоянно нахожусь под впечатлением "Коронации"[3] и, кажется, даже в самый момент смерти буду мысленно представлять себе сцену смерти Сенеки. Я горю желанием вернуться туда при первой возможности. Хотя, с

1. См. в письме 1.
2. Heimweh – тоска по родине, по дому, семейной обстановке (*нем.*). Понятие, имеющее более широкое значение, чем ностальгия. Применяется в качестве термина в немецкой возрастной психологии.
3. Опера Монтеверди "Коронация Поппеи". См. письмо 1.

другой стороны, чувствую, что моя боль от взятия Бильбао[1] будет еще острее в стране, где это взятие считают победой — по крайней мере те, что имеют свободу высказываться.

Я так желала бы, чтобы в Ля Мубра было много разных и ярких людей, способных поддерживать вокруг Вас живую и теплую атмосферу. В том, что Вы рассказываете о молодом математике из Германии, слышится симпатия. Думаю, что Вы, в конце концов, станете друзьями. И, конечно, он однажды подчинится влиянию того необычного феномена, который делает Вашу комнату центром общественной жизни в Ля Мубра, — влиянию, перед которым не могут устоять даже эти серые французы — образчики непробиваемой посредственности... Спросите-ка у него, слышал ли он о моем брате, или еще о "Бурбаки" (коллективный псевдоним группы молодых математиков, воодушевленных моим братом, который готовит революцию в математическом анализе). Я Вам желаю, чтобы он и Вас увлек математикой. Помните, что Платон повелел вырезать над воротами своей Академии (где учился Евдокс[2]...): "Никто да не входит сюда, если он не геометр". Говоря мне о Декарте, Вы не упомянули о "Правилах для руководства ума"[3]. Неужели Вы прошли мимо них? На мой взгляд, это одно из лучших его произведений: первая его работа, написанная, когда он был еще молод и никому не известен, не предназначенная для публикации, нечто вроде интеллектуальной "исповеди".

А я тоже, как только вернулась домой, тут же засела за Луи де Бройля[4]. Вынуждена признаться, что он оставил у меня смешанное впечатление. Как мне кажется, его гениальная интуиция проявилась, в сущности, в обнаружении того, что явление целых чисел в атомических феноменах, после сенсационного объяснения Планком стабильного движения электронов[5], содержит в себе нечто аналогичное интерференции волн. Эта интуиция особенно подтверждается удивительным

1. Бильбао — главный опорный пункт республиканцев на севере Испании, 19 июня 1937 г. был взят франкистами, при решающем участии итальянских добровольческих частей и мощной поддержке итальянской и немецкой авиации. Режим Муссолини с полным основанием считал эту операцию *своей* победой.
2. Евдокс Книдский (ок. 408 — ок. 355 до н. э.) — великий древнегреческий математик и астроном. Смысл его особого упоминания здесь будет пояснен Симоной ниже.
3. Декарт написал это сочинение в возрасте 32 лет, после переезда в Голландию, но не публиковал его, уже наученный опытом преследований за вольнодумство, которым во Франции его подвергали иезуиты.
4. Луи де Бройль (1892—1987) — основатель волновой механики, лауреат Нобелевской премии 1929 г.
5. Макс Планк (1858—1947) — немецкий физик, создатель квантовой теории, лауреат Нобелевской премии по физике 1918 г.

опытом дифракции электронов в кристаллической среде или в оптической сетке. Все это – физика, и самая прекрасная. А вот когда он рассматривает понятие волны как *первичное*, относящееся к структуре материи, – не абсурд ли это? Ведь волну можно помыслить только с помощью понятий удара или толчка, применительно к жидким телам. Вы помните сравнение с шарами из агата, которое использует Гюйгенс в начале своего замечательного исследования?[1] (В этом отношении так же потрясающе интересны работы Френеля[2].) С другой стороны, волновая и корпускулярная модели – несовместимы; что ж тут необычного? Это показывает, что следует выработать третью модель, в которой можно будет совместить аналогии, представленные двумя другими. Пока это не удалось, я не нахожу ничего шокирующего в том, что нам приходится опираться на две несовместимые модели в описании феномена – модели, которые могут только представить аналогии способом, "приемлемым для сердца", как сказал бы Паскаль[3].

Кроме того, квантовая механика приходит к формулам, где имеются члены, не удовлетворяющие правилу коммутативности умножения. В картине волновой механики этот странный математический феномен является соответствующим дуализму между "волновым" и "корпускулярным" аспектами материи. Во всяком случае, допускается, что эта коммутативность соответствует невозможности одновременно точно измерить две величины. (Согласно волновой интерпретации, положение и скорость.) Эта невозможность выражается через "отношения неопределенности"[4]. Я никак не могу понять, что из этого наносит удар по детерминизму. То, что мы, оказывается, неспособны определить измерениями эти две величины сразу, – означает ли, что эти величины могут быть *сами в себе* недетерминированы? Сам этот вопрос не имеет смысла. Устанавливаем ли мы, что невоз-

1. Христиан Гюйгенс (1629–1695) – нидерландский физик, автор волновой теории света.
2. Огюстен Френель (1788–1827) – французский физик, создатель кристаллической оптики, развивший на новой основе волновую теорию света, ранее сформулированную Гюйгенсом.
3. Одно из многих характерных высказываний Б. Паскаля на этот счет: "Положения, связанные сразу и с общепризнанными истинами, и с желанием сердца, производят на людей такое убедительное действие, что в природе нет ничего другого, что воздействовало бы на нас сильнее" (трактат "О геометрическом уме", раздел 2).
4. Принцип неопределенности Гейзенберга – принцип квантовой механики, дающий нижний (ненулевой) предел для произведения дисперсий величин, характеризующих состояние системы. Открыт немецким физиком Вернером Гейзенбергом (1901–1976) в 1927 г.

можно получить данные, необходимые для того, чтобы конкретно познать природу как детерминированную? Но это всегда нам позволял признавать простой здравый смысл. Ничего не понимая в физике, можно понять, что мы ни в одном случае не обладаем данными о проблемах, к которым пытаемся свести природные феномены. Чтобы взяться за изучение любого предмета, мы абстрагируемся, с одной стороны, от всего, что происходит вовне, с другой стороны, от всего, что происходит на более мелком уровне, таким образом придумывая что-то вроде двойного закрытого сосуда, причем сами себе не верим, ибо знаем, что само понятие о детерминизме подразумевает невозможность выделить что-либо в природе. А именно, мы очень хорошо знаем, что сам факт наблюдения и измерения видоизменяет наблюдаемый и измеряемый объект. Мы соглашаемся считать эти видоизменения такими, которыми "возможно пренебречь" (слово, которое, теоретически, не имеет никакого значения), при том, что уже заранее знали, что по мере нисхождения на уровень величин, мы приближаемся к той границе, за которой уже нельзя "пренебрегать". Это уже очень хорошо — когда можно математически измерить несовершенство наших мер. Можно представить до уровня, еще намного, намного меньшего, чем атомарный, иных корпускул, *ни* положения, *ни* скорости которых мы не узнаем, без сомнения, никогда; и внутри их, и так далее. Детерминизм в науке был всегда всего лишь направляющей гипотезой и останется ею всегда. Де Бройль ввел вероятность в описание феноменов, но это ни в коей мере не значит, что нам следует в описании феноменов заменить необходимость — вероятностью. Напротив, мы можем помыслить вероятность, только когда перед нами встает проблема, относительно которой мы полагаем, что ее решение строго детерминировано данными, но некоторые данные нам неизвестны. Я уже давно (ибо об этом говорят уже несколько лет) безуспешно пытаюсь выяснить, чем же могут быть революционны "отношения неопределенности", описанные де Бройлем, для нашей общей теории научного знания. Чтобы признать их таковыми, нужно совсем потерять понятие о том, чть есть наука.

Но есть вещь, которая шокирует меня еще больше, — это та самая "постоянная Планка", которая появляется во всех математических доказательствах, но никто не может перевести ее в термины физики. Если кто-нибудь достигнет этого, то, значит, именно он, а не де Бройль, выполнит синтез между гипотезами волнообразного движения и излучения.

У меня, как и у Вас, есть достаточно причин думать, что наука входит в период кризиса, который еще тяжелее кризиса V века[1], и, как тогда, ему сопутствует кризис морали, преклонение перед ценностями чисто политическими — то есть перед силой. Новый феномен тоталитарного государства бесконечно усиливает опасность этого кризиса, грозя превратить его в агонию. Потому что, как мне кажется, из людей одни — мыслят и любят (сколько раз в Италии чтение надписей на плакатах живо приводило мне на память прекрасные слова, которые у Софокла произносит Антигона: "Я рождена разделить любовь, а не ненависть"), а другие — преклоняют свою мысль и свои сердца перед силой, облеченной в идеологические одежды.

Если наша эпоха есть эпоха кризиса, сравнимого с кризисом V века, из этого с очевидностью следует, что необходимо предпринять усилие мысли, сравнимое с тем, которое сделал когда-то Евдокс[2].

Относительно тоталитарного государства: я сочла Э<лль> одержимым идеей нации, не потому что он много говорил об Италии, о дуче и т. п. (я сужу не по этим, или по другим внешним признакам), а потому что видела печать этой одержимости, лежащую на мыслях, которыми он со мною поделился, на его суждениях, на всей манере его поведения. А также потому, что не обнаружила в нем никаких других увлечений, которые бы его занимали. Если я до какой-то степени ошиблась, то очень за него рада. Все, что мне хочется ему пожелать — потому что его личность меня заинтересовала, — это чтобы, в силу дружбы между вами, Ваш энтузиазм по отношению к Платону передался и ему.

Вы ему показывали "Нуво кайе"[3]? Я, кажется, говорила Вам о Детёфе. Администратор больших электротехнических

1. Имеется в виду крушение Западной Римской империи.

2. Как математик Евдокс является основателем общей теории отношений, лежащей в основе теоретической геометрии, которая дошла в изложении его ученика Евклида и обычно называется "евклидовой"; внес также большой вклад в античную астрономию. Не только для своего времени, но и вообще для мирового научного развития вклад Евдокса и его учеников является поистине революционным. Подобный же революционный — интеллектуальный и духовный — прорыв в современной науке мог бы, по мнению Симоны, спасти науку от кризиса и вырождения, а вместе с ней, и цивилизацию.

3. "Nouveaux cahiers" ("Новые тетради") — обозрение экономики и политики, выходившее в 1937–40 гг. Его идейной основой был поиск союза между предпринимателями — сторонниками социального патронажа — и рабочим синдикалистским движением. Симона Вейль активно сотрудничала в этом издании, основателем которого был Огюст Детёф.

компаний. Человек широкого, свободного ума и редкой доброты. Я его очень люблю. Это он позволил мне стать рабочей, устроив меня на один из своих заводов, откуда я перешла потом на другой. Мы там были просто несчастны. Его доброта не распространялась на его рабочих.

Как Вы правильно отметили, "Электра" Жироду[1] — не моя. Мне нравятся те же вещи, что и Вам. Центральная идея (повреждение совести) сильная и верная, но не разработана драматически, особенно во втором акте.

Эх, иметь бы мне энное количество жизней, чтобы посвятить одну из них театру!...А еще во мне живет замысел скульптуры — оттого что я насмотрелась на них в Италии. Это статуя Справедливости. Стоит обнаженная женщина, колени ее подгибаются от усталости (в иные моменты я вижу ее на коленях, с цепями на ногах, но это не так выразительно в скульптуре), руки скованы за спиной, лицо, несмотря ни на что, совершенно светлое; она смотрит на весы (они изображены перед ней на горельефе); а весы держат одинаковые грузы на плечах разной длины — и склоняются на одну сторону...

Раз уж Вы готовы подружиться с моим другом Монтенем (еще один космополит!), тогда извольте полюбить и того, кто вдохновил его лучшие строки и к которому я привязана еще с большей нежностью, чем к нему, — Ла Боэси[2], этого молодого стоика, как будто сошедшего со страниц Плутарха.

"Илиада" в новом издании Бюде[3] — далека, очень далека от уровня "Одиссеи", хотя и сильно превосходит прежние переводы. Если будете ее покупать, купúте, на всякий случай, и текст, и перевод. Кто знает?..[4] Он совершенно не ритмизован и, хотя довольно точен, но не всегда в достаточной мере передает изумительную мощь гомеровского языка и его про-

1. Речь идет о драме "Электра" французского писателя и драматурга Жана Жироду (1882—1944). Поставлена впервые в 1937 г. Вскоре после письма Ж. Постернаку Симона Вейль написала отзыв на эту пьесу и самому автору.
2. Этьен де ла Боэси (1530—1563) — французский писатель и философ, близкий друг М. Монтеня, был женат на вдове его брата. В 18-летнем возрасте, будучи студентом Орлеанского университета, написал свое наиболее известное сочинение "Рассуждение о добровольном рабстве". Оставил после себя также любовные сонеты. Был депутатом Бордоского парламента. Умер от чумы.
3. Имеется в виду перевод "Илиады", выполненный Полем Мазоном и др. (изд. 1937—1938). Симона сравнивает его с "Одиссеей" в переводе Виктора Берара (изд. 1924). В. Берар (1864—1931), получивший прекрасное историко-филологическое образование, был, однако, не филологом-профессионалом, а дипломатом и политиком. Это не помешало ему внести значительный вклад во французское антиковедение.
4. Симона не расстается с надеждой, что ее друг, при всей интенсивности своих научных занятий, когда-нибудь все-таки отважится на изучение древнегреческого, чтобы читать в подлиннике Платона и Гомера.

стоту. Вы, вероятно, говорили мне именно об этом переводе? Откуда там возьмется другой?

Вопреки Вашим предположениям, это лето во Франции — спокойное, как никогда. Политика совершенно никого не интересует — просто потому что все устали: ею слишком много занимались в течение года. Я не вижу в этом ничего плохого; но — только бы боги не воспользовались случаем начать представление большой международной драмы!.. Ну, а Вы... Вы — во всяком случае сейчас — не годитесь в пушечное мясо. Тем лучше.

Χαίρε[1]

Симона Вейль.

[К письму приложены переводы больших фрагментов из "Государства" Платона, выполненные Симоной Вейль. — *П. Е.*]

Симона Вейль — *Антонио Атаресу*

Выполняя условия капитуляции перед Германским рейхом, правительство Виши в 1940 году задержало на своей территории большое количество граждан тех стран, которые находились в состоянии войны с Германией, а также всех иностранцев, которые принадлежали к разряду "опасных" с точки зрения нацизма. К таким относились, в частности, испанские республиканцы, покинувшие родину после поражения в гражданской войне; в конце 30-х годов многие из них нашли убежище именно во Франции. Теперь их, как и прочих интернированных, помещали в концентрационные лагеря.

Во время пребывания в Марселе Симона Вейль интересовалась судьбой интернированных, посылала в лагеря посылки и переводы, делясь с заключенными всем, что имела, независимо от личных или политических симпатий. Сохранилась ее переписка с одним из таких людей — молодым испанцем по имени Антонио Атарес, заключенным в лагере Верне́ близ испанской границы[2]. У этого совершенно одинокого[3], неимущего и малооб-

1. Радуйся! (*древнегр.*) — обычное в древней Греции приветствие.
2. После прихода немцев порядки в Верне́ были ужесточены по образцу других немецких концлагерей для военнопленных. В числе заключенных там были многие русские эмигранты, подозревавшиеся в симпатиях к Движению сопротивления и Советскому Союзу: среди них — известные впоследствии церковные деятели о. Василий Зеньковский и о. Сергий Шевич.
3. Отец, братья и некоторые другие близкие Антонио были убиты в ходе боев под Уэской в 1936 г.

разованного парня был поэтический склад души, он сочинял стихи, что отчасти облегчало ему тяжесть несвободы. Письма Симоны к Антонио, нося на себе, возможно, некоторый отпечаток романтически идеального отношения к людям, являют чистое благородство ее души. Навряд ли арагонский крестьянин в самом деле видел большую пользу для себя в изучении философии, скорее, для него это был предлог общаться с умной и милосердной девушкой. Впрочем, общение осталось заочным — молодые люди так никогда и не увидели друг друга.

В мае 1941 года Антонио этапировали в Алжир, в концлагерь Джельфа. Переписка между ним и Симоной продолжалась до ее отъезда в Америку. Мы не знаем доподлинно, по какой причине она прервалась. В разгар "подводной войны" в Атлантике письма из Соединенных Штатов до Алжира могли не доходить. Может быть, их не пропускала военная цензура Алжира.

26 мая 1943 года Антонио Атарес в составе группы из десяти заключенных-испанцев был вывезен из Джельфы в порт Оран[1]. Какая сила смогла вырвать его из лагеря? Или в самом деле увенчались успехом хлопоты Симоны в дипломатических миссиях — как она и обещала своему другу в одном из писем? Факт остается фактом: Антонио был отпущен на свободу. Через год он какими-то судьбами перебрался на американский континент. Только здесь и узнал он о смерти той, с чьим именем в течение трех лет неволи были связаны его самые светлые мечты и надежды.

Письмо 1

Из Марселя – в лагерь Джельфа
21 июля 1941 года

Дорогой друг,

твое письмо благополучно дошло до меня. Я искала словарь и французскую грамматику на испанском; в библиотеках их нет, но надеюсь, мне все-таки удастся их раздобыть. Книг по философии или чего-то из хорошей литературы на испанском я, к сожалению, не нашла. Напиши, хорошо ли ты читаешь по-французски, чтобы я могла послать тебе это на французском.

1. Копию этого документа мне неожиданно посчастливилось найти на интернет-сайте города Джельфы: www.Djelfa.org.

Я послала тебе перевод; буду еще посылать время от времени, смотря по твоим нуждам и по моим возможностям. Думаю, что у тебя не должно быть ни сомнений, ни беспокойства на сей счет. Когда у меня бывает сколько-нибудь денег, я ни в коем случае не считаю эти деньги своей собственностью. Они находятся в моих руках, только и всего. Посылая, я не ощущаю, будто отдаю их. Они просто переходят из моих рук в руки кого-то другого, кому они нужнее, и, кажется, я тут совершенно ни при чем. Еще лучше, если бы деньги были как вода и текли сами собой туда, где их не хватает. Итак, когда придет перевод, не думай о том, что ты получил их от меня, но — что немного денег просто попали в твои руки. В наших отношениях это ничего не меняет. То, что мы — ты и я — действительно можем дать друг другу или получить друг от друга, — это наши мысли и чувства в форме писем. Этот обмен происходит между нами, потому что о многих вещах мы думаем и чувствуем одинаково. А касательно остального, всегда говори мне, в чем нуждаешься, и я сделаю все, что будет в моих силах. Вне теперешних обстоятельств, давай никогда не будем вспоминать об этой помощи, ибо она никак не входит в сферу наших личных отношений. Надеюсь, ты меня понимаешь и думаешь об этом так же, как я.

Мне очень нравится стихотворение, которое ты прислал, и близки выраженные в нем чувства.

Благодарю тебя за рассказ о твоей повседневной жизни. Ты все еще тоскуешь по пению птиц в Пиренеях? А я, право, не знаю, не прекраснее ли тишина, чем любые песни. На просторе, когда садится или встает солнце, самая полная гармония проявляется только в тишине. Даже когда люди говорят и производят вокруг себя много шума, можно слушать тишину, которая царит надо всем и простирается столь же далеко, как само небо. Я счастлива, что ты можешь пить чистую воду; когда есть чистая вода — это замечательно[1]. А ночи в Африке, вероятно, очень светлы и полны звезд. Ты любишь смотреть на них? Ты их знаешь? Как говорил Платон, зрение — это дар особенно драгоценный, потому что с его помощью мы можем познавать звезды, планеты, Луну, Солнце[2]. А я, к моему стыду, почти не знаю созвездий и их названий. Не-

1. В данном случае Антонио скрыл правду от своей подруги. Использование воды из загрязненного источника летом 1941 года вызвало в лагере эпидемию тифа, от которой 15 заключенных умерли. Сведения об этом см. на сайте: www.Djelfa.org.

2. В диалоге "Тимей": "По моему разумению, зрение — это источник величайшей для нас пользы; вот и в нынешнем нашем рассуждении мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни Солнца, ни неба.

сколько месяцев назад я достала карту звездного неба, чтобы положить конец своему невежеству по этой части. Но так ее и не изучила, ибо, наконец, пришла к мысли, что рассматривать небо можно и без книг, и что, наблюдая за ним часто и подолгу, можно без посторонней помощи научиться различать скопления звезд и движение неба, подобно тем пастухам, которые изобрели астрономию тысячи лет назад. Для меня нет большей радости, чем ясной ночью смотреть в небо, концентрируя внимание так, что все другие мысли исчезают, и кажется, что звезды сами входят в душу.

Итак, у тебя, во всяком случае, есть солнце и звезды. Я очень хотела бы, чтобы у тебя было еще много нужных вещей, которых у тебя нет; но что поделать? Я немного знакома — совсем немного, к сожалению, — с человеком, который занимает важный пост в Алжире. Сообщи мне, если ты считаешь, что это может оказаться для тебя полезно.

Я уже точно знаю, что скоро уеду из Марселя работать в деревню. Если так и будет, то, возможно, из-за усталости не смогу писать тебе помногу. Но тем больше буду о тебе думать.

С дружеским приветом.

Симона Вейль.

Письмо 2

Из Марселя – в лагерь Джельфа
<Весна 1942 г.>

Дорогой друг,

вот и весна. Надеюсь, что там, где ты сейчас, климат в эту пору еще не тяжел. Сейчас самая пора полевых работ; может быть, как-нибудь решится и твое дело. Если нет способа вернуть тебя во Францию, стоит ли предпринимать какие-то действия, чтобы попытаться вывезти тебя из Европы?[1] Напиши мне об этом. Когда ты говоришь мне об источнике душевных

Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния — зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией, и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от богов. Я утверждаю, что именно в этом высшая польза очей" (Перевод С. Аверинцева).

1. Симона надеялась помочь Антонио эмигрировать в Мексику, о чем речь пойдет в следующем письме.

сил, который у тебя есть, я хорошо понимаю, что ты побеждаешь скорбь только радостью. И это лучше всего. Обретая эту радость, ты встаешь рядом с истинными мудрецами, которые жили до христианской эры, и истинными святыми, которые жили после. Они умели возносить свои души на высоту, не доступную для большинства людей, — туда, где скорбь есть радость и где радость есть скорбь. На эту высоту взошли также истинные поэты. Подлинная поэзия происходит оттуда. Ты — брат им всем. И все же мне хочется, чтобы ты познал хоть немного чистой радости, той радости, которая была бы именно от радости. Думаю, тебе достаточно для этого увидеть себя на свободе, посреди красивой местности. Такая малость! И неужели кому-то нужно, чтобы ее так трудно было получить?

Николай[1], с женой и ребенком, в настоящее время находится в одной деревне в департаменте Вар. Думаю, как они счастливы оттого, что снова вместе. Им пришлось долго страдать.

В наше время много страдания, но очень мало людей, которые поистине достойно его переносят. Перенести его достойно и через страдание обрести радость, без сомнения, столь же ценно, как создать прекрасную поэму или философское сочинение, сделать научное открытие, или совершить еще что-то подобное.

Твоя сестра и друг

Симона Вейль.

P. S. Вот перевод нескольких строк из Эсхила. Эти слова произнесены Прометеем, богом, который, как верили древние греки, спас людей от гибели и украл для них огонь, научил их языку, исчислению, астрономии, ремеслам и искусствам. Он был жестоко наказан — прикован к скале. Трагедия Эсхила начинается с того, что его приковывают: он долго молчит, а потом, когда его мучители удаляются, начинает говорить:

1. Николай Иванович Лазаревич (1895—1975) — анархист русского происхождения, старший товарищ Симоны Вейль по политической борьбе 30-х гг. В 1940 году, во время заключения в лагере Верне, подружился с Антонио Атаресом и, освободившись, рассказал о нем Симоне. Это и было началом заочного знакомства между молодыми людьми. Жена Лазаревича и его десятилетний сын в это время содержались в лагере для интернированных в другой части Франции. Семья смогла воссоединиться после больших треволнений только через два года, укрывшись в альпийской деревушке, где Лазаревич до конца войны трудился в качестве сельскохозяйственного рабочего. Впоследствии, вернувшись в Париж, он до старости активно участвовал в политической жизни Франции, вел научную работу по русской истории и филологии. Был связан дружбой с Альбером Камю.

О ты, Эфир божественный, и вы,
О ветры быстрокрылые, и реки.
И смех морских неисчислимых волн,
Земля-всематерь, круг всезрящий солнца, –
Вас всех в свидетели зову: смотрите,
Что ныне, бог, терплю я от богов!
Поглядите, в каких
Суждено мне терзаниях жизнь проводить
Мириады годов!
Позорные узы обрел для меня
Новоявленный царь блаженных богов[1].

Письмо 3

Из Орана (Алжир) – в лагерь Джельфа
18 мая 1942 г.

Дорогой друг,

боюсь, то, что я сегодня вынуждена написать, причинит тебе сильную боль. Сердце разрывается от одной мысли об этом. Я рассказывала тебе в последнем письме о действиях, предпринятых моими родителями, чтобы уехать в Америку, и говорила, что не могу отказаться уехать с ними. Но я не думала, что у них что-то выйдет. Им это удалось; и очень скоро, по чистой случайности, нашлось место на пароходе.

Я только что проделала то самое путешествие, которое ты нашел столь прекрасным[2]. В то время как море, окружая со всех сторон, наполняло собой мою душу, я думала о тебе.

Меня очень огорчает, что письма из Америки идут намного дольше, чем из Марселя. Это затруднит нашу переписку. Отправлять письма авиапочтой слишком дорого, и я не смогу делать это часто. А остальные будут идти долго.

Все равно мы будем продолжать писать друг другу. И, как бы там ни было, мысленно останемся вместе. Я буду думать о тебе каждый день. А ты каждый день говори: "Сегодня моя

1. Эсхил. Прометей прикованный. Ст. 88–97. Приводим этот фрагмент в переводе В. Нилендера, который по художественным достоинствам уступает выразительному переводу А. Пиотровского, но в данном месте имеет больше буквального сходства с текстом Симоны.
2. Речь идет о плавании через Средиземное море, по которому Антонио прибыл в Алжир вместе с другими заключенными, годом раньше, чем Симона Вейль. О впечатлениях морского пути он рассказывал ей в одном из своих писем.

подруга подумала обо мне, желая, чтобы радость моя исполнилась[1]".

Написал ли ты мексиканскому консулу? Если еще нет, сделай это скорее. Я попросила сказать о тебе одному человеку, который занимает в консульстве важную должность.

Если это будет иметь успех, мы, возможно, найдем друг друга на американском континенте.

Я поверяю звездам, луне, солнцу, небесной синеве, ветру, птицам, свету, бесконечности пространства, поверяю им всем, кто всегда остаются с тобой, я поверяю им мои мысли, — для тебя, для того, чтобы каждый день приносил тебе ту радость, что я тебе желаю, — радость, которой ты достоин.

Прости меня за то, что не могу ничего больше сделать для тебя, за то, что уезжаю сейчас так далеко.

Если сможешь, напиши мне сразу же по адресу:

мадемуазель Симоне Вейль, проживающей у госпожи Берше, 148, улица Блеза Паскаля, Касабланка.

Уверяю тебя в моей преданной дружбе.

Симона Вейль.

Симона Вейль – *Жоржу* Бернаносу

Французский писатель Жорж Бернанос (1888—1948), стяжавший мировую известность своим "Дневником сельского священника"[2], в 1940 году вписал в альбом бразильской девочке, попросившей у него автограф, следующее:

Маленькие девочки протягивают свой альбом "взрослым", как нищие протягивают руку. Большая часть этих "взрослых", к которым вы протянули руку — кардиналы, богословы, историки, эссеисты, писатели, — дают вам только свою подпись, которая равна мелкой монетке. Не забывайте

1. Аллюзия на Евангелие от Иоанна (Ин. 3:29; 16:24; 17:13). Испанские революционеры, как и русские, с детства воспитанные в традиционной религиозности, при этом имели воинственно-антиклерикальные и богоборческие взгляды. Симона нигде открыто не призывает своего друга вернуться ко Христу. Но многие ее строки, вероятно, вызывали у Антонио светлые воспоминания детской веры, воскрешая в памяти слова Евангелия, молитвы св. Франциска, стихи св. Хуана де ла Круса. А страдающий Прометей из Эсхиловой трагедии не мог не напомнить ему измученное лицо Христа со старинных испанских распятий...

2. Вероятно, самая известная из книг Ж. Бернаноса, написанная в 1935–1936 гг. За нее писателю была присуждена Большая премия Французской академии.

никогда того, что этот безобразный мир держится еще только благодаря сладостному миру поэтов и детей. Люди с ним постоянно борются, но он все вновь возникает. Будьте верны поэтам и детству. Не становитесь взрослой — взрослые в заговоре против детей; прочитайте Евангелие, и вы убедитесь в этом. Господь Бог сказал кардиналам, богословам, эссеистам, историкам, писателям и всем вообще: "Будьте как дети". А кардиналы, богословы, историки, эссеисты и писатели все повторяют детям: "Будьте, как мы!" Когда-нибудь после вы перечитаете эти мои строки — подумайте тогда и помолитесь о старом писателе, который все больше думает о неисцелимом легкомыслии серьезных людей. Все прекрасное, что есть в истории мира, пришло незримо для всех, в таинственной согласованности большого терпения человеческого и милосердия Божьего. Надо преодолевать жизнь. Но единственное, чем можно ее преодолеть, — это любить ее, а любить ее только один способ: до конца раздавать ее[1].

Нам неизвестен текст ответа Бернаноса на письмо Симоны Вейль, отправленное ему в последних числах мая 1938 года. Может быть, ответ и вовсе не был написан, ведь Симона сама предупреждала, что письмо может не застать ее во Франции, да и не просила отвечать. Но слова, которые Бернанос написал два года спустя маленькой бразильянке, очень подошли бы и для никогда не виденной им еврейской девушки. И сама Симона с радостью повторила бы все слова этого пассажа, как свои собственные. Более того, она оправдала их всей жизнью, всем, что сама думала и писала о сущности учения Христа.

Вот так и сошлись не только жизненные линии, но и души обоих: сына крестьянки из провинции Артуа, воинствующего роялиста, почитателя Людовика Святого и Жанны д'Арк, — и пропахшей дешевым табаком анархистки в мешковатых брюках, с чертами лица, безошибочно выдающими ее происхождение. Девицы, которая по своему внешнему облику могла показаться живым "призраком коммунизма", грозящим "осквернить и растоптать" все то, что оставалось во Франции дорогим для консервативного писателя-католика, смолоду бредившего мировым жидомасонским заговором.

Могут, конечно, сказать, что Симона Вейль по своим взглядам была слишком нетипичная еврейка. Но отношение, которое проявил Бернанос к ее письму, еще более нетипично для французского "черносотенца" (такое название, думаю, писатель не счел бы для себя оскорбительным). О том, как воспринял он это неожиданное письмо, я слышал от философа Франсуа Федье. По его словам, после смерти Бернаноса в 1948 году письмо Симоны было найдено в нагрудном кармане его пиджака: писатель годами не

1. Цитируется по небольшому эссе архиепископа Иоанна (Шаховского) "Достоевский".

расставался с этими листочками, нося их при себе как что-то чрезвычайно дорогое.

В 1934 году Жорж Бернанос покинул бурливший демонстрациями и политическими дебатами "красный" Париж (в те дни на всех парусах к власти шли левые партии Народного фронта) и вместе с семьей поселился на острове Майорка, принадлежавшем Испании. Разочарованный политической борьбой, писатель надеялся найти здесь покой и отраду, возможность плодотворно работать над новыми произведениями. Уже через год был закончен и отдан в печать "Дневник сельского священника" — книга, которая принесла Бернаносу любовь читателей из многих стран. Здесь, на Майорке, его застигло начало гражданской войны.

Командование гарнизона Майорки активно поддержало генерала Франко. В течение всей трехлетней войны франкисты успешно использовали остров как базу для своих боевых кораблей и бомбардировщиков. Бернанос поначалу с энтузиазмом и надеждой воспринял выступление консервативных военных и аристократов. Лозунги защиты католической веры, родины и традиций, которые выдвинул Франко, напоминали пафос полемических статей самого Бернаноса. За торжественными словами набожного каудильо тут же последовали дела. Власть "белых" на острове была утверждена путем жестокого истребления всех несогласных. То, как франкисты стали претворять свои лозунги в жизнь, повергло писателя в ужас. Первые правдивые свидетельства о режиме террора на Балеарских островах Бернанос отправил в католический еженедельник "Сет" уже летом 1936 года. До января 37-го было напечатано восемь очерков, составивших основу будущей книги "Большие кладбища под луной".

Испанские очерки Жоржа Бернаноса молниеносно стали известны в Европе и Америке. Свидетельства писателя звучали тем более убедительно, что они исходили от человека правых, антикоммунистических взглядов. Изданные отдельной книгой во Франции в мае 1938 года, эти очерки в том же месяце попали в руки Симоны Вейль. Летом 36-го, когда происходили описанные Бернаносом жуткие и отвратительные сцены, Симона находилась на противоположной стороне того же фронта, в составе анархистского войска — так называемой колонны Дуррути. Это было довольно мощное формирование, которое насчитывало до 4000 бойцов. В колонне Дуррути Симона была недолго, видела немного. В боях не участвовала, да и толку от нее, полуслепой и неловкой, там не могло быть. Из строя вывела ее не боевая рана, а прозаический (хотя и весьма тяжелый) ожог на кухне. Почти не видя без очков, она шагнула в только что снятый с костра котел с кипящим маслом. Это несчастное происшествие избавило Симону от того, чтобы быть свидетельницей и пассивной соучастницей злодеяний, во всяком случае не меньших, чем творили франкисты. Она поняла это очень скоро.

Симона пишет Бернаносу не как человеку "с другой стороны": напротив, она уверена, что в испанских событиях оба они стоят по одну сторону.

На пороге мировой войны, в атмосфере культа силы, при фантастической беспринципности политиков, старый писатель-консерватор и молодая левая активистка, поверх всех политических барьеров и баррикад, сходятся на общей "политической платформе" — той единственной, которая, кажется, и тогда, и в наши дни, и в будущем способна спасти Европу от бесчестия и вырождения. Оба — на стороне Того, Кого Симона ни разу в письме не называет по имени, но Кто в нем незримо присутствует: Бога, Который есть Любовь. И при этом, как Полнота всего, Он объемлет и всю мудрость мира, и всю красоту, и все, что есть светлого и благородного: сострадание, уважение к человеку, достоинство и честь, все подлинные сокровища мысли, вдохновения, труда и культуры.

Симона Вейль – *Жоржу* Бернаносу

Месье,

хотя и несколько смешно — писать *писателю*, который постоянно, по самой природе своего ремесла, загружен *письменной* работой, но я не могу удержаться — после того как прочла "Большие кладбища под луной". Это не первая Ваша книга, которая меня тронула; из тех, что я читала, "Дневник сельского священника" — самая лучшая и, вероятно, великая книга. Но то, что мне могли нравиться другие Ваши книги, еще не было поводом утомлять Вас письмами. Что же касается последней, здесь другой случай; у меня есть опыт, который соответствует Вашему — хотя и более короткий, менее глубокий, — опыт, испытанный и пережитый, как может показаться (но только показаться!), совсем в другом состоянии духа.

Я не католичка, хотя (то, что я сейчас скажу, несомненно, любому католику покажется самонадеянным в устах не-католика, но я не могу выразиться иначе) ничто католическое, ничто христианское никогда не было для меня чуждо. Я иногда говорю сама себе, что, как только на дверях церквей написали бы, что вход запрещен тем, кто получает доходы выше некой определенной суммы, я в тот же момент обратилась бы в католичество. С самого детства мои симпатии были устремлены к политическим группам, которые выступают в защиту презираемых слоев общества, пока я не осознала, что эти группы способны рассеять любые симпа-

тии. Последней такой группой, которая внушила мне некоторое доверие, была испанская НКТ[1]. Еще до гражданской войны у меня был опыт небольшого путешествия по Испании[2] – недолгого, но достаточного, чтобы почувствовать любовь, которую трудно не испытать по отношению к этому народу. Я видела в анархистском движении естественное выражение его достоинств и недостатков, его более-менее законных чаяний. НКТ и ФАИ[3] были странной смесью, куда допускались все кто угодно и где вследствие этого рядом с аморализмом, цинизмом, фанатизмом, жестокостью уживались любовь, братство и, особенно, дух чести – что столь прекрасно бывает наблюдать у людей униженных. Мне казалось, что число людей, которые пришли сюда, воодушевленные идеалом, преобладало над теми, кем двигал вкус к насилию и беспорядку. В июле 1936-го я была в Париже. Не люблю войну; но что во время войны более всего внушает мне ужас – это положение тех, кто остается в стороне. Когда я поняла, что не могу, как бы сама того ни хотела, морально отстраниться от этой войны – то есть не могу не желать, ежедневно и ежечасно, победы одних и поражения других, – я сказала себе, что оставаться в Париже для меня равнозначно дезертирству. Я села на поезд до Барселоны с намерением участвовать в войне. Это было в начале августа 1936 года.

Случайная травма сократила мое пребывание в Испании. Несколько дней я была в Барселоне; затем в арагонской деревне на берегу Эбро, примерно в пятнадцати километрах от Сарагосы (в том самом месте, где недавно перешли Эбро части Ягуэ[4]); затем во дворце Ситжеса[5], где был устроен госпиталь; потом снова в Барселоне – всего чуть меньше двух месяцев. Покинула я Испанию против воли, с намерением вернуться; но впоследствии, уже по собст-

1. Национальная конфедерация труда – массовая анархо-синдикалистская профсоюзная организация в Испании, основанная в 1910 г. Существует поныне; за последние 20 лет пережила несколько расколов. В 30-е годы НКТ, объединяя в своих рядах до двух млн. членов и имея собственные крупные вооруженные формирования, была одной из главных действующих сил Испанской республики, пыталась противостоять влиянию сталинистов из КПИ. В практике революционной борьбы анархо-синдикалисты применяли террор в якобинском духе, устраивали акции тотального "обобществления" и кровавые антирелигиозные погромы.
2. Симона посетила Испанию и затем Португалию в августе–сентябре 1935 г.
3. Ассоциированным членом НКТ и, фактически, ее идейным ядром является Федерация анархистов Иберии, основанная в 1927 г.
4. Хуан Ягуэ Бланко (1892–1952) – лучший полководец армии Франко, генерал-лейтенант (1943), в ходе гражданской войны отличился хладнокровием и жестокостью.
5. Ситжес – город на средиземноморском побережье в 40 км от Барселоны.

венной воле, ничего не сделала для возвращения. Я не чувствовала больше никакой внутренней необходимости участвовать в войне, которая теперь уже была не войной голодных крестьян против землевладельцев и духовенства, бывшего заодно с землевладельцами, а войной между Россией, Германией и Италией.

Я узнаю тот запах гражданской войны, крови и террора, которым пропахла Ваша книга; я сама им дышала. Я не видела и не слышала, должна Вам сказать, чтобы кто-то доходил до таких низостей, о которых Вы повествуете в некоторых рассказах: не видела этих убийств старых крестьян, этих "баллилас"[1], преследующих стариков ударами дубинок. Однако мне было достаточно и того, что слышала сама. Мне чуть не пришлось присутствовать при казни священника; за несколько минут до расстрела я спрашивала себя: "Зачем ты пришла? Просто посмотреть? Или же чтобы тебя застрелили за попытку вмешаться?" До сих пор не знаю, как бы я поступила, если бы счастливый случай не остановил казнь...

Сколько историй рвется из-под моего пера!.. Но рассказывать их было бы слишком долго; да и зачем? Хватит и одной. Я была в Ситжесе, когда вернулись из экспедиции на Майорку разгромленные ополченцы. Слышно было, что они понесли большие потери. Что из сорока молодых парней, отбывших из Ситжеса, девять погибли. Определенно известно только то, что вернулся тридцать один. Буквально в следующую ночь было совершено девять акций возмездия и убито девять фашистов — или тех, кого так называли, — в этом маленьком городке, где в течение июля не было никаких инцидентов. В числе этих девяти — тридцатилетний пекарь, чье преступление, как мне сказали, заключалось в том, что он числился в местной "сомaтен"[2]; старик-отец, у которого он был единственным сыном и единственной опорой, сошел с ума. Вот другой случай: в Арагоне небольшой интернациональный отряд из двадцати двух добровольцев (со всего света) после легкой стычки взял в плен пятнадцатилетнего мальчишку, который сражался как фалангист. Тотчас после пленения, весь дрожа (он видел, как расстреливали его товарищей-земляков), он сказал, что его записали насильно. Обыскали. Нашли медальон с Пресвятой Девой и карточку фа-

1. Баллилас — фашистская подростковая организация.
2. Сомaтен — существовавшие в Каталонии со времен Средневековья выборные отряды горожан или крестьян, чьей функцией были поддержание порядка и, в случае необходимости, местная самооборона. Сохранялись при франкизме, были распущены в 1978 г.

лангиста. Послали его к Дуррути[1], командиру колонны; тот целый час расписывал ему анархистские идеалы, а потом предложил на выбор: или умереть, или немедленно присоединиться к тем, кто взял его в плен и воевать против вчерашних товарищей. Дуррути дал мальчишке 24 часа на размышление. Когда время истекло, мальчишка сказал "нет" и был расстрелян. Между тем, Дуррути в некоторых отношениях был человеком изумительным. Смерть того юного героя всегда будет лежать грузом на моей совести, хотя я узнала о ней только задним числом[2]. А вот еще. В селении, которое то красные, то белые брали, потом теряли, снова брали, снова теряли – не знаю сколько раз, красные, когда овладели им окончательно, нашли в подвалах горсточку ошалелых, напуганных и голодных людей, среди которых было трое молодых мужчин. И рассудили так: "Если эти парни, вместо того чтобы уйти с нами при нашем последнем отступлении, остались ждать фашистов, значит, они фашисты". Итак, их немедленно расстреляли, затем остальных – накормили, считая себя при этом удивительно гуманными. Ну и последняя история, уже из тыла. Однажды два анархиста рассказывали мне, как они вместе с товарищами схватили двух священников. Одного убили в присутствии другого выстрелом из револьвера, а другому сказали, что он может идти. И когда он сделал пять шагов, застрелили. Тот, кто это рассказал, был очень удивлен, что мне не смешно.

В Барселоне, в ходе карательных операций, в среднем убивали по пятьдесят человек за ночь. Относительно количества жителей это гораздо меньше, чем на Майорке[3], потому что Барселона – город почти с миллионным населением. Но, с другой стороны, здесь в течение трех дней продолжались кровопролитные уличные бои. Хотя в таких делах циф-

1. Буэнавентура Дуррути-и-Доминго (1896–1936) – ведущий деятель испанского анархизма 1920–1930-х гг. Слесарь-железнодорожник. В молодости – участник и организатор террористических акций. В 20-е годы, будучи эмигрантом во Франции, тесно общался с Нестором Махно. Во время гражданской войны приобрел популярность своей важной ролью в подавлении франкистского мятежа в Барселоне. Организовал настоящую анархистскую армию, которая действовала независимо от центрального правительства. Проводил политику антикатолического террора, уничтожая церкви и истребляя духовенство. Смертельно ранен при покушении, предположительно, организованном советскими спецслужбами.

2. Товарищи рассказали Симоне этот случай, навестив ее в госпитале после ожога.

3. Симона сравнивает "красный террор" после подавления франкистского мятежа в Барселоне 1936 г. с "белым террором" на Майорке, о котором рассказал Ж. Бернанос в своей книге.

ры, может быть, не самое главное. Главное — само отношение к смерти. Ни среди испанцев, ни даже среди французов, которые приезжали то ли на войну, то ли на прогулку (последние, чаще всего — из малохольных и безобидных интеллигентов), я ни разу не видела, чтобы хоть кто-нибудь, хотя бы наедине, выразил осуждение, отвращение или, по крайней мере, неодобрение по поводу бесполезно проливаемой крови. Вы говорите о страхе. Да, страх был важной составной частью этих убийств; но там, где я была, я не видела, чтобы он занимал то место, какое Вы ему придаете. Мужчины, очевидно, смелые — я говорю о тех, чью смелость могу засвидетельствовать сама, — за столом, в веселой компании, с прекрасной, чистой улыбкой на устах рассказывали, сколько они убили попов или "фашистов" (определение весьма широкое). У меня было такое чувство — лично у меня, — что, как только светские или духовные авторитеты отделяют некую категорию лиц от числа тех, чья жизнь имеет ценность, тут же убийство становится для человека самым естественным делом[1]. Когда он знает, что может убить и при этом его не накажут и не осудят, он убивает — или, во всяком случае, с одобрительной улыбкой смотрит на других, которые убивают. И если поначалу испытывают еще некоторое отвращение, молчат о нем, а вскоре страх показаться недостаточно мужественным совершенно подавляет это чувство. Людьми овладевает какой-то азарт, опьянение, перед которым может устоять лишь такая сила духа, которую я вынуждена признать исключительной, ибо ни разу ее не встречала. Зато я увидела здесь милых, тихих французов, которых до тех пор не презирала, — они не имели охоты убивать собственноручно, но купались в этой атмосфере, пропитанной кровью, с видом полного удовольствия. Вот за этих я уже никогда в жизни не дам и ломаного гроша.

В такой атмосфере очень быстро меркнут сами цели борьбы. Ибо сформулировать цель можно лишь на основе общественного блага, блага для людей — но жизнь человека оказывается не имеющей никакой ценности. В стране, где бедняки в громадном большинстве из крестьян, целью любой крайне левой[2] организации, казалось бы, должно быть улучшение

1. В оригинале звучит еще сильнее: "il n'est de plus naturel à l'homme que de tuer" ("для человека нет ничего более естественного, чем убивать").
2. Если у нас, по привычке советских времен, выражение "крайне левый" вызывает в сознании образ экстремиста с самодельной бомбой, бунтаря-маргинала, во французском языке оно не имеет пугающего оттенка. Напомним, что сами понятия "правый" и "левый" рождены именно во Франции, и восходят не к вооруженной или подпольной борьбе, а к законной парла-

жизни крестьянства; и эта война, может быть, в самую первую очередь, изначально была войной "за" и "против" передела земли. И вот эти несчастные — и прекрасные — арагонские крестьяне, которые даже в унижениях сохраняли столько достоинства, — они и для ополченцев были всего лишь объектом насмешек. Даже если не было хамства, оскорблений, жестокостей[1], — по крайней мере, я об этом не слышала, но знаю, что в колоннах анархистов грабеж и изнасилование карались смертью, — людей с оружием в руках от невооруженного населения отделяла пропасть, в точности такая пропасть, какая разделяет бедных и богатых. Это всегда чувствовалось в несколько униженном, покорном, боязливом поведении одних — и в развязности, беззастенчивости, высокомерии других.

Сражаются добровольно, жертвенно — и гибнут на войне, которая похожа на войну наемников, только с бóльшими жестокостями и с меньшим уважением к противнику.

Я могла бы бесконечно продолжать эти размышления, но пора остановиться. С тех пор как я побывала в Испании, из всего, что я слышу, из всей массы рассуждений об Испании, какие мне приходится читать, я ничего не повторю от себя, кроме того, что пишете Вы. Ибо я вижу, что, погрузившись в атмосферу испанской войны, Вы выстояли. Вы роялист, ученик Дрюмона[2], — что с того? Мне Вы несравненно ближе, чем мои товарищи по Арагонскому ополчению — товарищи, которых я, однако, люблю.

ментской практике, к распределению мест в Национальной ассамблее (так называемой Конституанте), на первом, еще не кровавом, этапе Французской революции (1789). Когда крайне левые действуют в рамках закона и общественного порядка, они воспринимаются как нормальная, естественная часть политического спектра. В современной французской политологии к крайне левым причисляются организации анархистского, троцкистского, маоистского, ленинского толка. Но Симона, в данном случае, выбирает именно этот термин, вероятно, для того, чтобы отличить "настоящих", "искренних" левых как от социалистов, вполне влившихся в буржуазный политический бомонд, так и от сталинистов, относительно которых не питает ни малейших иллюзий.

1. Впрочем, Симона только что сама привела примеры жестокостей именно против крестьян. Она, вероятно, имеет в виду, что анархисты все-таки не запятнали себя повальным, массовым террором и ограблением крестьянства, вроде того, что практиковали русские большевики. О большевистских благодеяниях крестьянству — о продразверстке, кровавом подавлении крестьянских восстаний, раскулачивании, депортациях и, наконец, об организованном голоде 1933 г. — она была неплохо информирована.

2. Эдуард Дрюмон (1844–1917) — французский политик и публицист крайнего правого направления, депутат парламента, редактор газеты "Ла либр пароль". Один из главных вдохновителей антисемитской кампании вокруг "дела Дрейфуса".

То, что Вы говорите о национализме, о войне, о французской внешней политике после войны[1], по большей части, близко моему сердцу. Мне было десять лет, когда был подписан Версальский договор. До тех пор я была патриоткой, горящей тем воодушевлением, на какое способны дети во время войны. Желание унизить побежденного врага, которое в то время (да и в последующие годы) лезло отовсюду в совершенно отвратительной манере, раз и навсегда излечило меня от этого наивного патриотизма. Унижения, которые причиняет кому-либо моя страна, для меня еще тяжелее, чем те, которым могла бы подвергнуться она сама.

Я боюсь, что утомила Вас таким длинным письмом. Мне остается только еще раз выразить Вам мое искреннее восхищение.

С. Вейль.

Мой адрес: мадемуазель Симоне Вейль,
3, ул. Огюста Конта, Париж (6-й район).

P. S. Я написала Вам свой адрес совершенно машинально. Потому что, во-первых, думаю, что у Вас есть дела поважнее, чем отвечать на такие письма. А во-вторых, я собираюсь провести месяц или два в Италии, где Ваше письмо меня может не догнать, даже если его пропустят.

1. Имеется в виду Первая мировая война.

Альфред Дёблин

Горы моря и гиганты

Фрагмент романа

Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой

В 1924 году выходит роман "Горы моря и гиганты". Его автору — берлинскому врачу-психиатру Альфреду Дёблину (1878—1957) — сорок шесть лет, он был военным врачом в годы Первой мировой войны, еще до войны много печатался в экспрессионистском журнале "Штурм", он уже отец четырех сыновей и автор двух экспрессионистских романов: "Три прыжка Ван Луня" (1915) и "Валленштейн" (1920), давно признанного одним из лучших исторических романов немецкой литературы. Сравнительно скоро последуют поэтический эпос "Манас" (1926) и тот роман, что сразу принесет Дёблину мировую известность, — "Берлин Александерплац" (1929; шестисерийная экранизация Райнера Вернера Фассбиндера — 1980). А дальше будут эмиграция (с 1933 года), скитания по Франции и Америке, самоубийство сына Вольфганга, талантливого математика и участника Сопротивления во Франции в 1940 году (отец узнает об этом лишь в 1945-м), обращение в католичество (1941), новые романы: трилогия "Амазонка" (1937—1938), тетралогия "Ноябрь 1918. Немецкая революция" (1948—1950), "Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу" (1956). Еще — возвра-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2008
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2010

щение на родину (1945), учреждение Майнцкой академии науки и литературы (1949), разочарование в политической и культурной жизни Германии, вторичный отъезд во Францию (1953), где Дёблин и закончит жизнь.

Для Дёблина писательство — способ размышлений о самых важных моментах человеческого бытия и прежде всего поиск веры. Поиск этот был трудным, прошел через несколько этапов; тогда, в годы написания "Гор морей и гигантов", Дёблин, горожанин по своим привычкам и склонностям, вдруг задумался о взаимоотношениях человека и природы, об извращенности современной цивилизации.

Роман начинается с двустраничного посвящения. Дёблин посвящает свой роман силам природы (или — единой жизненной энергии). Я приведу здесь только первые и последние строки:

ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ, если хочу сказать о тебе. Я чувствую, что не вправе произнести о тебе ни слова, не вправе даже сосредоточенно о тебе подумать. Я назвал тебя "ты", как если бы ты, подобно мне, был некоей сущностью, животным растением камнем. Но уже в этом вижу свою беспомощность и... — что любое слово тщетно. Я не осмеливаюсь подступиться к вам близко — вы, чудовищные, чудовища, несшие меня по свету и доставившие туда, где я есть какой есть. Я только игральная карта, плывущая по воде. Тогда как вы, Тысячеименные Безымянные, — те, кто поднимает меня, приводит в движение, несет на себе, искрашивает...

Что вы хотите от меня. Что я такое в вас. Я должен высказать вам, что́ чувствую. Ибо не знаю, долго ли еще проживу.

Я не хочу уходить из этой жизни, не попытавшись выразить свои чувства: прежде часто сопрягавшиеся с ужасом, теперь — с тихим вслушиванием и догадками.

В шестисотстраничном романе Дёблина речь идет о нескольких столетиях человеческой истории, XXIII—XXVII веках: об этнических процессах и женском движении, об усилении технической элиты и массовом бегстве из городов, об экспедиции в Исландию с целью использования ее вулканов и о растапливании льдов Гренландии, об экологической катастрофе и ее преодолении... Мы публикуем только небольшой фрагмент из начала книги[1]: фантастические картины новой мировой войны.

Дёблин всегда мыслил как визионер (и описал это в своих теоретических работах): перед его глазами вставали живые картины, они вели его, он не мог рассчитать заранее, во что выльется очередной его замысел. Ни на какие правила написания романа он не ориентировался. Скорее руководствовался музыкальным ритмом, потребностью в чередовании разных мотивов, в создании контрапункта. Поэтому так интересно всматриваться в его образы, которые никогда не бывают надуманными. И еще: в каждом

1. Книга будет опубликована целиком в издательстве Ивана Лимбаха.

из романов максимальная степень напряжения сохраняется на протяжении всего текста.

Фолькер Клотц, автор предисловия к "Горам морям и гигантам", подчеркивает и другие особенности новаторской прозы Дёблина, дающей, по его мнению, ни с чем не сравнимый читательский опыт:

> То, что здесь рассказывается — и как рассказывается, — ломает любую масштабную линейку, которую читатель находит в своей повседневности и хотел бы приложить к книге. Временная шкала его, читателя, биографии не приложима к романному действию, охватывающему много столетий. Так же и пространственный опыт отдельного человека скукоживается в сопоставлении с местом действия, объемлющим сразу несколько континентов. А поскольку то, что описывается в романе, никогда в таком виде не происходило и лишь гипотетически может произойти в каком-то очень отдаленном будущем, читатель не может применить для сравнения ни масштаб современных ему событий, ни масштаб тех событий, о которых он знает из истории.

Интерес к Альфреду Дёблину, забытому в послевоенной Германии с ее "литературой руин"[1] (хотя еще в 60-е годы Гюнтер Грасс написал статью "Мой учитель Дёблин"), начинает возрождаться в последние годы, о чем свидетельствуют и новые, комментированные издания его книг, и тот, например, факт, что крупный современный прозаик Райнхард Йиргль включил в свой последний роман "Тишина" (2009) "омаж Дёблину": главу, представляющую собой вариацию на тему "Гор морей и гигантов".

НИКОГО больше не было в живых из переживших войну, которую назвали мировой. Сошли в могилу те молодые люди, которые вернулись с полей сражений, поселились в домах, оставшихся от убитых, ездили в их автомобилях, исполняли их должностные обязанности, пользовались плодами победы, претерпевали последствия поражения. Сошли в могилу юные девушки, которые расхаживали по улицам такие красивые и нарядные, как будто мужчины Европы никогда не вели между собой войн. Сошли в

1. "Литература руин", или "литература сплошной вырубки" — направление, господствовавшее в немецкой словесности с 1945 до конца 1960-х гг.

могилу и дети этих мужчин и женщин, которые выросли, и перестроили доставшиеся им дома, и заполнили фабрики, построенные и покинутые погибшими.

Казалось, медленно оползающая стена убивает поколение за поколением. И они спускались под темные своды, приготовленные для них стихиями. А на смену им приходили новые поколения: устремлялись через открытые шлюзы и наводняли опустевший мир.

И всякий раз опять появлялись красивые юные девушки. И молодые люди с блестящими волосами, зачесанными назад, с живыми глазами, свежими губами и щеками, охотно улыбающиеся. В аллеях, опираясь на палку, гуляли старики с отсутствующим взглядом, и младенцы в белых распашонках шевелили морщинистыми пальчиками перед розово-глянцевой мордашкой. По небу двигалось тихо сияющее светило, которое утром всходило, а вечером закатывалось. Земля же крутилась вокруг своей оси и днем, и ночью. Несла на себе континенты моря горы реки. Год за годом дарила новое лето и новую зиму. Из нее вырастали высокие леса; деревья падали; она порождала новые. Она и мотыльков выдыхала — всего на несколько дней. Рыбы животные птицы жуки муравьи улитки размножались и истлевали.

Поколения западных народов оставили в наследство своим потомкам железные машины, электричество, невидимые, но сильнодействующие излучения, калькуляции относительно неисчислимых природных сил. Аппараты чудовищной мощи. Когда новые люди вступали в жизнь, они радовались стоящей перед ними задаче. Их не смущало, что путь для них предначертан заранее; они сами и этот путь были нераздельны. Такого рода машины и аппараты, ради совершенствования которых основывались блистательные и богатые учебные заведения (другие науки тем временем были оттеснены на задний план, ибо казались теперь банальными, несерьезными, даже жалкими), можно уподобить пылесосам: они наращивали мощности неуклонно — с каждым столетием, а под конец и с каждым десятилетием. <...>

ПРЕЖНИЕ государства (в политическом смысле) сохранялись только номинально. Подобно тому, как у европейцев менялся цвет кожи, как их лица обретали арабские египетские негроидные черты, а разные языки сплавлялись в один тарабарский жаргон, сочетавший в себе наречия Севера и Юга, так же и государства утрачивали ранее свойственный каждому из них самобытный характер. Почти однородная человеческая масса населяла теперь обширный регион от Христиа-

нии[1] до Мадрида и Константинополя. Как в языковой, так и в политической сфере в разных областях просто преобладал тот или иной тип.

Постепенно — на протяжении двух последних столетий — все западные народы подпали под власть империи Лондон—Ньюйорк. Это была англосаксонская империя, в которой медленно перемешивались потоки темнокожих серых черных коричневых белых людей. Потом политические силы начали превращаться в труху. По мере умножения новых аппаратов и изобретений росло общее благосостояние. Жизнь стала легче, рабочий день у представителей почти всех профессий сократился. Одновременно обнаружилась специфическая опасность, связанная с этим периодом человеческой истории, — опасность, которой предстояло развернуться во всей чудовищности лишь в последующие века. Дело в том, что для обслуживания аппаратов не требуется много работников. В прежние времена излишек населения находил применение в войнах; теперь же активность людей можно было поддерживать только посредством все новых изобретений, что приводило к разрушению старых отраслей промышленности и возникновению новых. В один из периодов относительного застоя, когда люди жили благодаря открытиям прошлых десятилетий и беспрепятственно пользовались их плодами, разразилась первая крупная, но не получившая огласки катастрофа. Владельцы фабрик и патентов на изобретения — промышленная элита, к которой стекались несметные богатства, — поначалу, чтобы удержать в повиновении плебс, удлиняли рабочий день, вводили промежуточные операции, даже останавливали мощные машины, что позволяло обеспечить дополнительные рабочие места. Возникла чудовищно разбухшая, роскошно оплачиваемая бюрократическая верхушка, занимавшаяся надзором и контролем. Но эти судорожные, беспомощные, обусловленные страхом меры оказались неэффективными. Предприятия почти задыхались, а поток людей, стремившихся в города, все ширился. Владельцы аппаратов уже не знали, как им поддерживать видимость полезной работы. Не знали, должны ли они требовать от своих технических и научных сотрудников новых изобретений или, наоборот, демонтировать даже имеющиеся предприятия. С ужасом наблюдали они, как стекаются к ним богатства; странное чувство вины

1. Христиания — старое (до 1924 г.) название Осло. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

побуждало их отводить этот многоводный поток в сторону. Они отчаянно боролись с техникой, которая переросла их потребности, и с людьми, численность и плодовитость которых неуклонно увеличивались. Было время, когда промышленники — поначалу самостоятельно, а затем при поддержке государства — занялись организацией всеохватной системы общественного распределения денег и товаров. Речь шла о той части продукции, от которой промышленники добровольно отказывались. Промышленники, не афишируя этого, финансировали государственный аппарат. Казалось, они намеренно уклонялись — откупались — от необходимости самим принимать решения. Потом они наконец доросли до осознания своей роли. Когда деньги и товары стали из их водоема утекать, они почувствовали, кто они и чем владеют. Некоторые, не желая брать на себя ответственность, отказались от своих предприятий в пользу государства. Но большинство встало-таки у кормила машины распределения, которая к тому времени уже действовала почти автоматически. Два-три поворота руля — и их мощные предприятия почти полностью обезлюдели. Промышленники хотели теперь регулировать иммиграционный поток, принимать решения касательно распределения благ. А поскольку государство и политическая верхушка тоже существовали за их счет, они вознамерились подчинить правительство своей власти. Когда начались голод и массовая миграция, владельцы машин застопорили поток распределяемых денег и товаров. Тут выступили на первый план политики. Они понимали, что нужно как-то решать проблему подвижных масс, представляющих угрозу. Этого-то момента и ждали промышленники. Они немедленно *упразднили* старую систему благотворительности. Во всех государствах давно осуществилось сближение между политической элитой и лидерами промышленности. Теперь последние отогнали государственных чиновников от кормушки, как прогоняют из курятника отощавшего лиса. Борьба сделалась неизбежной: фабриканты и политики, живущие за счет их подачек, оказались стоящими по разные стороны баррикады. В Бельгии, в Брюсселе, был нанесен долгожданный первый удар. В тамошнем парламенте один приглашенный туда представитель промышленников цинично заявил, что отказывается вести переговоры и вообще не признает так называемых общественных институтов. Этот парламент, дескать, был избран так называемым народом; на самом же деле народа нет, а существуют только владельцы фабрик, рабочие и паразиты, живущие за счет подачек. Следовало бы, дескать, запретить ми-

нистрам выступать с речами об общественном благе: потому что в таких вещах министры не разбираются.

Уже на следующий день бельгийских министров отстранили от власти. Армия давно подчинялась технико-индустриальным концернам. Она состояла, как и повсюду в Европе, из молодых людей, которые прежде работали на фабриках и там научились, как изготавливать и использовать оружие, которым теперь владели. Они испытывали почтение только к мужчинам и женщинам, с которыми сталкивались на фабриках, и даже не задумывались, чем занимаются так называемые политики. Массы же городского населения бунтовать не стали; их быстро успокоили. Они и сами были по-настоящему связаны только с машинами; а требовали только комфорта, хлеба и возможностей для наращивания силы машин. В министерства, для проверки их деятельности, явились контролеры из центральных офисов технических и индустриальных концернов. Помещения этих министерств было решено использовать для других целей. Правительственные благотворительные организации были присоединены к тем центрам распределения и контроля, что существовали при крупных промышленных концернах. <...>

С ПОЯВЛЕНИЕМ искусственного синтеза продуктов питания — в двадцать шестом столетии — произошел настоящий переворот. Он повлек за собой изменение всех условий общественной жизни и одновременно обозначил необходимость возвращения к строгим, даже строжайшим формам власти. Никакие благонамеренные протесты противостоять этой необходимости не могли. Именно выходцы из низов интенсивней всего работали над ужасным открытием и сами невольно подготовили неизбежную реакцию на него. Сенаты, руководившие этой работой, поначалу неистово ее подстегивали; позже прогресс в исследованиях поверг их в смятение. Когда после блужданий на ощупь, растянувшихся на несколько десятилетий, им представили первые удачные результаты, они испугались. И сперва приостановили работу, потом снова возобновили; результаты же держали в тайне. Слух об изобретениях не должен был просочиться наружу, изобретатели сидели среди сенаторов. Десятилетиями без пользы лежали в лабораториях Чикаго и Эдинбурга постановления об экспериментах, осуществление которых могло оказать катастрофическое воздействие на совместную жизнь людей.

Ученые не пошли по пути простого неорганического синтеза, а опирались на наблюдения над растительными и животными организмами. Ультрамикроскопические исследова-

ния и точнейшая регистрация процессов, происходящих в живых органах, позволили наконец – после огромных трудностей и ошибок, при беспримерной работе целых батальонов химиков физиков физиологов – добиться ясности относительно реакций обмена в живых телах. Но сперва потребовалось достичь значительного прогресса в физике, усовершенствовать конструкции ультрамикроскопов, электрических измерительных приборов. От Алисы Лайард, белой женщины из Чикаго (роскошного – фантастической красоты – экземпляра человеческой породы), исходили решающие идеи, касающиеся регистрации, автоматического зарисовывания сопутствующих микроэлектрических и тепловых процессов в клетках исследуемых органов. Когда с этими проблемами было покончено, анализ сложных созидательных и разрушительных механизмов удалось завершить довольно быстро.

Физики и химики освободились наконец от необходимости работать с животными и растительными организмами. Долгое время они с отвращением и усмешкой думали о том, что одно-единственное засушливое лето может вызвать голод в целых регионах; думали об абсурдной зависимости человека от жары и засухи. Эти химики и физики больше всего ненавидели зеленеющие поля, луга и бурлескные скопления стад. Словно реликты более ранних геологических периодов, сохранялись в их эпоху скотобойни колбасные булочные. Булочные: нечто такое, о чем сообщали еще ассирийские глиняные таблички. <...>

НЕ КАК ту воду, что из дождевальной установки пускают на высохшие грядки, а как хищного зверя, которого ведут по улице, удерживая справа и слева железными прутами, – так, принуждая-сковывая, во второй трети двадцать шестого столетия крупнейшие западные градшафты выпустили к людям чудовищное открытие. Сенаты, новые правящие слои в этот момент сплотились теснее, чем при каком-либо другом событии, случившимся раньше или позже: они превратились в каменную стену. Теперь каждый должен был решить для себя, на чьей он стороне. У всех перед глазами маячил величественный пример самой Англии, мудрой и опытной наставницы западных народов, которая поступила с великим Меки так же, как некогда Испания – с Кристофором Колумбом, фигурой куда менее значимой: она почти десять лет держала его в заточении, в его эдинбургском институте. Когда Меки освободили и вызвали для беседы в Лондон, он наложил на себя руки.

В Лондоне поняли, что кто-то должен стать единственным собственником всех связанных с синтезом тайн и всех предприятий и что такой собственник окажется обладателем беспримерного орудия власти. Пока город-побратим Нью-Йорк еще колебался, лондонцы — спокойные тихие мужчины и улыбчивые медлительные женщины — уже создавали, одну за другой, производственные установки в Уэльсе и Корнуэлле. И пока сенаты континентов советовали повременить с обнародованием изобретения, знакомить с ним массы лишь постепенно, лондонский сенат в один из майских дней внезапно сообщил опасную новость всем непосредственно подчиняющимся ему и дружественным градшафтам: сообщил о количестве и местоположении хорошо защищенных фабрик, назвал имя прославленного Меки, уже умершего, и распорядился, чтобы к первой годовщине его добровольной смерти во всех больших центрах были возведены памятные колонны.

Как дубину обрушил холодный сенат эту новость на зависимые от него европейские и африканские территории. Сенат объяснил, что для производства синтетического сахара жира и мясных масс требуются очень незначительные затраты труда, призвал людей овладеть этим процессом и научиться превращать субстанции, разработанные учеными, в радующие потребителя продукты; в заявлении также говорилось, что начинается новая эра в истории человеческого труда: триумф науки снимет непосильный груз с человечества, борющегося за свою свободу и достоинство.

Лондонский сенат сознавал, что во всех областях его влияния распространятся смятение и беспорядки, но что в конечном счете он подчинит себе ситуацию. Континентальные государства и большие градшафты, затаив дыхание, следили за действиями Лондона, который, заглядывая на столетия вперед, решился показать более слабым дочерним государствам, какой путь им следует избрать: путь присвоения абсолютно всех средств осуществления власти одной надежной группой людей. Элита Британских островов и управляемых Англией регионов Африки была в восторге от таких новостей. Напротив, в местностях — преимущественно южноафриканских, — специализирующихся на земледелии и скотоводстве, через несколько недель распространилась и стала быстро усиливаться исполненная страха сумятица. Там большие градшафты отказались от разведения скота, скотобойни и скотные дворы закрылись. Зернохранилища перестали охраняться: их ворота стояли распахнутыми, мука из мешков высыпáлась на землю. Во многих местах еще и десяти лет не прошло, с тех

пор как были построены отвечающие современным стандартам мощные мельничные комплексы; они занимали такую же территорию, как большое село; их окружали спортплощадки жилые дома магазины. Так вот, эти зернохранилища закрыли, а потом праздные массы их подожгли; мельницы же взорвали. То были бессознательные нелепые действия, в которые вылилось возбуждение, пульсирующая растерянность окрестных жителей. Люди бросали свои дома, переселялись — чтобы найти себе новое занятие — в городские центры. Но и в самих градшафтах основы жизни оказались подорванными, цеха гигантских фабрик опустели. Снаружи приливной волной накатывало сельское население, волновались напуганные слухами крестьяне, а также работники и работницы, которые прежде делали пахотные орудия: плавили-закаляли-ковали-резали-охлаждали-зачищали металл. В людской сутолоке постоянно менялись и настроения. Никто в итоге не остался без пищи, никто не мог бы пожаловаться, что у него что-то отняли, и все же сердца их кровоточили: люди сделались недовольными, мрачными, когда их прогнали от плавильных печей, заставили бросить мельницы. Им скоро скажут, услышали они в городах, чем заниматься дальше; пусть успокоятся: недостатка у них не будет ни в чем. И в самом деле, сомнение, поначалу возникшее у людей, было опровергнуто фактами: железные поезда с бочками и мешками день за днем подъезжали к тем же складским помещениям, в которые прежде сгружали муку. Хотя уже все зернохранилища — без противодействия сенатов, более того, явно при их попустительстве — были опустошены и сожжены горланящими ордами, витрины булочных буквально ломились от хлеба и выпечки. Сенаты, выполняя распоряжение Лондона, по будним дням даже раздаривали муку населению — чтобы усилить впечатление от происшедшей перемены, чтобы нанесенный удар показался еще более ошеломляющим и весомым. Большие торговые залы, где раньше продавались сливочное и растительное масло, пищевые жиры, теперь предлагали искусственные продукты; и эти продукты по вкусу, внешнему виду и расфасовке не отличались от натуральных аналогов, а в смысле длительности хранения даже превосходили их. Смеясь, рука об руку, бродили по торговым залам английских и южноафриканских городов белые коричневые черные люди. Им казалось, что они видят сон или попали в Страну лентяев. "У них теперь искусственная скотина. Они могут делать и деревья". Только плотная мясная масса, носитель белковых веществ, вызывала неодобрительные насмешки. Легко режущийся розовато-коричневый полуфабрикат (напоминавший

по консистенции печень, а иногда – костную муку; размягчавшийся при готовке, порой до состояния слизи), который доставляли к магазинам фабричные фургоны, люди, сварив, выплевывали: он не нравился их сильным зубам, желавшим рвать и кусать, не нравился челюстным мускулам, желавшим с хрустом что-нибудь перемалывать. Да и по вкусу этот продукт отличался от мускулатуры животных. Так что скотоводам-животноводам было дано дополнительное время, пока и они не отступили перед "мясом Меки". Плоть натуральных птиц рыб коров панцирных животных – неважно, тушеная, или жареная, или запеченая, или вареная – стала отныне десертом для гурманов.

Поля оказались заброшенными – необозримые земли, которые люди на протяжении тысяч лет, от поколения к поколению, возделывали, культивировали, любили. Ради этих полей валили девственные леса, обрывали со стволов лианы.

Ради них стреляли в диких зверей – желтого льва, пантеру. Прогоняли термитов; меняли русла ручьев и строили хижины, крепкие дома, поселки (где всегда имелись собаки), загоны для кур гусей коров.

В южных зонах попадались районы, которые лишь сто или двести лет назад были расчищены от лесов. То есть туда приезжали железные машины, гордость северных стран, и вгрызались в грунт; давясь землей, они глотали-раскусывали-пережевывали растения и корни. Камни, которые хранила в себе земля, извлекали из нее, швыряли на кучи обломков. Потом на то черное ложе, что оставалось, когда увозили трупы деревьев и травянистых растений, люди укладывали миллионы бледных нежных зерен. Земля охотно принимала их в себя; те зерна выгоняли на поверхность зеленые всходы. И в результате поднялись зеленые хлебные нивы: густые леса из злаков, из мягко колышущихся на ветру колосьев. Эти поля теперь были брошены – как и амбары, сараи, а также жилые здания, которые кое-где уже начали сносить. Люди потянулись обратно в гигантские города. Они затворились в городах, освободив бóльшую часть земной поверхности. Земля теперь отдыхала. Всходили и увядали одичавшие злаки; между ними буйно разрастались пестрые цветы, прежде называвшиеся сорняками; крались куда-то звери; шмыгали, уже не таясь, полевые мыши.

Первобытная земля молча лежала под небом с его восходящими и закатывающимися светилами, ощущала ветры тепло грóзы дождь. Прикрывала свою наготу цветами растениями животными, сворачивалась, как еж.

Человекомассы же, заманенные в города, угодили прямо в руки к их железным властителям.

ИГРУ, начатую Лондоном, продолжили другие градшафты. Через десять лет в Западном Круге народов было выковано кольцо могучих правящих родов.

Суровая, исполненная страсти борьба рабочих за свои права прекратилась. Отныне население западных континентов, почти полностью поглощенное градшафтами, делилось на маленькую группу созидающих и гигантские сонмища бездействующих. Принадлежность к тем или другим зависела от личных склонностей и потребностей. Массу бездельников, число которых все увеличивалось, приходилось как-то занимать — удовольствиями мнимыми работами. Ни о каком единообразном воспитании народа речи уже быть не могло. При правителях существовали огромные штабы специалистов, занимающихся исключительно развлечением праздных масс.

Крупные градшафты продолжали расширяться. Притоку чужеземцев, миграционным волнам конца не предвиделось.

ЛОЙХТМАР И РАЛЛИНЬОН, личности под стать Инке Стоходу и Йорре, некогда вырвавшим власть у западноевропейских сенатов, чувствовали, какие подземные катаклизмы зреют у них под ногами. Двадцать седьмое столетие, роковое для Западного Круга народов, подступило уже вплотную. Это вскипающее варево, накатывающие волны недовольства. Опасное равнодушие, внезапно вынырнувшее из глубин и разлагающее все вокруг. Новые феномены не могли существовать изолированно. Орды людей, которые в Лондоне всегда тянулись к машинам и промышленным предприятиям, теперь значительно уменьшились — под влиянием тех же чувств, что привели к аналогичным процессам в Париже Берлине Ньюйорке. Дикое возбуждение, страстная увлеченность — такие эмоции повсюду схлынули. Люди с недоверием и апатией отворачивались от красивых приманок, прежде столь сильно их привлекавших. Роскошь азартные игры вечеринки мало для кого сохранили свою притягательность. Произведенные машинами вещи — модные красивые провоцирующие, определенно напрашивающиеся на похвалу — предлагали себя людям, а те лишь молча кривили рот. Картина, в истории уже не раз повторявшаяся, но забытая. Народы, давно перемешанные, вели себя как дети, которые, утомившись, забиваются куда-нибудь в угол, чтобы пососать палец. Немцы держали в руках тяжелую Библию, листали Псалтирь, собирались в лесах и пели сумрачные гимны. Чер-

ные коричневые люди в южных регионах пассивно ожидали своей гибели: в них еще жило ощущение богатых, питающих человека ландшафтов; но они не знали, что делать с этим ощущением, которое, подобно дыму под струями дождя, остаточно курилось сквозь них, — и не находили покоя. Арабские племена, давно затянутые в бурлящий водоворот западных народов, освободились от своего влечения к аппаратам. Прищурив глаза, смотрели они на тихие равнины, вскакивали в седло. Но хотя верховая езда им нравилась, они воспринимали ее как забаву; лошади стали забавой. Машины работали, как и прежде. Водопады забрасывали ток высокого напряжения через моря и горы в города. Но, казалось, внутренняя связь человека с водной стихией разрушена враждебной силой. Которую нужно одолеть.

Гигантские человеческие массы, которыми после обнародования изобретения Меки периодически напитывались градшафты и которые праздно толпились вокруг кормивших их фабрик, подвергались деформации. Из фабричных цехов по вечерам выходило все меньше людей, усталых, как и эти праздные толпы; они часто моргали, почти не разговаривали друг с другом. В городах расцвели фантастические игорные дома, в пригородах — ботанические сады и зоологические питомники; но все это мало кого привлекало. Массы во всех центрах Западного Круга народов стали ожиревшими ленивыми; они конвульсивно дергались — экзотичные неповоротливые капризные. Подземный гул нарастал во всех центрах, да и в самих этих людях, где белых, где черных, где желтовато-коричневых, которые строили для себя храмы мечети церкви, без особой охоты молились темным богам, но в глубине души не верили ни одному из странствующих проповедников и пророков. Случалось, что в том или ином месте не находилось достаточно людей, готовых работать на фабриках.

Вялость, подобно сорной траве, распространялась повсюду; распространялось, если можно так выразиться, и сумеречное сознание. В то время как индивидами все сильнее овладевало невыразимое ощущение пресыщенности, между остатками разных народов, живущими в одном градшафте, вновь вспыхивала старая вражда. Начало таким смутам положил Богумил Лойхтмар из Гамбурга, вместе с группой молодых градоначальников и градоначальниц. К нему присоединились: Вышинская, его бывшая соправительница в Гераклополисе, силезском градшафте, ведущем свое происхождение от Берлина; женщина по имени Ацагга, доминировавшая в Баварском градшафте; далее — Уру из Палермо и

Донгод Дулу из столицы Египта. Собравшись в Гераклополисе у Вышинской, они поняли, что должны принять какие-то превентивные меры против постепенного разложения населения и новых беспорядков. В каждом из этих людей была сила, присущая техническим аппаратам, удачливость, набычившаяся гордость машины; как в пальмах, жила в них эта гордость, искала новых импульсов для своей кроны. Итальянец Уру подпал под обаяние Вышинской; насмешливой госпоже пришлось образумить недоумка, пожелавшего присоединиться к услужающим ей мужчинам. Градоначальники в Гераклополисе долго смеялись, когда коренастый Уру пришел на одну из встреч в желто-голубом шарфе мужского гарема Вышинской. Шарф он украл; Вышинская этот шарф с него сорвала. На мгновение в маленьком сообществе вспыхнуло несвойственное ему чувство межполовой ненависти: Вышинской показалось, будто Уру над ней издевается; мужчины втайне ликовали, потому что женщина потерпела поражение. Но хватило десяти деловитых слов, чтобы переключить их внимание на другое. Они знали, хоть и не прогуливались по городу: созидающие аппараты стоят невредимые прославленные обожествленные. Невредимая прославленная обожествленная — их кровь.

И они подняли пылающие штандарты.

Когда Богумил Лойхтмар, Вышинская из Гераклополиса, Ацагга, Уру и Донгод Дулу пролетали над северогерманскими низменностями (ландшафт за ландшафтом выплескивался из границ; клокочущие, охваченные брожением толпы текли по улицам, скрывая в своих рядах неопознанных стукачей и полицейских), человеческие массы еще не чувствовали, какая судьба их ждет. Как двое любовников, скованные любовью-ненавистью, сплетшиеся в один жгут, чтобы рвать друг друга на части, мучить, кусать, — так и эти массы, понурившись, пока еще бродили вокруг секретных хранилищ технических аппаратов, готовые к атаке готовые к любви готовые к объятью. Для градоначальников же, сидевших в самолетах, ситуация уже была предельно ясна. На их самолетах развевались знамена со звездами и огнем.

Они не прибыли в Лондон, хотя были туда приглашены. А остановились на полпути, в Брюсселе. И задержались там из-за Лойхтмара. Именно он, подлетая к аэродрому, внезапно и, как казалось, случайно втянул полотнище знамени в кабину, порвал, выбросил обрывки в иллюминатор. Другие уже были в Брюсселе, а он все описывал круги в воздухе — смущенный, не зная, на что решиться; кружил вокруг города, долетая до

Северного моря, приближался, опять отдалялся, будто ему приходилось прокладывать себе путь сквозь густой кустарник. В воздухе он двигался, словно по предательскому болоту, – растерянно. И еще больше растерялся – хотя встретились они так, будто заранее договорились о встрече, – обнаружив в Дюнкерке Раллиньона, тоже там приземлившегося. Эти двое прогулялись по центру, где четыреста лет назад, после падения Милана, проводилась знаменитая конференция, предоставившая правящим родам неограниченную власть в городах; друг на друга друзья не смотрели. Потому что и Раллиньон думал о войне.

У Раллиньона мысль о войне возникла внезапно – и опьянила его. Собственно, опьянил его вид технических аппаратов. Подумалось: не нужно противостоять этим великолепным машинам. Хотелось бы, наоборот, владеть ими, возносить им хвалу, показывать их – как откровение – миру. К самой границе реального и возможного должны они нас доставлять, больше того – переносить за грань мыслимого. Человек хочет использовать оружие силы не во вред себе, а на пользу. Раллиньон ощущал это всем существом, со сладострастием и страхом, – так же как Лойхтмар. Государство должно выступить против государства. Но *какое* государство – и *против какого?* Вот почему Лойхтмар и Раллиньон не смотрели друг на друга. Из Брюсселя за ними приехал один бельгиец. Сбитый с толку, как и они. Подобные мысли носились в воздухе, словно привидения. Кто прикасался к аппарату – сейчас, в этот миг, – того они и настигали.

Втроем они поехали на машине в Брюссель. Богумил с его впалой грудью всю дорогу стонал-насмешничал: бессмысленно, дескать, ехать сейчас в Брюссель, он лично предпочел бы вернуться; им нужно обдумать свои намерения. Жилистый Раллиньон, сидевший с ним рядом, покрылся красными пятнами, казался другим человеком. Он со страхом поглядывал сквозь стекла, направо и налево: сельская местность, мол, для них не безопасна, их могут узнать; в том случае, конечно, если их вообще знают. Он думал, по его лицу заметно, что́ он вынашивает; и забился в темный угол легкой лихой машины, прикрыл лицо шапкой: их-де задушат. Лойхтмар, повернувшись к нему: "За что? Что мы такого сделали?" Но уже и сам приложил руку к груди, унаследованным от предков движением: у меня, дескать, нет при себе оружия! Фламандец сидел с открытым ртом, ему приспичило выйти. Когда машина остановилась в лесном заповеднике, Лойхтмар наклонился вперед, нащупал руку Раллиньона:

— Раллиньон, мой друг. Друг. А не враг. Скажи "Да".

— Я ничего не могу сказать, Богумил. Успокойся. Что будет, то будет.

Лойхтмар прижал кулаки к вискам:

— Пусть Европа сама себя уничтожает. Без нас. Мы не хотим участвовать. Не хотим этому способствовать.

Раллиньон первым выпрыгнул из машины. Лойхтмар вылез вслед за двумя другими; он, как и они, прикрыл глаза; не видел ни домов, ни полей; стонал. Пробормотал в спину тем двоим:

— Никому ничего не говорите. Я тоже не буду. Ничего не скажу. Ни словечка они из меня не вытянут.

По одному заходили в дома, стоявшие вдоль дороги: поменялись одеждой с хозяевами. Переодетыми — чтобы горожане их не узнали — приехали в Брюссель.

Там Вышинская уже объявила: в Лондон, дескать, она не поедет. Ацагга, в чьем сенате верховенствовали английские наблюдатели, горячо ее поддержала. Господа из Палермо и Каира были близки к тому, чтобы присоединиться к Вышинской: они предлагали объединить имеющиеся резервы и совместно выступить против Англии. Тщедушный Лойхтмар попросил ничего пока не решать. Надо, дескать, поехать в Лондон. Вышинская поняла: этот человек, не поднимающий глаз от столешницы, хочет лишь добиться отсрочки. Она бушевала требовала, чтобы он принял решение. Лойхтмар и Раллиньон, когда поднялись из-за стола, выглядели утомленными. Фламандец молил: "Мы сейчас не хотим ничего решать". Лойхтмара и Раллиньона будто парализовало. Вышинская чуть не набросилась на них с кулаками. Но, встретив нехороший взгляд Лойхтмара, отступила. Без него и Раллиньона все равно ничего не предпримешь... Поспорив еще немного, она сдалась.

В Лондоне, в хорошо натопленных стеклянных домах, появились чужаки-азиаты. Они оказались там в это время случайно. Эти монголоиды намеревались разведать, что происходит на Британских островах и каково сейчас состояние западных государств. Пятерка приезжих с континента набросилась на восточную депутацию, как собаки на кость. Они, будто чем-то приманенные, не отходили от азиатов, расспрашивали их рассматривали прислушивались. Меланхоличные умные англичане тоже прохаживались, наблюдая, за спинами своих восточных гостей. И тут в голове хмурого неуклюжего Богумила молнией сверкнула мысль: что этих монголоидов, ширококостных податливых ухмыляющихся, этих

непонятно над чем хихикающих япошек и обоих великановрусских в нелепо широких брюках... что он их всех ненавидит. Глаза его осоловели. Он их *ненавидел*. Челюстные мускулы Раллиньона стали как деревяшки; он заскрипел зубами. Лойхтмар и Раллиньон оживились, начали нагло подтрунивать над восточными людьми; лондонцы, правда, пытались все как-то сгладить. Пышнотелая Вышинская поняла, что́ творится с двумя ее соратниками, и, сощурив глаза, внутренне ликовала. Пучеглазая Ацагга, женщина-колосс, Уру и чернокожий Донгод Дулу позволили втянуть себя в ту же игру. Тихие англичане на несколько дней прервали переговоры, чтобы присмотреться к странному настроению своих континентальных друзей. Те, похоже, никаких козней не строили. Англичане в последнее время не имели причин для беспокойства. Но сейчас, замечая агрессивность континентальной "пятерки", они задумывались пугались настораживались. Под окнами искрился город – и в эту минуту, и в ближайшую, и в следующую. Англичане в конце концов ретировались, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Континентальные гости знали, что до момента принятия решения они фактически находятся в плену – под незримым надзором лондонцев. Но теперь никто из них не испытывал страха. Англичане вскоре отбросили мысль, что друзей, посетивших их, можно просто убить. Они понимали, что градшафты ищут врага, объект для нападения, и что ближайшим претендентом на эту роль являются они сами, и снова стали обхаживать делегацию Лойхтмара. Азиатов же больше к себе не звали. Англичане объяснили им, что сейчас очень заняты делами, касающимися ближайшего континента. И дружелюбно проводили восточных гостей до их мощных летательных аппаратов. Уже из Парижа пришло сообщение, что члены азиатской делегации в окрестностях города покинули эти самолеты и – очевидно, чтобы в дальнейшем передвигаться инкогнито, – рассеялись по всякого рода мелким транспортным средствам.

ВОСТОЧНЫЙ Круг народов тихо раскинулся на древнейшем гигантском континенте. Темные азиатские массы уже давно приняли новую машинную технику; хотя это было нечто им чуждое, что проползло по ним, словно гусеница. Они оставили у себя и филигранные аппараты, и грубые железные чудища, но особенно ими не увлекались. Правда, из многих сотен миллионов здешних людей небольшие группы постоянно отправлялись на Запад, впитывали – недоверчиво внимательно – чужие знания. В эпоху максимального усиле-

ния правящих родов одна группа азиатов получила доступ к запретным научным дисциплинам, смогла приобрести и необходимые материалы, и модели. Англия допустила это, потому что была тогда настроена мирно и стремилась привязать азиатов к себе. В Азии отцветали расцветали разные расы; западные люди не знали об их судьбе практически ничего. Бомбей Калькутта сбросили европейские личины. В Китае большие города европейского типа, возникшие недавно, были сметены; но люди продолжали жить, торговали в руинах и подвалах, оставшихся от европейцев. Привить миллионам желтых коричневых людей тягу к товарам, в которых нуждается западный человек, не удалось; они взялись за оружие, за винтовки, чтобы прогнать чужаков. Все реже возобновлялись контакты, велись затяжные переговоры со все более озабоченным Лондоном. Когда члены побывавшей в Лондоне делегации вернулись в Бомбей Лхасу Пекин Токио Казань Тобольск, там уже были готовы к войне. Элита западных столиц знала, что азиаты вооружаются; но положилась на свои силы. Всерьез никто ничего не обдумывал. Просто была потребность выломиться из прежней жизни.

Аппараты за прошедшие несколько столетий полностью изменились. Сперва место машин, беспорядочно разбросанных по цехам, заняли машины-блоки машины-дома, колоссы и пирамиды упорядоченности, — машины-организмы. В период после Дюнкерка и до мятежа Таргуниаша и Цуклати огромные человеческие массы должны были возводить такие машинные комплексы и обслуживать их. Энергетическая промышленность осуществила проект соединения всех электростанций в одну систему. Радиус действия произведенных и трансформированных энергий гигантски возрос. Энергия теперь аккумулировалась в немногих пунктах. Помимо энергопроизводящего блока возникли специализированные машинные комплексы, работающие для отдельных областей; нигде не осталось единичных машин. В ту эпоху — к концу двадцать пятого, демократического, столетия — неуклонно усиливалась промышленная специализация градшафтов: возникали стекольные города световые города пищевые города одежные города. В научно-испытательных городах — и, наоборот, в глуши, в стороне от специализированных городов — множились изобретения. По прошествии нескольких десятилетий большие блоки и "пирамиды" машин утратили былое значение. Современники Меки освоили и заперли в аппараты новые природные силы, газообразные и излучающие энергию, — открытые еще в предыдущем столетии. Гро-

мыхающие колоссы были посрамлены аппаратами-лилипутами. Много веков старые машины хвастались своей силой — и вот теперь оказались беззащитными перед новым поколением аппаратов, перед новыми технологиями. Люди разрушили большие машинные города. Скромно стояли теперь в бронированных подвалах изысканные изящные аппараты — в них, как джины в бутылках, содержались в плену природные силы. Чтобы обслуживать их, не требовалось много рук. У первых, кто видел такие аппараты, сердце замирало в груди. Но со временем люди к ним привыкли, жили под их защитой комфортно и не испытывая особой благодарности — как дети в богатой семье.

Эти удивительные строго охраняемые аппараты, на которых зижделось могущество западных правящих родов, имелись теперь как на Западе, так и у азиатов.

На Западе человеческие массы впали в своего рода пьяный экстаз, когда им сообщили, что́ сейчас приуготовляется. Внезапно глубоко укорененная тревога, смешанная с возбуждением, улеглась. Как если бы в расслабленное тело впрыснули одновременно эфир и камфару.

Азиатские правители воззвали к своим народам. Объяснили, какой силой обладают белые. "Они придут с машинами. Должны ли мы обороняться? Или покориться?" Ответ был известен заранее. Индусы знали, как приручать слонов, переправляться через реки, молиться; китайцы — как обрабатывать поля, тянуть на бечеве баржу, торговать; сибирские степные народы умели доить скотину, охотиться. Они думали, что смогут обратить свои чары против европейцев. И вот уже полетели над их головами воздухоплавательные суда с Юга и Востока, и все они направлялись на Север и Запад. Когда эти суда, при одном виде которых замирало сердце, опускались ниже, им махали индусы и китайцы, цвет своих стран, славные молодые люди, смеющиеся: "Мы устремимся навстречу европейцам, на Запад на Север". Сибиряки ухмылялись. Монголы клохчуще хохотали, высоко поднимая своих детей. Миллионы колдовских заклинаний сопровождали бойцов.

Поначалу Лондон относился к азиатской угрозе с глубокой апатией. Но, поколебавшись какое-то время, санкционировал начало войны. Другого пути просто не было. Разве что пассивно наблюдать, к чему приведет развитие конфликта. Может, удалось бы продержаться еще несколько десятилетий; может, предварительная перебранка растянулась бы на

целый век. Лондонцы приветствовали то, что беспримерные изобретения так долго не предавались огласке, и старались способствовать упрочению самостоятельности градшафтов. Но они понимали безнадежность всех попыток затормозить прогресс. Ведь машины нельзя остановить, а западный ум — переделать. Когда Лойхтмар, Раллиньон и их континентальные друзья появились в Лондоне, англичане удивлялись, глядя на них и поглаживая черные бороденки. (Дескать, эти люди — как малые дети, — обучению не поддаются.) Но и радовались. Эти мужчины эта дикарка Вышинская хотят войны, войны для своих масс. Представители старой элиты были умнее. В такой момент они бы мобилизовали все оружие и аппараты, какими сумели бы завладеть; и перебили бы сотни тысяч, миллионы людей вокруг себя. Эти же, новые, побратались с массами, стерли границу между собой и "народом". Не подумали о том, что нужно облегчить себе жизнь: то есть остаться дома и дома все переждать. Позволили себе возбудиться, войти в азарт. Да, эти карапузы и куколки задумали повести борьбу против них, англичан, против великой и мудрой Империи-матери. Не исключено, что они воспользуются словами из старых исторических книг: свобода, независимость. Глупые лидеры-однодневки! Но придется пройти с ними весь этот дурацкий путь: сражаться. Может, это и в самом деле придаст всем бодрости. Континентальные европейцы еще сохранили веру, смехотворную веру в отвратительные орудия, которые следовало бы утопить...

Лойхтмар Раллиньон Уру Вышинская Ацагга Донгол Дулу вернулись на континент. Они знали: восточное полушарие должно быть покорено. Нельзя метать огонь в светила небесные, если еще не завоеван земной шар и в каких-нибудь ста милях за Вислой начинается враждебный мир. Новый импульс проникал в бездействующие, еще не полностью потухшие массы: образ гигантских равнин, безмерно высоких гор, кишащих людьми экзотических городов. На этих чужаков они *должны напасть*, смешаться с ними, все там наводнить собой. Так должно случиться. У них ведь есть аппараты. И скоро это случится. Все уже слышали о чудовищной мощи аппаратов. С другим настроем, чем раньше, несли теперь люди по дорогам западных континентов флаги с изображениями огня и небесных светил. Лихорадочная сила воспламеняла сердца, напрягала мускулы. Кто-то держал знамя; и оно соединяло в один пучок волю всех.

Градшафты пришли в движение. Все новые и новые толпы, мужчины женщины, жаждали участия в борьбе. Чтобы

вести войну, требовалось несколько десятков тысяч солдат, хорошо обученных. Но разум подсказывал: надо призвать многих — чтобы занять чем-то праздные толпы и, по возможности, уничтожить их. Во всех странах от руководящей элиты ответвилась особая группа, которая выдумывала бессмысленные задания для солдат: Бюро "Б", как ее назвали в Лондоне, в отличие от Бюро "А", действительно планирующего военные действия. Бюро "Б" укомплектовали самыми умными политиками, с ним неформально сотрудничали технические и военные специалисты. Приток добровольцев в псевдоармию "Б" на западных континентах был столь велик, что первоначальные планы командования оказались невыполнимыми. Планы эти исходили из устаревших методов организации воинской службы: предполагалось, что солдаты будут отливать пушки, возводить и укреплять оборонительные линии, производить в мастерских цитаделей аппараты, будто бы представляющие собой чудодейственное оружие, и тренироваться в обращении с ними; то есть имелось в виду моделирование смертоносной деятельности, а не участие в настоящей войне. Лондон сделал следующий шаг, доведя свои первоначальные планы до логического конца. Английское командование армии "Б" бросило мощные человеческие массы — полки воодушевленных, опасных для власти мужчин и женщин — на подлинный театр военных действий: на русские равнины; этим солдатам предстояло совершить страшную и напрасную работу.

Азиаты русские равнины не отдали. Западные державы продвигались вперед тремя эшелонами, на летательных аппаратах, а также по мостам рельсам, которые за немногие дни сами же и прокладывали перед собой: выступив из Польши Румынии Галиции, они миновали Витебск Могилев Полтаву Херсон. Днепр с его заболоченными берегами остался позади. Города этого региона не были для солдат чужими. Сеть городов, хуторов, рассыпанных поселений — перед ними, под ними — теперь уплотнилась. За Ярославлем Владимиром Воронежем Харьковом наступающие приблизились к тем речным притокам, которые вбирает в себя великая Волга, к возвышенности Ергени, к широкому гористому берегу самой Волги. На севере наткнулись на Вятку Вологду. Тут-то и загорелись обрушились первые летные эскадрильи, с ясного неба упали на тихие поля. Подоспели новые эскадрильи. И тоже обрушились. Не преодолев незримо воздвигшегося перед ними барьера. Специалисты из разведки, прибыв на место, обнаружили особого рода волны, нарушающие работу авиа-

моторов. Но пока техники пытались определить природу странных волн, их источник и формальные характеристики, против них ополчилось наземное чудище — взвинченные человекомассы. На лошадях повозках телегах, по рекам — на пароходах лодках баржах — эти массы катились стремились с востока на запад, струились текли изливались с севера на юг: люди и животные. Растерянные жалующиеся сбитые с толку: мужчины женщины дети; лошади коровы свиньи, которых они гонят перед собой, куры, которых несут на руках. Одиночки, причитающие кричащие оборванные. Большие молча прущие орды. Целые деревенские общины, на вопросы не отвечающие. Оглушенные; лица одеяла одежда в грязи... Бледные от бессонных ночей, тащились они вперед. Не помогали ни умирающим, ни младенцам. *Это* чудище кидалось на землю, плакало, царапая себе лбы и щеки, оставляло позади мертвецов, едва прикрытых землей, ибо во влажной почве могилы не выроешь, снова бежало вперед, рывками, — словно во сне. *Оно* крушило все, что имело при себе и что находило: деревья избы доски; кидалось в воду, плыло барахталось стонало орудовало веслами. *Оно* вздыхало визжало, а когда было массой женщин, распускало волосы, рвало их на себе или покусывало концы прядей, оглядываясь назад: бросая скорбные взгляды на серое пасмурное небо, не показывающее ничего, кроме туч. Позади этих беженцев бушевал пожар. Они кричали. Сами они не видели, что́ горит, но из других сел к ним приходили крестьяне: тоже получившие страшную весть издалека. Там, далеко, чужие люди видели колыхание закрывающих все небо скоплений птиц, которые с криками или бесшумно, равномерным потоком или разлетаясь в разные стороны, устремлялись с востока на запад, с севера на юг: плотные стаи воронов, сонмища мелких птиц, вьюрков кедровок, — днем они шелестяще проносятся мимо, ночи наполняют щебетом граем свистом. Земля-де уже усеяна обессилевшими маленькими телами. Они шуршат мельтешат свистят трепещут также высоко вверху... И все живое стронулось с насиженных мест вместе с людьми. На телегах гроздями висли летучие мыши. Стоило до них дотронуться, и они взмывали в воздух, кружились, раскинув руки-крылья, снова садились. На земле между ногами людей копошилась мелкая живность. Черные и серые мыши кишели на дорогах, мокрых полях. С писком покрывали поверхность рек: маленькие дергающиеся спины, ударяющие по воде спиральки хвостов. Взбирались на большие камни, падали с них, соскальзывали в канавы, перебирались через упавшие деревья. Периодически мелькали быстрые тени длинноухих тушкан-

чиков. Люди, напиравшие через Вологду и Вятку, имели при себе топоры ножи, в их повозках валялись окровавленные волчьи шкуры. Пока они продвигались вперед, их преследовали по пятам медведи лисы росомахи из районов, оставшихся позади. Эта живность, черная бурая серая, зигзагообразно шныряла кралась каперствовала, выпрыгивала на дорогу, с рычаньем падала в пыль, издыхала от жажды, шаталась от усталости, умерщвлялась людьми. На низкорослых умеющих плавать гнедых лошадях – Букеевская орда с соляных болот, киргизы с непроницаемо-мрачными лицами. Они только щелкают языком, ответов никаких не дают, знай себе охаживают лошадей...

Когда белые убедились, что не могут продвинуться дальше, когда пошли слухи о пожаре и беженцы напирали уже целыми деревнями селами, тогда сквозь ужасные скопища людей и животных были посланы конные лазутчики, вооруженные и хорошо защищенные. Но еще прежде чем вернулся неистребленный остаток этих посланцев, барьер в воздухе удалось взорвать. Зависнув в небе над Волгой, обозревая окутанные дымкой киргизские степи, Самару Пермь, авиаторы увидели кишащую людьми и животными равнину.

За спинами же людей и животных – огромный, где-то далеко на севере и на юге загибающийся дымно-огненный вал, который, пребывая в зримом движении, медленно и почти без пауз пульсируя, сопровождает беженцев.

Огонь и дым, заволакивая горизонт, не оставляют никаких просветов: катящаяся стена.

Авиаторы, насколько смогли, приблизились к пожару, хотя и опасались вражеских смертоносных лучей. Последнее, что они видели: как пламя взмывает с земли вместе с самой землей, как выбрызгивается из почвы, как карабкается на холмы, бежит над равнинами горами. Не останавливаясь ни перед какой рекой.

Западные войска бросились назад, на летательных аппаратах автомобилях, – отступили от волжского рубежа. Окопались на линии от Херсона на юге до Валдайской возвышенности на севере. По дороге видели и миллионы людей, живущих на этой богатой хорошо орошенной возделанной хлеборобами равнине, и тех, кто бежал сюда, спасаясь от огненной стены. Отступающие пролетали над Могилевом Смоленском Черниговом Полтавой Киевом Екатеринославом; Орлом Курском Калугой Тулой Тверью Новгородом Тамбовом. Огонь надвигался на них с Востока, поднимался с Уральских гор: азиаты сознательно пожертвовали землями, про-

стирающимися перед ними, рассчитывая, что пришельцы с Запада будут сметены волной беженцев и что огненная стена переместится в Европу — на Балканы, в Польшу, Прибалтику. Этого нельзя было допустить.

И как бежал огонь в направлении от Урала, точно так же через пять дней он побежал в обратную сторону: от Херсона через Полтаву, от Могилева и Пскова — к Валдайской возвышенности.

На многометровой глубине солдаты пробивали штольни, одну за другой. Машины-блоки вбуривались, раздирали землю на части, по всему фронту от зеленого Ладожского озера до Мертвого моря. Словно гигантская борона вгрызалась, наклонив голову, в грунт. Там, внизу, блоки исторгали из себя взрывчатые вещества газы соли. Блоки над ними разрыхляли почву, перемешивали ее с газами солями, пропитывали жаром. Выброшенная вверх в результате громоподобного взрыва, земля дымилась кровоточила огнем; в воздухе, брызгая слюной, пожирала саму себя, возносясь к небесам в виде чадного дыма. Яркие снопы пламени, снопы-колонны, выскакивали из оголенной теперь земли, горели на немыслимой высоте за завесой из черных хлопьев, вспыхивали белым зеленым. Языки пламени — близко один к другому, как зубья гигантской бороны, — торчали над лугами пашнями, между деревнями проселочными дорогами, от Мертвого моря до Ладожского озера, от Херсона Полтавы до Могилева Пскова Валдая. Освещая, днем и ночью, все то же затянутое тучами небо, сотрясая его ударами, заставляя отзываться громами и контргромами. Людей дома камни холмы животных деревья, все без изъятья, — расшвыривая подхватывая подбрасывая вверх стряхивая обратно; речные долины — расчленяя, засыпая обломками. Оно — это странствующее чудище, с каждой минутой придвигающееся все ближе, отплевывающееся чадным дымом, осыпающееся черными хлопьями, наслаждающееся невыносимой жарой — заставляло трескаться ложа озер и рек. В трясинах разбрызгивало фонтаны искр; в болотистых местностях по его вине лопались, подкинутые взрывной волной в воздух, камышовые жабы, хитрые саламандры. Лягушки в камышах пригибались, почуяв дым, ползущий над поверхностью топи. Вокруг все трещало. Когда они отпрыгивали назад, их что-то поднимало с земли, вместе с комьями грязи под колбовидными пальцами, переворачивало, а затем... — ядовитая дымка, сухой огонь, зеленые зловонные кочки, о которые разбивались их тела.

Та же борона — над Волынью и Бугом. Сельское население бежало на юг: через Екатеринослав — к морю, в Крым. Борона впилась своими зубьями в Днепр. Могучая река вышла из берегов, устремилась на восток на запад; затопила, пенясь и шумя, освежеванную равнину, клубящиеся испарениями болота. Реки ручьи озера, лишившись прежних оправ, выплеснулись на новые для них земли, увлекая за собой глину болотный ил. За бороной перемещались: трубы газогенераторы солемешалки, нагнетающие жар автоматы. Понятно, что фыркающая горнопроходческая машина увлекала их за собой, а когда запасы взрывчатых веществ кончались, она — покоящаяся под вибрирующим воздухом, освобожденная теперь от груза земли, рассеявшейся в дыму и гуле пожара — легко находила для себя новую пищу. Упиралась пронзала всверливалась в промежутки между земляными массами, прокладывала себе путь — с помощью газов взрывчатки жара пепла — сквозь горы древесные корни фундаменты городов, *сквозь* них или *под* ними.

Иссиня-черные клубы дыма, низко нависшие, тянулись в Польшу Галицию Румынию, где вся листва почернела, скотина околевала, а жители подались на Запад. Восток опустел, зеленая река пенилась на месте смытого почвенного слоя. Под водой сотрясала землю, вбуравливалась в нее горнопроходческая машина — и дергала, дергала. Мутная водная стихия толчками продвигалась к востоку. Взрывы вспарывали землю, вода устремлялась в трещины. Бушевали пожары; а в промежутках шумели пенистые потоки.

В теплой изобильной Таврии появились полки английских солдат армии "Б". Их доставили на судах с юга, через Босфорский пролив и по Черному морю. Черное море было почти сплошь покрыто тысячами парусников лодок грузовых пароходов. Между ними болтались плоты. Близ северного побережья — табуны плывущих захлебывающихся лошадей. С Азовского и Мертвого морей, с Кавказа, из самого Крыма стекались сюда человеческие массы, перемешивались, заполняли берег. Казаки киргизы славяне, крестьяне и попы, мужчины женщины дети — все они смотрели на сине-черную воду, обрушивались в нее. Земля под их ногами, песок трава, уже были у них отняты — жуткими свистящими полчищами мигрирующих тушканчиков. Ночью и днем людям приходилось отбиваться от волков и лисиц, которые бежали следом, а иногда прямо посреди человеческих толп, и жирели, питаясь умирающими.

Содрогаясь от ужаса и не умея его преодолеть, только что прибывшие солдаты, отдав свои корабли беженцам, пробивались на север, чтобы занять рубеж от Херсона до Таганрога. Их постоянно разъединяли то полчища тушканчиков, нападавших на них, то стаи взбесившихся волков, а под конец — толпы мигрантов, которые, когда пожар подступил вплотную, по сути, сами превратились в зверей. Беженцы вступили с солдатами в борьбу не на жизнь, а на смерть: они остались без пищи, их переполняли страх обида ненависть. Войска, плохо вооруженные, были разгромлены. Но вслед за ними из изобильной людьми Западной империи пришли новые солдаты и проложили-таки себе путь, хотя тоже едва не погибли. Они намеревались, наступая между Херсоном и Таганрогом по еще невредимой полосе между обеими линиями огня, остановить надвигающийся с Урала пожар. В Лондоне опасались, что после затопления всей равнины между Уралом и Западной Двиной не останется больше возможности для наступления по суше; тогда как континентальные массы рвались к новым сражениям и победам. Желательно было сохранить какую-то территорию между восточной и западной пустынями, между землями затопленными и другими, задушенными дымом пожаров, — в качестве арены для будущих боев. Но войска группы "Б" получили в качестве подкрепления слишком мало технических отрядов: командование считало возложенную на них задачу почти безнадежной. Дерзкие попытки подвести штольни вплотную к уральскому огненному валу — в то время как и западный вал продолжал выдыхать газы, приостанавливающие химические реакции, выбрасывать растворяющие и замораживающие соли — удались лишь в немногих местах. Дело в том, что скорость продвижения орд беженцев под конец стала неслыханной, бешеной. Русский мир животных и людей — напирающий с востока и с севера, стискиваемый на западе, тонущий голодающий сгорающий в пламени пожаров, — как правило, препятствовал прокладке противоштолен, разрушал с трудом проложенные трубопроводы и кабели. У местных жителей, пока сохранявших силы, неприязнь к выходцам с Запада соединилась с отчаянием, с отвращением ко всему человеческому и вообще живому. Волна варваров и каннибалов катилась к югу. Увлекая за собой заклиненные между дикими ордами западные боевые части.

Еще во время этого бегства, отбиваясь налево и направо, солдаты увидели, как западный огненный вал, оглушая взрывами и жарко пылая, поднялся и понесся — зеленый — навстречу валу восточному. Среди зеленых и желтых клубов

чадного дыма солдаты кричали так же, как славяне и сумрачные киргизы. Никто больше не различал, кто бежит рядом с ним. Сотни солдат сгорели, настигнутые сзади своим же огненным валом.

На линии Бердянск–Харьков–Орел–Калуга–Тверь ряды производящих взрывы машин соединились; теперь они долбили трещали лютовали все вместе, создавая единый огненный фронт. Грохотали-дрожали буры взрывные устройства газогенераторы нагреватели.

Толстый слой заиленной воды бурлил клокотал над ними. Они этот слой отравляли, доводили до кипения, заставляли разбухать разбрызгиваться, выбрасывали струями-колоннами над собой. Вода, шипя и пенясь, возвращалась обратно. Машины выходили из строя. Кабели рвались. Заряды понемногу иссякали.

В то время как от Урала – с его высокой северной вершины Тельпосиз, с гребня Ямантау, с горы Иремель – распространялся огонь, посланный азиатами, которые, миновав бесконечные пространства тайги, поднялись к этим стратегическим точкам по изрезанному ущельями восточному склону, *на Западе* воды океана бороздили газоходы, гигантские лодки, суда на воздушных подушках, отчалившие от берегов Англии и Ирландии, из Бискайского залива, от островов Зеленого мыса, от побережья Гвинеи. Они пересекали Атлантический океан Карибское море и затем, пройдя через Панамский канал, расходились вдоль протяженного западного побережья американского континента, на юг и на север, чтобы оттуда, с Запада, нанести азиатам предупреждающий удар. К ним присоединились американские эскадры. Подводные лодки и газоходы – движущиеся широким фронтом, чтобы прикрыть с флангов неуклюжие вспомогательные суда, и окруженные целыми роями катеров разведки и контрразведки, – взрезали воды великого Тихого океана, гудели, проплывая мимо Гаваев, архипелага Туамоту, островов Тубуаи; протягивали южный фронт до Новой Зеландии, укрепляли свои позиции на севере, на рубеже от Новой Гвинеи до Камчатки.

И тут они оказались в волшебном море. Им пришлось столкнуться с тревожными фактами, которые они объясняли промахами капитанов или маневрами своего командования, желающего обмануть противника. Подводные лодки надводные суда вдруг ускоряли темп, двигались быстрее, потом на бешеной скорости, потом меняли направление, внезапно застопоривались, останавливались. Такое случалось время от

времени то тут то там — на гигантском фронте, который постепенно продвигался вперед, укладываясь поясом вдоль восточного побережья азиатского континента. Все начиналось с внезапного толчка и остановки отдельного судна. Корабли как бы застревали в воде, винты без толку вращались взад и вперед, корпуса вздыблювались, но не могли сдвинуться с места. Потом суда эти словно от чего-то освобождались и быстрее, чем прежде, мчались преследовали противника, неслись на немыслимой скорости, под водой или по вспененной поверхности, но внезапно осознавали: они не могут остановиться, они куда-то обрушиваются, над ними довлеет какая-то сила. Их тянет, дергает вперед *что-то*. Притягивающее... или засасывающее, засасывающее... Обезумевшие корабли, уже не привязанные к воде, не приводимые в движение мотором, спотыкались, как пьяные, на водной глади, наклоняли борта, кренились, чуть ли не опрокидывались: их будто волоком волокло вперед... До тех пор пока они не замечали белую/черную массу, на которую летели, которая их околдовывала, которая и сама летела им навстречу: белая/черная банка, стремительно, как и они, пересекающая пенные волны; нет, железный корабль, сталкивающийся с ними нос к носу, шумно с ними обручающийся, с грохотом — теперь в одной с ними связке — распадающийся уходящий на дно.

Эскадра филиппинцев приближалась к острову Минданао. Было отчетливо видно, как с востока движется эта группа вражеских плоскодонных судов. Западные специалисты сразу же парализовали моторы азиатской эскадры; плоскодонные суда застыли поблизости от берега — неподвижные, как шеренга солдат. Словно всадники, гордо вздыбившие коней, устремилась на них белая эскадра, построенная клином. Волны перекатывались, празднично пенясь. Внезапно самый первый корабль — острие клина — обрушился. Он будто *подломился* и уже не выпрямился, упал в пустоту. Подоспели ближайшие корабли — и тоже *подломились*, их палубы ушли под воду. Они исчезли, будто провалились в какие-то океанские дыры. Как если бы они были лошадьми, которым подрезали коленные сухожилия, и лошади эти, упав на брюхо, исчезли. Один корабль за другим... У берега — желтая эскадра. Клин белых продолжал атаку. Но воду будто кто-то выдергивал из-под судов. Корабль проваливался в *трещину между волнами*. Эта трещина, или воронка, постепенно расширялась, принимая круглую форму. Корабль, пошатнувшийся-обрушившийся, оказывался на дне водной пропасти, а сверху его захле-

стывали волны; корабль оказывался *погребенным*: ибо воды над ним смыкались, бурно всплескивали и снова разглаживались.

У судов будто вырывали из-под киля катящееся море. Они обрушивались в пустоту, в мерцании дальних дымовых труб, и больше не всплывали. Команды пока еще невредимых судов оторопели. Пока капитаны колебались, не зная, что делать дальше, на море, справа и слева, образовывались все новые трещины. Кораблям приходилось пробираться меж бушующих бездн. То один, то другой из них проваливался. Лишь немногие спаслись, *рванувшись назад.*

По Америке распространялись вести с европейского континента. Американцы пристально следили за ходом огненной войны на Урале. И беспокоились о своих эскадрах. Командование обсуждало меры, которые стоило бы принять против резко усиливающихся упаднических настроений в гарнизонах, когда в Ньюйорке получили распоряжения из Лондона: вернуть корабли и впредь ограничиться защитой своего побережья. Суда обратились в бегство, широкой линией пересекли Тихий океан. Они остановились у восточного побережья Америки; азиатские авиаэскадрильи зависли над берегом, чего-то выжидая. Западные политики были этому только рады: теперь они могли предложить недовольным американским гарнизонам настоящее дело. Желтолицые летали; им позволяли приблизиться. И точно так же как азиаты выдергивали море из-под килей западных кораблей, американцы теперь задумали отнять у противника воздух. По ночам они стали пускать ракеты с кораблей белых эскадр, расположившихся в прибрежных водах. Они нащупывали локаторами маленькие летательные аппараты, которые легко покачивались в воздухе под защитой своего оборонительного оружия, и парящие бастионы — грузовые воздушные суда, такого же размера, как вспомогательные суда белых. *Венок ракет* поднимал в воздух черную качающуюся гирлянду цепей. Когда ракеты вспыхивали, раздавались глухие удары: это взрывались подвешенные на цепях ураганные бомбы. Они взрывались поэтапно, сверху вниз, отбрасывая воздух в стороны; с каждым взрывным ударом, следовавшим через секунду после предыдущего, слои воздуха расщеплялись отталкивались. Как пловец, который стоит на пружинящем трамплинном мостике, сгибает колени и готовится к гордому прыжку (но тут доска трещит, он, зашатавшись, падает, переворачивается в воздухе, хватается руками за пустоту и наконец со стоном шлепается животом на взбрызгивающую вод-

ную поверхность), — точно так же у висящих в небе летательных аппаратов желтолицых, готовых к прыжку-броску, *подкашивались ноги.* Беспомощные, не понимающие, что с ними происходит, они летели вниз, кружась вокруг собственной оси в темном бурлящем воздушном потоке, и падали в море — как тот пловец с открытым ртом, со скрюченными пальцами, которому мнится, будто он видит кошмарный сон, и который еще на что-то надеется.

Летательные аппараты азиатов, отступив, днем стали собираться, как во́роны, на Панамском заливе. Ночью же кишели над Рио-Чагрес, от бухты Лимон до Панамы. И чуть ли не каждую минуту меняли высоту; тем временем суда белой эскадры вошли в шлюзы у городков Мирафлорес и Педро Мигель. С помощью яростных ураганных бомб еще удавалось выдирать отдельных особей из желтого стана; но оставшиеся сбивались еще теснее — и потом разлетались в разные стороны. Порознь они даже отваживались садиться на воду и концентрировались то в Колоне, конечном пункте канала, то возле первого шлюза. А то вдруг "вороны" целыми стаями опускались на цепи холмов, откуда могли наблюдать за проплывающими судами. Эти птицы сидели, казалось, абсолютно неподвижно — и справа, и слева. Западные корабли между тем поспешно проходили через шлюзы, проплывали мимо Параизо Сан-Пабло Сольдадо... Итак: белые беззаботно проплывали мимо Бахио-Сольдадо, возле Колона покидали канал, собирались в бухте Лимон, ждали своих. Одно судно за другим проходило через шлюзы. Но вновь прибывшие, к своему изумлению, не слышали никакого сигнала от тех, кто их тут ждал. Ждали их *немые* корабли; таких становилось все больше. Новоприбывшие думали, что у других кораблей сломались машины — и подплывали к ним на шлюпках или перелетали на вертолетах. И когда они поднимались на борт другого судна или приземлялись на его палубу, там лежали или ходили... смеющиеся люди. Их встречали раскатами хохота. На мачтах или перегнувшись через борт висели моряки; их товарищи лежали, раскинувшись, на палубах — спали, сопели. Некоторые махали руками, прыгали, подобрав живот, будто взбудораженные ужасной щекоткой; во всю глотку извергали свой смех; пританцовывали на цыпочках. Некоторые стояли, прислонившись к мачте: уронив голову на грудь и вжавшись спиной в дерево. Их туловища раскачивались в такт движениям судна. Они ухмылялись в сладком оцепенении, поигрывали пальцами, сучили ногами, садились-опрокидывались, лежали-фыркали. Но большинство

мужчин и женщин спали, в каком-то безумном блаженстве. Прибывшие на шлюпках подходили к ним, им удавалось растолкать впавших в летаргический сон; те с трудом разлепляли веки: налитые кровью глаза, с лопнувшими сосудиками; распухшее лицо нелепо кривится в доверчивой ухмылке. Хихиканье клокотание хрюканье из слюнявых широко раззявленных ртов; вскоре разбуженные снова мягко заваливались на бок. Люди, их растолкавшие, недолго бродили по палубе: они сами чувствовали потребность остановиться, ухмыльнуться, зевнуть, беспричинно улыбнуться; начинали чихать хихикать, а потом и смеяться – до боли в грудине. Они снова и снова заливисто смеялись; кашляли, вытряхивая легкие; ощущали себя счастливыми... усталыми... еще более усталыми... Некоторые находили силы, чтобы вернуться на свой корабль, но и там уже начиналось хихиканье... Через морской пролив полетели сообщения. А на холмах вокруг канала по-прежнему сидели "вороны", время от времени меняя место. Белые эскадрильи бросились на них. "Вороны" в дикой сумятице кружили высоко в небе, уклоняясь от ураганных бомб. И тут заработала энергостанция Картахены. Летательные аппараты желтолицых попали в зону действия ее электрического огня, в искрящееся переплетение волн. Невидимая буря настигла их, разметала в разные стороны. Под напором насыщенных током воздушных масс аппараты вели себя, как животные в брачный период. Они качались дрожали поднимались выше спускались ниже, вдруг будто срывались с привязи, судорожно подскакивали. Они, испытывая бортовую качку, кидались куда-то вертелись, их пропеллеры работали вхолостую. Они *попались*, как мухи попадаются в паутину. Желтолицие выключили моторы, но каждый летательный аппарат лишь слегка нырял в облака, потом зависал в воздухе, потом даже поднимался... поднимался... Удивительное зрелище, если смотреть снизу: машины, неподвижно застывшие в воздухе, как если бы они лежали на морском дне. Наблюдатели видели, что некоторые моторы работают, а другие – нет. С излучением искусственной бури моторы справиться не могли. Авиаторы, несмотря на многочасовые усилия и огромное внутреннее напряжение, так и не сумели обрушить в море свои тяжелые, нагруженные приборами летательные аппараты. Только несколько пилотов догадались расстегнуть страховочные ремни, сбросили одежду и, обнаженные, выпрыгнули из самолетов, которые тут же, качнувшись, взмыли вверх. Все остальные безвольно болтались в своих стальных коробках. Поднимались толчками выше и выше, в зону падающих хлопьев пепла; внезапно ощущали

воздействие неведомой силы, которая бросала их на несколько километров вперед... — и в итоге летательные аппараты оказывались продырявленными, разъеденными, охваченными язычками белого пламени, распавшимися.

ИЗ РУМЫНИИ Польши Германии *наблюдатели* ехали на Восток. А по Атлантическому океану возвращались потрепанные эскадры. Многие корабли погибли уже на подходе к родному берегу: близ Антильских, Багамских островов. Дело в том, что глубокое разочарование побудило их остановиться. Им не хотелось ни на Старый континент, ни в Америку. И близ островов случались стычки между частями эскадры, или один корабль сражался с другим.

Тем временем *наблюдатели* — лазутчики — исследовали западную границу зоны опустошения. Они использовали летательные аппараты, ходили пешком, плавали на лодках. Необозримое затопленное пространство. Уравнивание ландшафтов. Куда подевались леса и луга, зеленые листья и травы колосья цветы, бегающие животные, поющие птицы? Черно-бурые с прозеленью озера, на поверхности которых плавают расщепленные деревья с кронами и корнями, части звериных и человеческих тел, под воздействием ядовитых веществ приобретшие красноватую или розовую окраску. Желтые обгоревшие сломанные кровати лопаты санные полозья, различимые в плотном слое мусора, покрывающем водную гладь, или сваленные в огромные кучи на болотистом берегу; островерхие конусы; сплющенные многокилометровые пирамиды — вот все, что осталось от городов и поселков. Единая вымостка: каменные блоки остатки домов глина железный лом колеса оконные ставни. Вокруг Харькова и Курска — широкий кратер черной земли, беспорядочные груды камней. Запахана перевернута тонко перемолота почва: она *отдыхает*, из нее не выбивается ни один стебелек, по ней не ползет червяк, не бежит муравей. Гряды холмов на западном берегу Волги, в ее нижнем течении, некогда отчетливо выраженные, теперь сглажены бороной горнопроходческой машины; Волга, на востоке текущая многие мили по бывшей киргизской земле, как через решето выплескивается *на запад*, на низко лежащие земли. Стенки решета раскрошились — и Волга прорвалась.

Через Волгу никто из лазутчиков не переправлялся. Многие из них погибли, ибо пренебрегли правилами осторожности. Группа за группой возвращались эти люди назад, отягощенные непонятной душевной болью. Мрачные, ибо в

восточные города они попада́ли... как метеоры, которые, падая, отдают свой огонь.

Английские и континентальные города-государства к концу войны осуществили то, что хотели: отбросили *от себя* массы своего же населения — в непомерно разросшуюся армию "Б", которая подверглась немилосердному истреблению. Правительства инсценировали мнимые азиатские атаки, используя для этого множество летательных аппаратов, посылали тысячи беззащитных людей на невозделанные поля Румынии и Польши. Новое оружие испытывали на живых объектах. На десять летательных аппаратов желтолицых, которые под Панамой были сбиты ураганными бомбами и ракетами, пришлись сотни тысяч белых авиаторов, погибших от этих же ураганных бомб. Жесткой и не склонной к колебаниям была диктатура отчаявшихся правящих элит. К тому времени, когда от Мертвого моря до Ладожского озера, через Херсон Полтаву Могилев Псков Валдай, пролег взрывной горнопроходческий пояс (параллельно такому же азиатскому), подобные пояса уже неоднократно опробовались: пересекали землю Валахии[1], долину реки По, Вестфалию, Уэльс, отравляя газами и уничтожая посредством взрывов целые полки ненужных солдат.

И вдруг на неисчерпаемо изобретательные в отношении новых игр города обрушились подлинные известия о войне. Лазутчики, источающие мрачные настроения, растворились среди человеческих масс. В Лондоне, английских и континентальных градшафтах открыто заявила о себе диктатура. В Лондоне дело обошлось вообще без борьбы. Раллиньон и его боевые части, нанеся всего два или три удара, овладели всеми пищевыми и оружейными фабриками Парижа Лилля Шалона Орлеана. Вышинская, при прохождении через шлюзы Панамского канала пострадавшая от японских нервно-паралитических лучей, относилась к немногим тогдашним жертвам, которые после недолгого кризиса выздоровели. Она сохранила и ум, и волю, но ноги теперь вяло висели в инвалидной коляске; ее все еще напряженное, сияющее лицо, властный глубокий голос привлекали людей, и ей удалось у себя в регионе сломить сопротивление колеблющегося сената, забрать в свои руки фабрики и оружие.

Над всеми ожидающими перемен, полнящимися гулом городами в этот момент явил себя лик мертвых ландшафтов.

1. Валахия — область на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем.

Неприкрыто явил он себя. Ни у кого не было желания что-то скрывать. О поражении ничего не сообщалось. Настораживало, однако, вот что: в повседневной жизни *ничто не изменилось*. Молодежь, мужчины и женщины, вожди — перед войной — поднимали знамена, кричали о своей непобедимости. Пламя, земное, зажатое в человеческих ладонях, достигающее небесных светил: да вот же оно, на русской равнине, от Урала до Валдайской возвышенности. Земля растерзана, реки иссякли, люди деревья животные истреблены. Кошмарная мертвая земля. Все это было работой юношей со знаменами. Это они умели. В этом и заключалась тайна их аппаратов, тайна запертых в подземелье чудодейственных природных сил. Вернувшиеся моряки подтвердили: то, что ученые сообщали о воздушных и водяных ураганных бомбах, о генераторах коротковолнового и длинноволнового излучения, об огнеметах, — не сказка. Но эти орудия не принесли ничего хорошего. Люди, как и прежде, слонялись по городам, наслаждались цветниками в теплицах, развлекались азартными играми, смотрели цирковые представления. К чему же тогда новые орудия? *Несостоятельными* оказались те юноши, те дамы и господа. *Смехотворными* — их знамена. Они умеют лишь терзать землю, отравлять города. Стоит им захотеть, они могли бы разрушить и свой, западный мир.

Лазутчики возвращались с Востока в свои города. Массы спокойно впускали их в себя. Но у вернувшихся были такие глаза, такие лица... они разговаривали сами с собой, как помешанные, кричали вскидывали руки, прикрывали ими глаза... Эти ландшафты, эти вырванные из своих русел гигантские реки. Леса пашни кишение животных и людей: все прочь. Были города, где таких вестников убивали, в припадке беспомощной самоистребительной ярости, потому что вестники пробуждали в слушателях неприятные чувства. Многие вестники были настолько погружены в себя, в прежний привычный образ жизни и игры, расслаблены (как и сами массы), опустошены отвращением и страхом, что могли только бродить по улицам и плакать. Как если бы их наказали и потому они жалуются, призывают к покаянию, рассказывают о своем несчастье — с таким видом поднимались они на подмостки, заходили в залы и ратуши, обращали к людям свой зов. Так стенал герой из древней поэмы, у которого убили любимого друга, а над телом надругались, бесстыдно его обнажив. То был остаток крика звериных и человеческих орд, бежавших от огненной стены, которая надвигалась с Урала; тысяч людей с Азовского и Мертвого морей, стиснутых в единую

толпу; тех казаков киргизов славян, крестьян женщин, которые смотрели на иссиня-черную поверхность моря – в то время как землю у них из-под ног вырывали мигрирующие мелкие твари, а за их спиной, треща-пламенея, катилась, придвигаясь все ближе, огненная стена. И сейчас угрюмые раскормленные массы сами себя стряхивали в муку потерянности. Так вулкан счастливо неистовствует безумствует, насмешничая и блаженствуя, потому что внутри него поднимаются разрушительные силы – раскаленная лава, от которой он освобождается, которую широким потоком изливает на землю. Градшафты тоже могли бы сжечь своих правителей; они хотели на этих правителей излиться, им отомстить. И там, где города не управлялись сильными сенатами, с быстротой беглого огня вспыхивали мятежи, разрушались магистрали и фабрики.

Несмотря на все эти события, мир между Западным Кругом народов и азиатами заключен не был. *Не произошло ничего.* Война просто сдохла – как животное, которому перерубили топором шейный позвонок.

Государства задыхались. Каждый градшафт боролся за свое существование.

Роже Витрак

Виктор, или Дети у власти

Пьеса

Перевод с французского и вступление Татьяны Чугуновой

Быть или не быть? — именно такой вопрос стоит перед героем пьесы Роже Витрака (1899—1952) "Виктор, или Дети у власти", которую французская критика ставит в один ряд с "Царем Эдипом" и "Гамлетом". Современный Гамлет, представитель трагического поколения, чье существование пришлось на период между двумя мировыми войнами, провидит уготованное ему и его сверстникам: погибнуть на фронте, быть искалеченным ипритом, не познать любви... Виктор — один из тех, кому предстоит умереть в грядущей войне.

Пьеса была написана в 1927 году, к этому времени Витрак уже отошел от сюрреализма и дадаизма, и начался его разрыв с другом и соратником Андре Бретоном, теоретиком и основоположником сюрреализма. Пути Витрака и сюрреалистов разошлись окончательно к 1930 году, когда вместе с Р. Десносом, Ж. Бароном, Ж. Лимбургом, Ж. Рибмон-Дессенем он написал памфлет "Труп", направленный против мэтра.

Однако парадоксальным образом пьесы ("Тайны любви", "Трафальгарский удар" и другие) и сборник стихов ("Познание смерти") Витрака сохранили с этим литературно-художественным направлением глубокую

© Editions Gallimard, 1946
© Татьяна Чугунова. Перевод, вступление, 2010
Печатается с небольшими сокращениями.
Пьеса войдет в сборник пьес Роже Витрака, который готовится в издательстве "Прогресс-Традиция".

связь, несмотря на то что сюрреалисты резко неприязненно воспринимали театр как таковой. Пьеса "Виктор, или Дети у власти", по отзывам критиков, — шедевр сюрреалистического театра и предвестник театра 50-х годов, предтеча пьес Ионеско. По сути, это уже театр абсурда.

Пьеса неоднократно ставилась на подмостках лучших французских театров и считается классикой французского репертуара. Это провокационная социальная сатира, показывающая состояние общества между двумя мировыми войнами, трагический фарс, наполненный смертью, безумием, вкусом пепла. Война на заднем плане действия, но порой исподволь, а иногда и вполне решительно вмешивается в него: военные стихи, песенки, считалки, образ смерти — отвратительной Иды Мортемар, выпускающей газы (иприт Первой мировой!), генерал-реваншист, мечтающий отвоевать Эльзас и Лотарингию (кстати, претензия Франции на эти территории — одна из причин ее вступления в Первую мировую войну), рассказ о знаменитом генерале Базене, игра в лошадку, символизирующая отправку на фронт...

Надо сказать, что тема войны чрезвычайно важна для Витрака. В другой его пьесе "Трафальгарский удар" (1933) главный герой, Аркад, ведет речь о "войне тысяча-девятьсот-какой-то-более-поздней": "Разрушение будет всеобщим и молниеносным. Дворцы, заводы, мужчины, женщины, дети — мы все это автоматически превратим в чистый бодрящий воздух..." Здесь уже возникает тень фашизма, ощущение неминуемости катастрофы.

Само название пьесы "Виктор, или Дети у власти" вызывает ассоциации с тем, чего не мог знать Витрак, но что стало неотъемлемой частью истории Франции: 1968 год, когда "дети", молодежь устроили в стране примерно то же, что устроил Виктор в родительском доме. Такие провидения заставляют задуматься: что это — способность самого Витрака заглянуть вперед, какое-то его личное качество, или гениальность сюрреалистического метода, с помощью невероятных над-реальных обобщений и вживаний способного познавать и предсказывать будущее?

Действующие лица

Виктор, мальчик 9-ти лет.
Шарль Помель, его отец.
Эмили Помель, его мать.
Лили, их горничная.
Эстер, девочка 6-ти лет.
Антуан Маньо, ее отец.
Тереза Маньо, ее мать.

Мария, их горничная.
Генерал Этьен Лонсегюр.
Г-жа Ида Мортемар.
Знатная дама, немой персонаж.
Доктор.

Действие происходит в Париже 12 сентября 1909 года, в квартире Помелей, с 8 часов вечера до полуночи.

Акт I

Сцена I

Столовая. Лили накрывает на стол; Виктор следует за ней по пятам.

Виктор. Благословен будь плод твоих чресел.

Лили. Следует говорить: плод твоего чрева.

Виктор. Может и так, но это слишком приземленно.

Лили. Довольно, Виктор! Я сыта по горло твоими разглагольствованиями. Ты вынуждаешь меня говорить глупости.

Виктор. Все потому, что ты старая кляча.

Лили. Твоя мать...

Виктор. Слишком добра.

Лили. А ну как она услышит...

Виктор. А что такого? Я говорю, что она слишком добра. Добра, добра, добра.

Лили. Я ведь не шучу.

Виктор. Мне что, не разрешено любить свою мать?

Лили. Виктор, тебе сегодня исполняется девять лет. Ты уже взрослый, ну или почти взрослый.

Виктор. Так что на следующий год стану мужчиной? Ты это хотела сказать?

Лили. Будь благоразумным.

Виктор. О да, я смогу благоразумно обращаться с тобой как со шлюхой.

Она дает ему пощечину.

Если только ты согласишься...

Она дает ему еще одну пощечину.

...сделать для меня то, что делаешь для других.

Она дает ему третью пощечину.

Лили. Сопляк!

Виктор. Только попробуй отрицать, что ты спала с моим отцом!

Лили. Поди вон, не то я тебя задушу!

Виктор. Ах ты моя милашка! Ах ты моя киска!

Лили. Сей возраст жалости не знает[1].

Виктор. Это трижды твой возраст, Лили...

Лили. Молчи, умоляю тебя, молчи!

Виктор (*беря со стола рюмку*). Видишь эту рюмку, Лили?

Лили. Да, и что?

Виктор. Это хрусталь баккара. Незамеченным не пройдет. Моя мать повторяет это всякий раз, устраивая прием. Рюмка уникальная, поскольку является частью уникального сервиза. А значит недешевая. Мне бы с этого начать. Слушай меня внимательно. Мне девять лет. До сих пор я был паинькой. Не делал ничего, что запрещали. Мой отец без конца повторяет: это образцовый ребенок, не доставляет никаких забот, заслуживает всяческих похвал, ради него мы готовы на любые жертвы. Моя мать добавляет, что готова отдать мне последние капли крови. Я же считаю необходимым поставить тебя сегодня, двенадцатого сентября, в известность: я не стану дожидаться целый год, чтобы стать мужчиной, но это ничего не означает, просто я решился стать кем-то...

Лили. Нет, вы только послушайте, что он несет!

Виктор. Да, кем-то! Кем-то другим, черт подери!

Лили. Если бы только кто-нибудь услышал это!

1. Ж. де Лафонтен. Два голубя (переложение И. Крылова). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Виктор. Хрустальная рюмка все еще в моей нетвердой руке. Что более ненадежно: рука или рюмка?

Лили. Виктор! Ты же не разобьешь эту рюмку?!

Виктор. Если она упадет и разобьется, семья Помелей, чьим последним отпрыском я являюсь, потеряет три тысячи франков.

Лили. Сейчас разобьет.

Виктор. Успокойся, я не стану ее бить. (*Ставит рюмку на место.*) Не стану ее бить. Лучше разобью вон ту громоздкую вазу. (*Сталкивает с консоли большую вазу севрского фарфора. Ваза падает и разбивается.*) Десяти тысяч франков из моего наследства как не бывало.

Лили. Да он спятил. Ты сошел с ума, Виктор! Такая красивая ваза!

Виктор. Такое красивое яйцо. А вот лошади что-то не видать. А ты видела лошадь? (*Детским голоском.*) Что это такое, папа? (*Сюсюкает.*) А это яйцо — коко лошадки — дада. Коко дада.

Лили. Никакого уважения! Думаете, ему совестно? Нисколько. Стоит мне только подумать, что ты сделал это нарочно!

Виктор. Я? Что я там еще натворил?

Лили. Не строй из себя дурачка. (*Подражая ему.*) Что я там еще натворил?

Виктор. Лили, кажется, ты разбила большую севрскую вазу.

Лили. Что? Ты смеешь обвинять меня в том, что совершил сам, причем намеренно и прямо на моих глазах?

Виктор. Да.

Лили. Я скажу, что это ты сделал.

Виктор. Кто тебе поверит?

Лили. Мне не поверят?

Виктор. Нет.

Лили. Это почему?

Виктор. Увидишь...

Лили. Я бы хотела знать почему?

Виктор. Сама узнаешь...

Лили. Но это же ужасно! Отвратительно! Я не сделала тебе ничего плохого, мой маленький Виктор! Разве я не была всегда добра к тебе, разве не ограждала...

Виктор. Ни от чего и никогда.

Лили. Царица небесная! Что с ним? Что с тобой?

Виктор. Мне девять лет. У меня есть отец, мать, горничная. Есть пароходик, который работает на бензине, стреляет из пушки и возвращается в то место, откуда вышел. Есть личная зубная щетка красного цвета. У отца — голубая. У матери — белая[1]. Есть пожарная каска и другие пожарные принадлежности: медаль за спасение, лакированный ремешок и топорик. Что у меня еще есть? Зверский аппетит. Нос правильной формы, беззащитный взгляд, неумелые руки... оттого, что я еще мал. Сберегательная книжка, на которую дядя Октав положил пятифранковый билет в день моих крестин, вместе с самой книжкой и маркой это ему стоило семь франков. В четыре года я переболел краснухой, и, если бы не доктор Рибиор, меня бы уже на свете не было. А в общем я здоров. У меня хорошее зрение и с головой порядок, благодаря чему я и утверждаю, что видел, как ты, без всяких на то причин, совершила достойный сожаления поступок. Семья даст этому оценку.

Лили (*жалобно*). Ты не вправе так поступать. Это дурно. Если ты не трус, ты признаешься. Так делают честные мальчики.

Виктор. Я не мальчик и не стану возводить на себя напраслину, потому что это ты разбила старую вазу.

Лили. Что ж, посмотрим.

Виктор. Ты мне угрожаешь? Послушай, Лили, я ведь могу еще одну вазу разбить.

Лили (*заливаясь слезами*). Что за напасть? Такой всегда покладистый, такой умненький мальчик, и на тебе! Что на него нашло? Кто мог так дурно повлиять на него?

Виктор. Тебе не понять. Не понять, потому как ты глупа, нерасторопна и порочна. Я ничего не придумываю. Как

1. Красный, голубой, белый — цвета французского флага.

только моя мать увидит, какой ущерб нанесен семье, она призовет тебя к ответу, и я уверен, ты еще так перетрусишь, что станешь перед ней извиняться и лебезить, словно наименьшее из оскорблений не стоит в тысячу раз дороже, чем большое лошадиное яйцо. Коко дада.

Лили. Он требует, чтобы я оскорбила его мать!

Виктор. Ну да, мою, ты же не ее дочь!

Горничная разражается слезами.

Лили. Не понимаю. Ничего не понимаю.

Виктор. Поймешь скоро. Хоть я и не разбивал яйца, о котором идет речь...

Лили. О!

Виктор. Я мог бы взять вину на себя. Я охотно бы так и поступил, но мне не поверят.

Лили. Что?

Виктор. Мне не поверят, ведь я в жизни ничего не портил. Ни одного пианино, ни одной бутылочки с соской. Ты вот — другое дело, за тобой числятся и разбитые стенные часы, и чайник, и бутылка ореховой настойки, да мало ли чего еще. Если я признаюсь, отец скажет: "Дорогое дитя хочет спасти Лили". А мать: "Виктор, ты совершаешь добрый поступок, а вас, Лили, я вынуждена рассчитать". При гостях много тебя ругать не станут. Ничего не поделаешь, вазу-то разбила. Я бессилен. Раз я не могу быть виноватым, значит я и разбить ее не мог.

Лили. И все же она разбита.

Виктор. Да, натворила ты дел... (*Пауза.*) Я, конечно, мог бы сказать, что виновата лошадь...

Лили. Лошадь?

Виктор. Ну да, знаменитая лошадка — дада, которой предстояло вылупиться из огромного яйца — коко. Будь мне три года, я бы так и поступил, но мне девять, и я чертовски умен.

Лили. Ах, лучше бы я разбила рюмку...

Виктор. Я чертовски умен. (*Приближается к Лили, подражая голосу отца.*) Не плачьте, Лили, не плачьте, дорогая девочка.

Лили. Виктор! Да что с тобой?

Виктор (*не выходя из роли*). Умоляю, не плачьте. Госпожа хочет вас прогнать, но она здесь ничего не решает. Я в доме хозяин. К тому же госпожа меня обожает, правда, не так, как я вас. Я замолвлю за вас словечко и одержу верх. Клянусь. Дорогая Лили! (*Обнимает ее.*) Я вас спасу. Рассчитывайте на меня, на рассвете я лично явлюсь в вашу комнату с доброй вестью. Дорогой огненный ягненок! Вечерняя башня! Роза Давида. Пастушка звезды! (*Тут он подскакивает и, что есть мочи кричит, воздевая руки.*) Молитесь за нас, молитесь за нас, молитесь за нас! (*Затем разражается хохотом.*)

Лили (*про себя, возмущенно*). Нет, нет и нет. Уйду, уйду. Немедленно покину этот дом. Виктор лишился ума. Это уже не ребенок.

Виктор. Где вы видите детей? Да их и не было вовсе.

Лили (*продолжает свое*). Чертова семейка! Уйду. Теперь я и сама не прочь уйти. Хочу уйти и уйду. Ему еще только девять лет. Что же будет дальше!

Виктор. Я всегда держу слово, тебе нечего беспокоиться. Оставайся.

Лили. Нет уж.

Виктор (*снова входя в роль отца*). Ты останешься. Вы останетесь, дорогая Лили. Небесный образ. Кошачья головка. Лунный стебелек. Вы останетесь...

Лили. Хорошо, останусь! Хочешь меня шантажировать, подонок! Мерзавец! Я останусь, но ты мне за это заплатишь!

Виктор (*благосклонно ее обнимая*). Я на тебя не в обиде, Лили, не беспокойся, клянусь тебе... Я ведь чертовски умен. Жаль, что тебе первой приходится платить.

Лили в слезах уходит.

Сцена III

Виктор, Эстер.

Эстер. Здравствуй, Виктор. Желаю тебе хорошо отметить день рождения. (*Целует его.*) Послушай, Виктор, мне нужно тебе кое-что рассказать. Речь о твоем папе.

Виктор. А-а-а!

Эстер. Да, и о моей маме.

Виктор. О-о-о! О госпоже Маньо. Чертова Тереза!

Эстер. Ну, так вот. Мне сунули книжку, чтобы я не лезла. "Здравствуй, Шарль. Здравствуй, Тереза. Где наш дорогой Антуан?" А папа уже спал. Они сели на диван, и вот что я услышала. Мама говорила: "Ах, какие у нас кудрявшечки". А твой папа: "Резо, Резо, Резо". Мама: "Карло, я преклоняюсь перед тобой" или что-то в этом роде. Твой папа: "Тринадцать, немой купальщик". Мама: "А вдруг нагрянет Антуан?" Твой папа: "Меня спасла бы твоя шея". Мама: "Восхитительный горизонт". Твой папа: "Оставь этого розового спрута". Насчет спрута я уверена, остальное — приблизительно.

Виктор. Всё?

Эстер. Мама заплакала, а твой папа ушел, хлопнув дверью.

Виктор. И что дальше?

Эстер. Тут появился папа в ночной рубашке. Прошелся по гостиной со словами: "Мне неможется". Он всегда так говорит. "Мне тоже", — ответила мама. Он встал перед ней на колени. Мама дрожала. И он стал кричать, как все последние дни: "Телята стоят больше, чем ваши милые дети! Базен!" А поскольку доктор предписал не перечить ему, то все молча отправились спать.

Виктор (*встает и начинает говорить словно в бреду*). Ах, ну что за судьба. Меня попеременно испытывают то молотом, то наковальней, то пером, то паром, то любовью. Теперь вот любовью. И на всем на этом тяжелый отцовский сапог и головокружение от воспоминания о женщине. (*Декламирует.*)

...и молча проводил
Я взглядом Юнию. Потом в своем покое
Тот образ неземной я видел пред собою[1].

(*Громко провозглашает.*) А вот и они: Сорванец, Недостойный Отец, Добрая Мать, Прелюбодейка, Рогоносец, старик Базен. Да здравствуют ласточка, дрофа, райская птичка, попугай-какаду и зимородок. Да здравствуют про-

1. Ж. Расин. Британик. Акт II, сцена 1. Перевод Э. Линецкой.

бор во вьющихся волосах и электрический скат. (*Другим тоном, обращаясь к Эстер, которая слушает его с разинутым ртом и широко открытыми глазами.*) Да здравствует Антуан!

Эстер. Да здравствует папа! (*Разражается слезами.*)

Виктор. Ах, я дышу.

Эстер (*кричит*). Ты меня пугаешь. (*Снова плачет.*)

Входят Шарль и Эмили Помель и Тереза Маньо.

Сцена IV

Виктор, Эстер, Шарль Помель, Эмили Помель, Тереза Маньо.

Эмили Помель (*входя*). Шарль!

Шарль. Я здесь!

Эмили (*указывая на осколки вазы*). Севрский фарфор.

Шарль Помель и Тереза Маньо (*хором*). О!

Шарль. Виктор, кто ее разбил?

Эмили. Ты еще спрашиваешь? Это уж слишком. Где Лили?

Шарль. Это Лили разбила?

Виктор. Нет, Эстер!

Тереза. Ты разбила вазу, Эстер?

Виктор. Сами видите, она плачет...

Входит Лили с намерением сервировать стол.

Сцена V

Те же, Лили.

Виктор (*обращаясь к Лили*). Говорят, вазу разбила ты. Скажи правду: твоих рук дело?

Лили. Нет.

Виктор. Это Эстер. Я имел несчастье сказать ей, что это лошадиное яйцо, а когда повернулся спиной, она ее разбила, чтобы увидеть, как вылупляется жеребенок.

Эмили (*обращаясь к Шарлю*). Вот к чему приводят твои идиотские россказни!

Шарль. Но Виктор же никогда так не поступал...

Эмили. Виктор-то так не поступал оттого, что никогда не верил во всю эту чушь.

Лили выходит.

Сцена VI

Тереза. Эстер, поди сюда. Ты слышала, что я тебе сказала? Поди сюда. Хочешь, чтобы я сама к тебе подошла? Получай! (*Бьет ее по щекам.*)

Виктор. Простите, госпожа Маньо. Вы не забыли снять ваши кольца?

Шарль. Виктор! По какому праву ты вмешиваешься?

Эмили (*обращаясь к Терезе*). Мальчик боится, как бы вы своими драгоценностями не поранили Эстер.

Тереза (*смущенно*). Он прав, но эта негодница невыносима и заслуживает наказания, ведь эта ваза — раритет, дорого стоила, не так ли, моя дорогая?

Шарль. Господи, во всем этом больше всех виноват я, Тереза, позвольте мне взять на себя возмещение убытков.

Виктор. К тому же, несмотря на свои размеры, подобные предметы более хрупки, чем ваши кольца и серьги, не правда ли?

Эмили. Откуда что берется в этом ребенке? Мне такая постановка вопроса очень по душе. Не обижайтесь, Тереза. Я придерживаюсь того мнения, что следует поощрять развитие умственных способностей у детей.

Виктор. Эстер уже довольно наказана, сударыня, и я, по праву виновника торжества, прошу ее помиловать.

Шарль. Браво, Виктор. Тереза, обнимите дочь и больше об этом ни слова.

Эмили. Подойди ко мне, сынок. Держи, вот тебе десять франков.

Тереза (*на ухо Эстер*). Ты мне все же скажешь, зачем сделала это?

Эстер (*переставшая плакать*). Потому, что Виктору исполняется сегодня девять лет.

Тереза. Ну, тогда получай! (*Дает ей пощечину.*)

Все (*хором*). О!

Тереза. Извини, Виктор. Это моя последняя пощечина в этот вечер. Я ничего не могла поделать с собой.

Виктор отводит Эстер в уголок, и они тихо переговариваются о чем-то.

Шарль. Поговорим о чем-нибудь другом, не будем омрачать наш маленький праздник криками и плачем. А что, Антуан еще не пришел? Да и генерал запаздывает.

Тереза. Если бы Антуан не настоял на том, чтобы прийти, я охотно оставила бы его дома.

Эмили. О чем вы, Тереза? Оставить Антуана дома, одного? Но, моя дорогая, я бы очень огорчилась, а Виктор, который его обожает, обиделся бы на вас за это.

Тереза. Да, знаете, он такой скучный!

Эмили. Как так?

Шарль. Да, дорогая, Антуан не подарок. Он...

Тереза. Он сумасшедший.

Эмили. Сумасшедший?

Тереза. Увы!

Эмили. Но это же ужасно!

Шарль. Эмили, не делай вид, что ты ничего не знала. Тебе прекрасно известно, что Антуан подвержен приступам. Прежде они случались редко, но в последнее время участились. Тереза с каждым днем все больше тревожится по этому поводу. Она в отчаянии.

Тереза. Да.

Эмили. Ну-ну, Тереза, не отчаивайся так быстро, не стоит ни с того ни с сего терять голову.

Виктор (*прислушивается к разговору старших*). Да, ни с того ни с сего. (*Все поворачиваются к нему.*) Ни с того ни с сего. Наступает один прекрасный день, и он поднимает армии, как ветку с листьями. Целится в глаз. Самые прекрасные

женщины в окровавленных кружевах взяты в плен, реки стопорят свое течение, поднимаясь, как зачарованные змеи. Мужчина в окружении хищников целится в голову города, чьи дома выступают плотными, как артиллерийские ящики, рядами. Цветы меняют конфигурацию своих лепестков. Шерсть на баранах перестает завиваться и повисает клоками. Леса расступаются. Десять миллионов рук совокупляются с пернатыми. Что ни траектория, то смычок. Что ни предмет обстановки, то мелодия. Ни с того ни с сего. И все же он командует!

Присутствующие в изумлении уставились на Виктора.

Шарль. Виктор! Что с ним? Что с тобой?

Виктор. Мне что-то померещилось!

Эмили. Виктор... никогда не видела его таким. Тебе нездоровится? Отвечай. Дать тебе капель? Держи, это мелиссовая настойка на кусочке сахару.

Виктор (*расхохотавшись*). Что происходит? Вы говорили об Антуане, так ведь? Антуан должен прийти. Даже если он болен. Это ваши слова. А это моя мать. Стоит кому-то в ее присутствии заговорить о болезни, она всех вокруг себя начинает считать больными.

Шарль. Довольно шуток. Я требую объяснений. О чем ты только что говорил?

Виктор. Да тут и объяснять нечего, папочка. Я изображал сумасшедшего. Это не так уж трудно!

Шарль. Дело не в этом. А в том, что ты повел себя нетактично по отношению к Терезе и должен извиниться.

Эстер. Запрещаю ему извиняться перед мамой.

Все. А?

Эстер. Да, запрещаю.

Шарль. А почему, позвольте вас спросить, барышня?

Эстер. Не знаю. Не хочу, чтобы он перед ней извинялся, и все тут. Меня ведь не просили об этом, когда я разбила вазу.

Тереза. Хорошо, пусть не извиняется. Видите, Эстер не такая уж и злая. Но пусть Виктор поведает нам, что озна-

чал этот бред, в котором никто, я уверена, ничего не понял.

Виктор. Как, даже не догадались?

Все. Да нет. Честное слово, нет. Да и как тут догадаться?

Виктор. Да ведь это попросту были отдельные, беспорядочные фразы из сочинения, которое я готовлю для школы.

Пауза, затем все принужденно смеются.

Шарль. Ах ты негодник! Вы только посмотрите на него! Что поделаешь, приходится прощать ему кое-какие шалости, ведь он не доставляет нам хлопот, даже напротив. Я вчера повстречал его преподавателя, так тот весьма им доволен, о чем не раз мне говорил. Если ничего не случится, он далеко пойдет, поверьте моему слову. Он чертовски умен. Слышите, Тереза, чертовски.

Тереза. Я слышу, слышу, это такой чертенок, только держись!

На сцену выскакивает Антуан Маньо.

Сцена VII

Те же, и Антуан Маньо.

Антуан Маньо. Добрый вечер. Где он? А, вот и ты. Растет не по дням, а по часам. Сколько тебе лет? Девять? А в тебе уже метр восемьдесят. А сколько ты весишь? Никогда не взвешиваешься? Тут ты не прав: чтобы много двигаться, нужно хорошо себя изучить, а чтобы хорошо себя изучить, нужно взвешиваться. Что за славный у вас ребенок, Шарль. Ну просто второй Гальвани, дрессировщик лягушек[1]. А как же, не грех и пошутить, и посмеяться. А вы, Эмили, все грустите? Тоска, тоска! Куда денешься. Так вы теперь бьете посуду? Браво, Шарль. Да здравствует молот. Я же предпочитаю пилу, звук мелодичней. Дело вкуса, не так ли? Дело вкуса. Добрый вечер, Тереза. (*Целует ее.*) Ты не хочешь меня поцеловать?

1. Луиджи Гальвани (1737–1798) – итальянский врач и физик. Ставил опыты на лягушках, открыл явление электричества, присущего живым существам.

Не хочет. Никогда меня не целует. А почему — не знаю. Капитуляция. Одиннадцать тысяч ружей, триста пушек и радостное дефиле со знаменами. Ах, какая жизнь! А вот и маркитаночка, мамзель Эстер. Честь имею. Да здравствует первый консул! (*Поет.*)

Я дочь Монтабора
Дочь тамбурмажора...[1]

(*Обнимает дочь.*) Как же я счастлив видеть вас всех в добром здравии. Особенно Шарля. Шарль, старик, вы влюблены. Нет? Шутка. Эмили, вас я не поздравляю. Вам не удержать подле себя этого лихого парня. Тереза, давай, покажи себя во всей красе. Ну же, подвигай плечами, щиколотками, поведи эдак глазками, пусти в ход все, что можно... И вот, наконец, Божье перемирие, да... ну то, которое устраивается по случаю религиозного праздника...

Шарль. Антуан, дружище, выпейте, давайте я плесну вам ликера с хинином.

Эмили. Да, да, хинина ему...

Тереза. Друг мой, прошу тебя, молчи. Тут дети. Сядь.

Антуан. Ах, люди добрые! (*Падает в кресло.*)

Виктор. Господин Маньо! Господин Маньо!

Антуан. Да, что?

Эмили. Это Виктор к вам обращается.

Антуан. Виктор? Иди сюда, дружок, и скажи, что ты хочешь.

Виктор. Расскажи мне о Базене.

Все. Виктор!

Антуан (*декламируя текст, как выученный наизусть урок*). Базен (читается Ба-зэн) Ашиль, тысяча восемьсот одиннадцатый-тысяча восемьсот восемьдесят восьмой маршал Франции. Родился в Версале. Отличился в Крымскую кампанию и был назначен командующим корпусом и Рейнской армией. Однако в семидесятом-семьдесят первом годах, когда на него была возложена задача защи-

1. Песенка из оперетты Оффенбаха "Дочь тамбурмажора" (1879).

тить Мец, предал свою страну, проявив беспечность, эгоизм и узость взглядов. Он позволил неприятелю осадить французов в крепости и не предпринял сколько-нибудь серьезных попыток прорваться, затеял подозрительные переговоры с Бисмарком, после чего сдал город, не исполнив того, что ему предписывали честь и долг. Смертная казнь, к которой он был приговорен в тысяча восемьсот семьдесят третьем году, была заменена пожизненным заключением, однако ему удалось бежать в Испанию, где он бесславно закончил свои дни[1]. (*Плачет.*)

Тереза. Ах, как стыдно, стыдно, стыдно. (*Закрывает лицо руками.*)

Шарль. Да нет, Тереза, это же так весело, уверяю вас...

Эмили. Шарль!

Виктор. Спасибо, господин Маньо, я вас благодарю.

Шарль. Хватит, Виктор, ты нарочно это делаешь. (*Отводя его в сторонку.*) Господин Маньо болен, тебе бы пожалеть госпожу Маньо и Эстер.

Виктор. Эстер уверяла, что страшно интересуется Базеном, вот я и хотел доставить ей удовольствие.

Тереза (*услышав это*). Опять ты, Эстер! А ну пойди сюда! (*Бьет ее по щеке.*)

Шарль (*обращаясь к Эмили*). Любопытно, не правда ли?

Эмили. Я ничего не понимаю. Можно подумать, что сумасшествие — заразная болезнь. Взгляни на Виктора.

Шарль. Да, но Антуана еще здесь не было, когда Виктор...

Эмили. Но он должен был прийти. У меня на душе неспокойно.

Тереза (*подходя к ней*). Прошу у вас прощения, Эмили, мне следовало предвидеть...

Эмили. Что вы хотите, дорогая Тереза, у каждого свои горести, мы рады разделить с вами ваши.

Тереза (*обнимая ее*). Дорогая моя!

1. Из словаря "Ларусс". (*Прим. автора.*)

Антуан (*как ни в чем не бывало*). Простите меня, кажется, я был не в себе. Возможно, даже злоупотребил вашим добрым отношением.

Шарль. Ну-ну, старина. Скажем, вы немного замечтались. Не стоит и говорить об этом. Теперь вам лучше?

Антуан. Лучше.

Шарль. Ну вот и отлично.

Эстер. Да здравствует папа!

Антуан (*усаживая ее на колени и целуя*). Следует говорить: да здравствует Виктор, которому сегодня — девять лет!

Эстер. Да здравствует Виктор!

Входит Генерал.

Сцена VIII

Те же и генерал Этьен Лонсегюр.

Шарль. А вот и генерал!

Генерал Этьен Лонсегюр (*приветствуя собравшихся*). Сударыня... Сударыня... Добрый вечер, Шарль, добрый вечер, господин Маньо. Все растешь, Виктор? И в умственном отношении тоже?

Виктор. Увы, генерал, расту.

Генерал. Почему же увы?

Виктор. Да так говорится.

Генерал. А сколько в тебе росту?

Виктор. Метр восемьдесят один, генерал.

Генерал. Кирасирский рост, определим его в кирасиры.

Виктор. Вы слишком любезны, генерал.

Генерал. Это я-то? Напротив, я такой мужлан.

Эстер. Не может быть.

Генерал. Очаровательная особа! Здравствуй, Эстер. Так тебе не хочется, чтобы я был мужланом? Каким же ты хочешь меня видеть?

Эстер. Генералом.

Всеобщая неловкость.

Виктор. Генерал, а вот скажите...

Эмили. Я запрещаю тебе фамильярности, слышишь?

Генерал. Дитя мое, да ведь меня все зовут генералом. Чего от меня надобно моему дорогому Виктору?

Виктор. А вы Базена знали?

Все (*кроме генерала и Антуана, не расслышавшего вопроса*). О!

Тереза (*обращаясь к Виктору, которого она отвела в сторонку*). Сделай одолжение, Виктор, перестань говорить о франко-прусской войне. Думаешь, нам всем веселее от этого? К тому же мой бедный муж болен. Достаточно завести на эту тему разговор, как у него начинается приступ. Больше не будешь? Обещай мне! Поклянись!

Виктор (*дергая ее за волосы*). Ах, какие у нас кудряшечки.

Эмили (*неожиданно подходит к ним*). Он снова над вами подшучивает? Не обижайтесь на него, Тереза. Ему, конечно, уже девять лет, но все же — всего лишь девять. К столу, все к столу.

Все садятся за стол. Гаснет свет. Когда он зажигается снова, на столе десерт.

Генерал (*поднимая рюмку*). Пью за твои девять лет, Виктор.

Все. За Виктора!

Виктор. Пью за любимую маму, обожаемого папу, за генерала Этьена Лонсегюра, за вас, госпожа Маньо, за господина Антуана Маньо. Пью за Эстер, их дочь, и за Лили, нашу превосходную прислугу.

Все. Браво! (*Чокаются.*)

Шарль. А теперь, Виктор, прочти нам что-нибудь.

Виктор. Но я ничего не знаю.

Эмили. Ну же, не заставляй просить себя. Робостью ты не отличаешься. Полагаю, госпожа и господин Маньо тебя не пугают?

Виктор. Они нет, а вот генерал — да.

Генерал. Виктор, прочти нам стихотворение. Хоть одно-то ты должен знать, черт побери. Все хоть одно да знают.

Эмили. Он так хорошо читает!

Виктор (*вставая*). Генерал, для вас. Для Франции.

Знаешь, малыш, как любит мать,
Знаешь, как сердце страдает мое,
Но доли солдата не избежать.
Отец тебе вручит ружье.

Завтра ударят с утра в барабан.
Пусть будет готова душа.
Я повенчаю тебя, мальчуган,
С отчизной. Невеста так хороша.

Антуан (*резко вставая из-за стола*). Прошу слова.

Виктор. Говори, Антуан.

Тереза. Сядь, Антуан.

Все. Оставьте его, Тереза, дайте ему сказать.

Шарль. Виктор, ты слишком много себе позволяешь в отношении господина Маньо.

Виктор. Говори, Антуан! Всем молчать!

Все замолкают, напуганные и смущенные.

Антуан. — Свиньи. Свиньи. Свиньи. Немногочисленный кавалеристский отряд Седана[1], арабские лошади... ох! ох! Другой генерал добыл для нас Сенегал и Верхний Нигер. Красавец Фэдерб[2] верхом на быке, при нем два негра-адъютанта, эскорт из тысячи четырехсот спаги[3]... неожиданно, по небольшой портативной медной лестнице спустился с холма, нагрянул в пустыню, когда там проходила джигитовка африканских наездников, и всадил в песок пальму с трехцветными финиками.
Да здравствует Третья республика, "которая гарантирует обязательное образование, воспитывает граждан,

1. Речь идет о капитуляции Седана 1 сентября 1870 г., спровоцировавшей падение Второй империи во Франции.
2. Луи Леон Сезар Фэдерб (1818–1889) — французский генерал, губернатор Сенегала.
3. Спаги — французские колониальные кавалерийские части в Северной Африке в 1831–1962 гг.

достойных этого имени, и обеспечивает трудящимся преимущества, даруемые принципами строгой человеческой солидарности — самым ценным наследием Революции"[1]. Ну а все остальное — свинство и патриотизм. — *Замолкает. Напряженная пауза.*

Виктор. Ну, а Базен?

Все. О! О! О!

Антуан. Базен? (*Глядя Шарлю прямо в глаза.*) Шарль, известна ли тебе история жизни Базена?

Шарль. Нет.

Тереза. Но ты уже рассказал нам об этом, дорогой...

Антуан (*схватив со стола нож и всаживая его в середину стола*). Я поймал тебя, Базен, поймал, поймал! (*Плачет.*) Я скоро умру. Ее фотография! Нет, господин кюре, прошу вас, не читайте мне из Писания. Солдаты, вот вам правда: я рогоносец, а теперь стреляйте прямо в рогоносца, цельтесь прямехонько в сердце. (*Падает на пол.*)

Тереза. Я вас предупреждала. (*Плачет.*) Вот уже больше месяца тянется одно и то же, и предугадать, когда это начнется и сколько продлится, невозможно. Просто ужасно!

Напряженное молчание. Никто не смеет пошевелиться. Тереза и Шарль испуганно переглядываются. Лили застыла в проеме двери. Эстер сопит в сторонке.

Виктор (*приблизившись к Антуану*). Антуан, во имя французского народа, объявляю тебя рыцарем ордена Почетного легиона. (*Обнимает его.*)

Антуан (*вновь совершенно спокойный*). Ты такой милый, Виктор. Я тоже тебя люблю. Твое стихотворение очень тронуло меня. Кто автор?

Виктор. Виктор де Лапрад[2]. Я выбрал его потому, что мы тезки.

Антуан (*беря всех в свидетели*). Ну можно ли его не любить? Ну что, Эстер? Ты плачешь. Наверняка твоя мать тебе в чем-то отказала. Тереза, не перечь ей сегодня. Дай ей

1. Из словаря Ларусс. (*Прим. автора.*)
2. Виктор Ришар де Лапрад (1812—1883) — французский поэт.

горчицы, если она просит. Она тоже прочтет нам что-нибудь. Ее очередь. Так ведь, Эстер?

Эстер. Да, папа. Прошу тишины. Начинаю.

Ю-ю-ю, маслобойка
У кота летит набойка
Крысы прыснули от смеха
Вот потеха так потеха
А молочник сам не свой
Так и крутит головой
Лапки в масло запустили
И друг дружку угостили
Целый день кипит работа
За заботою забота
Будь ты ражий молодец
На войне тебе конец
А рантье и в ус не дует
И по-прежнему жирует
У жены его две дочки
Не девицы, а примочки
Мальчик вышел и пропал
В школу мальчик не попал.

Эмили. Восхитительно. Виктор, обними Эстер и поблагодари ее.

Виктор. Эстер, я в полном восторге и от всего сердца благодарю тебя.

Генерал. Прежде, бывало, я тоже такие ю-ю выводил *(Поет.)*

Шарль. Генерал, вот уж не поверим...

Все смеются.

Генерал (*указывая на Эстер и Виктора, которые стоят обнявшись*). Красивая пара. Оба статные. Спорим, вы их поженете.

Тереза. О нет!

Эмили. Почему бы и нет, Тереза? Наш Виктор и ваша Эстер... мне это никогда не приходило в голову. Малышка звалась бы Эстер Помель, меня ведь зовут госпожа Помель. Разумеется, еще есть время объединить наши семьи. Антуан, я уверена, думает так же, как я.

Шарль. Господи, Тереза... Эмили, ну куда спешить.

Антуан. Нет, времени нет. Мы их сейчас же и поженим. А? Ну, шутки ради. Я вас благословляю и уверен, вы уже умеете играть во влюбленных. Генерал, правда, это будет забавно?

Генерал. Вот-вот, изобразите нам влюбленную парочку. Прекрасно, прекрасно! Ты, Виктор, будешь жених, а Эстер – невеста.

Долгая пауза, во время которой Виктор и Эстер о чем-то тихо договариваются. Они собираются разыграть ту самую сцену между Шарлем и Терезой, свидетелем которой стала Эстер.

Эстер. Ах, какие у нас кудряшечки!

Виктор. Резо, Резо, Резо.

Эстер. Карло, я преклоняюсь перед тобой во всем.

Виктор. Тринадцать, немой купальщик.

Эстер. А вдруг нагрянет Антуан.

Виктор. Меня спасла бы твоя шея.

Эстер. Восхитительный горизонт.

Виктор. Оставь этого розового спрута. (*Эстер делает вид, что плачет. Виктор выходит, хлопнув дверью, затем возвращается с накладной бородой, крича.*) Мои телята стоят больше, чем ваши Ба-ба-ба... Баденге[1].

Срывает с себя накладную бороду, и оба покатываются со смеху. Присутствующие ошеломлены. Антуан подходит к Эмили и что-то тихо говорит ей на ухо.

Эмили. О! Антуан.

Генерал. Вам холодно, Эмили?

Эмили. Оставьте меня. О, извините, генерал. Нет, спасибо, мне не холодно. Антуан, оставьте меня, прошу вас. (*Антуан не отходит от нее, оказывает ей знаки внимания, гладит. Эмили пытается отстраниться от него.*)

Генерал (*обращаясь к Терезе*). Как бы еще одного срыва не случилось.

1. Кличка, данная Наполеону III в память о масоне, якобы помогшем ему бежать в 1846 г. из форта. После капитуляции Седана появилось много песенок о Баденге.

Тереза. Ах, не знаю, не знаю. (*Переходит на крик.*) Не знаю я!

Генерал (*обращаясь к Шарлю*). Что такое? Что за тон? Какой тон?!

Шарль. Какой тон, какой тон... Катон — римский политический деятель!

Генерал (*обращаясь к детям*). Детки, пойдите поиграйте.

Виктор. Нет, генерал.

Эстер. Нет, генерал.

Генерал. Ну, хорошо, оставайтесь.

Антуан (*продолжает приставать к Эмили и при этом декламирует считалку*).

Ю-ю-ю, маслобойка
У кота летит набойка.

Долгая немая сцена. Наконец Антуан останавливается и падает в кресло, закрыв голову руками. Эмили, запрокинув голову, скрестив руки на груди, смотрит то на своего мужа, то на Терезу. Дети время от времени обнимаются. Генерал сморкается. Тереза и Шарль толкают друг друга локтями.

Генерал (*обращаясь к детям*). Детки, пойдите поиграйте.

Эмили. Заявляю во всеуслышание: я ничего не поняла в том, что изобразили перед нами дети.

Тереза. Антуан, мой бедный Антуан. (*Плачет.*)

Шарль. Надо бы расспросить Виктора... Виктор!

Виктор. Да, папа?

Шарль. Так, ничего. Позже.

Антуан (*вставая с кресла*). Тереза права, мне неможется. Я должен вас покинуть. Простите.

Тереза. Простите нас. Эстер, давай одеваться. Пальто, перчатки...

Антуан. Я вернусь самостоятельно. Запрещаю вам сопровождать меня. Запрещаю, слышите! Всем доброго вечера. (*Выходит напевая.*)

У жены его две дочки,
Не девицы, а примочки.

Оставшиеся долго не могут прийти в себя.

Сцена IX

Те же, без Антуана.

Генерал. Так весело было! И детки такие милые! А теперь вдруг слезы. Пусть праздник продолжается.

Эмили. Вы правы, генерал. Выпьем шампанского.

Генерал. С удовольствием. Шарль, на посошок!

Шарль. Не откажусь.

Пьют.

Генерал. Виктор, подойди ко мне. Тебе сегодня исполняется девять лет. Хотелось бы сделать тебе приятное. Что доставило бы тебе по-настоящему большое удовольствие?

Виктор. Обещаете выполнить, генерал?

Генерал. Обещаю. Слово солдата.

Виктор. Я хотел бы поиграть с вами в лошадку.

Генерал. Как это?

Виктор. Да как Генрих Четвертый. Вы становитесь на четвереньки, я сажусь сверху, и мы объезжаем вокруг стола. И неважно, что посланники короля Испании стучат в дверь, могут и обождать.

Эстер. Да, да, да, браво, браво!

Шарль. Виктор! Это глупо и оскорбительно для нашего гостя, я тебе запрещаю такие игры.

Виктор. Вы обещали, генерал. Дали слово солдата.

Эмили. Да это просто невообразимо. Виктор, попроси о чем-нибудь другом!

Генерал. Это так мило. Я не собираюсь тебе отказывать, мой дорогой. По коням! (*Трубит, изображая сигнал седлать лошадей.*)

Драгуны, в седло!
По четыре в ряд!
Эскадрон, вперед!

Шарль. В последний раз говорю тебе: нельзя.

Виктор. Вы ведь дали мне слово солдата, генерал?

Генерал. Шарль, оставь его, это мое дело. Я дал слово и сдержу его. Буду рад, если удастся привить Виктору вкус к армейскому делу. Взгляните на него, кирасирский рост, и это в девять лет. Подумать только!

Виктор (*подзывая генерала, уже вставшего на четвереньки*). Сюда, моя милая!

Генерал подвигается к Виктору. Тот берется за наплечные шнуры аксельбантов, как за поводья. Генерал изображает лошадь: ржет, встает на дыбы, устремляется вперед. Сцена напоминает нечто вроде выездки лошади.

Виктор. Тпрр! (*Дает лошади кусочек сахару на ладони. Та успокаивается, он садится в седло.*) Но! Пошла!

Все смущены, кроме Эстер, которая корчится от смеха.

Шагом! Хорошо. Рысью! (*Одобрительно треплет его по шее и пришпоривает.*) Галопом, галопом!

Акт II

Сцена I

Гостиная. Входит Тереза, за нею Шарль.

Тереза. Ну дела! Просто беда! Что за дети! И ты не лучше!

Шарль. Я, я... (*Подавленно.*) Не говори! (*Пауза.*) Давай обсудим как можно скорее! Нас кто-то застукал.

Тереза. Эстер.

Шарль. Дети нас выдали. Хотелось бы верить, бессознательно... Может ли быть иначе?.. Но факт остается фактом: все вышло наружу. Эмили...

Тереза. ...больше не сомневается.

Шарль. Что же делать? Что нас ждет? Что будет с Антуаном?

Тереза. Антуан спятил.

Шарль. Верно.

Тереза. И ты тоже. Генерал, Эмили, твой сынок, все вообще спятили. Я больше не могу. Ни домой вернуться, ни

уехать, ни остаться... и обожаю тебя. (*Падает в объятия Шарля.*)

Шарль. Резо, Резо, Резо!

Тереза. Карло! Какое счастье! Какое несчастье!

Шарль. Держись, прошу тебя. Держись, Резо.

Тереза. Есть ради чего. Получай... (*Награждает его долгим поцелуем.*)

Шарль (*отстраняясь*). Довольно. Извини, дорогая, но умоляю тебя, сдерживайся.

Виктор подкрадывается и прячется за пальмовое дерево.

Сцена II

Те же и Виктор, некоторое время прячущийся в укрытии.

Тереза. Я ничего не понимаю.

Шарль. Мы недостаточно осторожно себя ведем. Теперь это ясно! Они, конечно, еще малы, не понимают смысла происходящего, но все видят, повторяют за нами, изображают нас, как обезьяны!

Тереза. Ах, Эстер... Ну погоди, вернемся домой, я тебе покажу. Попомнишь ты у меня, маленькая стерва! Я тебе таких отвешу! И генерал этот... хотел их поженить! Со стыда сдохнуть можно!

Шарль. И впрямь не по себе.

Тереза. Не по себе. Скажешь тоже. Да ведь это был бы чистый инцест. Стоит мне подумать... (*Хохочет.*) Наши слова в их устах. Оставь этого розового спрута...

Шарль. В последний раз умоляю тебя, Тереза! Все это действует на тебя возбуждающе, ты начинаешь нервничать. Бывают же совпадения, черт подери!

Тереза (*увлекая его к дивану, притворно ласкает его*). Слишком поздно.

Шарль. Ну что ж, не церемонься! Позволь себе любые грязные намеки, но предупреждаю: будешь продолжать в том же духе — я за себя не отвечаю. Тем хуже для нас, тем хуже для тебя, тем хуже для всех. (*Валит ее на диван.*)

Виктор. Слишком поздно! (*Выходит из укрытия.*) Вы, сударыня, в вашем легком гипюровом облачении, и ты, папочка, с твоей покорностью ягненка — какое трогательное видение на небосклоне моего детского сознания, оно теперь всякий вечер будет посещать меня. Одинокий стук швейной машинки моей матери после вечернего кофе, ночная сорочка, усеянная слезами, которую готовят к возвращению легкомысленного супруга. Я именую вас "мамой" в своих грезах. Порой вхожу в вашу гостиную, в маске, с револьвером в руке, и принуждаю читать пассаж из "Илиады".

> ...над моим злополучием сжалься,
> Вспомнив Пелея отца: несравненно я жалче Пелея!
> Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:
> Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю![1]

(*Опускается на колени и целует руки Терезы.*)

Шарль. Еще одно школьное сочинение на заданную тему! Необычайный ребенок! Но чем заняты генерал и твоя мать? И почему Эстер не с тобой?

Виктор. Я отвел генерала в конюшню. Мать в бельевой, где ей и положено быть. Ну а Эстер заканчивает хохотать.

Тереза. Только не убеждай меня, что этот ребенок не подстроил всего этого.

Шарль. Слушай-ка, Виктор. (*Дает сыну пощечину.*) Это первая пощечина, полученная тобой от меня, пусть она послужит тебе уроком.

Виктор. То бишь, пусть помешает мне воспринять урок?

Шарль. Ты еще не умолк?

Виктор. Нет, все еще звучу, как барабан. (*Получает еще одну пощечину.*)

Тереза. Оставь его.

Виктор. Благодарю... Пусть все лучшее останется про запас, для Эстер!

Входит Эстер.

1. Гомер. Илиада. XXIV, 503–506. Перевод Н. Гнедича.

Сцена IV

Те же, генерал, Эмили.

Шарль. Виктор, попрощайся со всеми и отправляйся спать.

Виктор. С кем?

Шарль (*теряя терпение*). С кем, с кем? Я не знаю, с Эстер, с матерью, если хочешь.

Все. О!

Шарль. И правда, это невыносимо, в конце концов. То какие-то тайны, то безумие. Один говорит не то, что думает, а прямо противоположное, другой обезьянничает. Отчего-то все разбивается. Я вообще перестал соображать. Виктору девять лет, а он у меня спрашивает, с кем ему спать, я же ему отвечаю: с Эстер, с матерью, еще бы сказал с самим Папой Римским. Все недовольны. В конце концов, что я должен ему, по-вашему, отвечать? С кем ему спать?

Входит горничная.

Виктор. С горничной.

Лили ставит поднос и уходит. Долгая пауза. Всеобщая неловкость.

Эмили. Ты заставляешь меня краснеть, Виктор.

Эстер. Я с удовольствием лягу с тобой спать.

Тереза. И она туда же. А вы, генерал, хотите с ним спать?

Генерал. Если скажу да, вы мне поверите, если скажу нет, подумаете, что думаю наоборот.

Виктор. Какой мерзавец!

Все. А? Что?

Виктор. Ничего... ничего... я сам с собой разговариваю. Это я о себе. И правда, у меня день рождения, все собрались, празднуют радостное событие, а я довожу свою мать до слез. Доставляю беспокойство лучшему из отцов. Отравляю жизнь госпоже Маньо, провоцирую приступ безумия у ее несчастного супруга, глумлюсь над французскими вооруженными силами. Попустительст-

вую проступкам служанки. Малышку Эстер и ту вмешиваю в это грязное дело. Да кто я, в конце-то концов? Перерожденец? Я что, больше не Виктор? Приговорен ли я вести постыдное существование блудного сына? Скажите же мне. Воплощенные ли я порок и угрызения совести? Ах, если это так, я выберу скорее смерть, чем бесчестие! Трагическую участь блудного сына! (*Обхватывает голову руками.*) О, распахните двери! Дайте мне уйти, а на мое двадцатипятилетие заколите тучного тельца!

Генерал. Ах, Шарль, да ведь это почти исповедь. Будь я священником, я бы сказал: в ребенка вселился дьявол.

Шарль. Послушайте, генерал, я придерживаюсь республиканских убеждений, и всегда подразумевалось, что между нами не будет расхождений религиозного порядка. Мои предки были членами Конвента, делали революцию сорок восьмого года, дед был коммунаром. Сам я человек радикальных воззрений и надеюсь, мой сын, который не был крещен и не пойдет к крещению — я вам в том ручаюсь, — никогда не станет священником.

Эмили. И по какой же линии ты его прочишь?

Шарль. По линии субпрефекта. Так, сынок? Субпрефектом стать хочешь?

Виктор. Нет и нет.

Тереза. Скажи же нам, кем ты хочешь быть. Не следует идти против воли ребенка в выборе профессии.

Виктор. Я хочу стать чем-нибудь вроде плотоядного блудодея. Да... блудный сын вполне подойдет.

Эмили (*вставая*). Он меня пугает.

Шарль. Ну что ты, он смеется над нами. Пусть идет спать.

Эстер. Нет, он не пойдет спать. Это его день рождения, и он должен остаться до конца праздника. Останься, Виктор. А если ты плотоядный и тебе нужно мяса, я принесу.

Шарль. Ну а я вам заявляю, что ничего хорошего из этого ребенка не выйдет. Я понял это сегодня вечером. Ничего приличного нам из него не сделать, ну а если получится какой-нибудь неудачник или хулиган, что ж, окончит свои дни на эшафоте.

Эмили. На эшафоте! Нет, вы только послушайте, что он несет! Сперва он его прочит в субпрефекты, а пять минут спустя уже на гильотину. Иди ко мне, Виктор, сядь ко мне на колени. Твой отец просто безмозглый дурак. Еще чего доброго и, правда, свернет тебя с пути истинного. Подумать только! Ребенок, который учится на отлично, удостаивается похвал! Ты просто завидуешь своему сыну. Да, завидуешь. Ты всегда был лоботрясом. И кем ты стал? Если бы не твой братец, не видать бы тебе и этой должности на табачном складе, а если бы не проценты с моего приданого, мы бы все сдохли с голоду, сидя на твоем жалованье. И ты еще даешь советы сыну? Строишь какие-то планы? Я просто помираю со смеху. (*Рыдает.*)

Шарль. Умри, черт подери! Умри, но не плачь.

Виктор. Мамочка, улыбнись, подними голову.

Шарль (*хватает вазу и разбивает ее*). Ну, теперь моя душенька довольна. (*Исполняет несколько па жиги*). Нервишки расшалились. Так недолго и Антуану уподобиться. Еще чуть-чуть, и я бы вас растерзал, генерал, или принял бы за Базена.

Тереза. О, прошу вас, Шарль, мой муж не заслуживает...

Шарль. Ты... О, простите, Тереза! Но поймите, невозможно вынести все это в один вечер. Ни расстаться. Ни лечь спать. Ни оставить Виктора одного. В спальню... там скандал, к вам... там Антуан. Оставить Эстер у нас? Доверить ее генералу? Лонсегюр, вы ведь человек опытный, придумайте что-нибудь чудодейственное... не знаю что! Все равно что. И если потребуется, доставьте сюда пушку...

Генерал. Пушку! Эк куда вас занесло...

Неожиданно появляется очень красивая дама в вечернем туалете.

Виктор (*кричит*). А вот и чудо!

Спрыгивает с колен матери.

Сцена V

Те же и Ида Мортемар.

Ида Мортемар. Ты не узнаешь меня?

Эмили. Нет.

Ида. Посмотри внимательнее.

Эмили. Ида Мортемар!

Ида. Мне было семь лет...

Эмили. А мне...

Ида. А тебе тринадцать.

Эмили. Садись, Ида. Извини нас... Мне и в голову не пришло... Да разве я могла тебя узнать?

Ида. А вот я тебя сразу узнала.

Эмили. Столько лет минуло. Садись. О, извини! Позволь представить тебе: генерал Этьен Лонсегюр, госпожа Маньо, ее дочь Эстер, мой муж, господин Помель, и мой сын Виктор. Садись.

Ида садится. Долгая пауза, в продолжение которой все молчат. Пауза.

Генерал. Да. Представьте себе, сударыня, как раз перед вашим приходом меня просили доставить сюда пушку.

Ида. Пушку?!

От Иды Мортемар, после характерного звука, исходит запах сероводорода. Всех берет оторопь. Всем кажется, что они ослышались. Ида краснеет до кончиков волос. Эстер не в силах сдержать хохота. Мать обнимает ее и успокаивает. Виктор стойко держится, чтобы не расхохотаться.

Генерал. Да, пушку. Но то была шутка, не правда ли?

Ида (*не понимая его и пытаясь объяснить то, что происходит с нею*). Нет, сударь, это болезнь.

Долгая пауза, в продолжение которой все испытывают неловкость. Ида закрывает лицо руками.

Ида. Ах, как неловко! Как стыдно!

Эмили. Моя дорогая Ида, что происходит? Что с тобой? Ты несчастна? Как мне понять тебя, я ведь тебя не знаю, мы расстались в таком нежном возрасте.

Ида. Не могу, не могу...

Вновь характерный звук и запах. Пауза. Всеобщее замешательство.

Ида. Простите, простите. Это ужасно, я не могу сдержаться. Я больна. Как вам объяснить? Стоит немного разволноваться, и вот пожалуйста. Я бессильна справиться с этим омерзительным позывом. Это сильнее меня. Напротив, достаточно мне захотеть сдержаться, сделать усилие, как это настигает меня и еще сильнее дает о себе знать. (*Следует серия характерных звуков.*) Я покончу с собой, если это не прекратится, ей-богу, покончу. (*Вновь выпускает газы.*)

Генерал (*в сторону*). Однако!

Раздаются смешки.

Ида. Смейтесь, смейтесь! Как тут не расхохотаться. Я на вас не в обиде. Смейтесь! Это нас всех успокоит. Пройдет стеснение, как с вашей стороны, так и с моей. Я привыкла. Тут только один рецепт — смех.

Все разражаются хохотом. Ида, обхватив голову руками, снова издает неприличные звуки. Смех постепенно смолкает. Следует дождаться, когда смолкнет смех в зрительном зале, и только тогда продолжать.

(*Вставая*). А впрочем, я хороша собой, любима, богата. У меня в Париже много недвижимости — целых пятнадцать домов! Палаццо в Каннах, вилла в Перигоре. Четыре автомобиля, яхта, парангоны, палантины, дети. Мой муж — банкир Теодор Мортемар, и мне некому завидовать, разве что чемпиону по выпусканию газов, выступавшему в концертном зале "Эльдорадо"[1].

Вновь раздается неприличный звук. Смешки становятся все реже.

(*Закрывает лицо руками. Долгая пауза*). Прошу вас извинить меня и позвольте вас покинуть.

Виктор (*вдруг снова разражаясь хохотом*). Нет, нет, не уходите, останьтесь, сударыня.

Эмили. Побудь с нами. Мы празднуем день рождения моего сына. Останься, прошу тебя.

1. Речь идет об артисте варьете, выступавшем в 1900-е гг. в концертном зале "Эльдорадо".

Ида, вставшая было, чтобы уйти, снова садится.

Ида. У вас тут шло веселье, я же, как снег на голову свалилась. Грустно и тягостно.

Шарль. Напротив, сударыня, до вашего появления у нас все не заладилось. Видите, осколки вазы, ножи на камине, сдвинутые со своих мест предметы обстановки, что выдает некое противостояние сил, причин которого нам никогда не понять. Мы говорили о том, чтобы подогнать пушку и шарахнуть... пусть все взлетит на воздух.

Генерал. Да неужто нельзя вам как-нибудь помочь, вылечиться от этих... этих... словом, этой болезни.

Раздается еще один неприличный звук.

Ида. Можно помочь, генерал: по возможности, не заводить об этом речь. (*Пауза.*) Сам собой напрашивается рассказ о моей жизни — от *А* до Я. Тебе, Эмили, знакомо А, вам всем знакомо Я.

Виктор. Нам известна еще и буква П. (*Всем неловко.*) Ваша печаль, ваша паника, ваши палаццо с палантинами, ваши парангоны, привилегии и патологии. А своими пассами вы способствуете переходам в иное качество. В более продвинутом мире вас именовали бы прародительницей платиновой поросли. Ваши сернистые пассы способны заглушить некоторые ничего не значащие страстишки, забить пару-тройку вырвавшихся было на свободу порывов угарных газов. Вы явились к нам словно ртуть, без которой не обходится ни одно алхимическое действие, ни одна возгонка. Мне заранее жаль того, кому придется поплатиться за фатальные последствия происходящей здесь и сейчас реакции, жаль виновного в том, что от ваз остались осколки, а заодно и виновника торжества.

Ида. Что вы сказали?

Шарль. Не слушайте его, сударыня, он беседует с ангелами.

Виктор. Поблагодарите его, сударыня, он сам не знает, что несет.

Шарль. Надо бы отхлестать его по щекам.

Генерал. Так отхлещите, в конце-то концов!

Отец заносит над Виктором руку, замирает на мгновение, но потом бессильно опускает руку.

Виктор. Генерал, ваша сабля заржавела, а от вас самого воняет.

Генерал. Госпожа Помель, ваш сын — пропащий тип.

Виктор. Мама, в твоем чреве мертвое дитя.

Эмили. Виктор! Виктор! Что ты хочешь сказать? Что у меня болит живот?

Шарль. Нужно понять, я хочу понять.

Виктор. Нужно чувствовать, папа.

Ида. Виктор, подойдите ко мне, сядьте ко мне на колени. И вы, Эстер, тоже.

Виктор усаживается на колени к Иде.

Эстер. Нет, нет, я боюсь этой женщины. Она грязная, похожа на собаку и все время выпускает газы. Я лучше уйду. (*Убегает в сад.*)

Тереза. Вы мне за это заплатите, похитительница детей! (*Выходит. Из сада доносятся ее крики.*) Эстер! Эстер!

Шарль. Пойду посмотрю. Как бы малышка в бассейн не свалилась.

Эмили. Как бы не утопилась! О, силы небесные!

Выбегает. Генерал следует за ней, шумно смеясь и хлопая себя по ляжкам.

Сцена VI

Виктор, Ида.

Ида. Что я сделала?

Виктор. Да при чем тут вы. Есть в кого, у ее отца не все дома.

Ида. Да?

Виктор. У вас на коленях хорошо.

Ида. Садись удобней.

Виктор. Я говорю: на коленях, но на самом деле сижу у вас на ляжках.

Ида. Смотри-ка, и правда, выражения зачастую неверны. (*Пауза.*) Тебе сегодня девять. Только девять?

Виктор. Неужто мне и впрямь девять лет? Я осознал, что такое возраст, лишь когда мне исполнилось четыре. Потребовалось четыре года, чтобы убедить меня в неизменном наступлении двенадцатого сентября. Как знать, не убедят ли меня однажды, что для этого потребовался век. Ничто не противоречит тому, что мне больше века.

Ида. О чем ты?

Виктор. О том, что мне, может быть, исполняется сегодня все сто пять лет.

Ида. Так долго не живут, пришлось бы умереть.

Виктор. И даже моя смерть не доказала бы, что мне столько лет. Умереть можно в любом возрасте. Впрочем, вполне допустимо, что я вскоре умру, для того, чтобы продлить сомнение, доказать свою правоту, да и просто куртуазности ради.

Ида. Сядь поудобнее. Ты соскальзываешь и вот-вот упадешь.

Виктор. Так? Вы правы, так гораздо удобнее.

Пауза.

Ида. Послушай, Виктор, лучше мне уйти, не дожидаясь их возвращения. Мне у вас не по себе. Ты уж извини.

Виктор. Да, уйти... Но побудьте со мной еще немного. Мы услышим, когда они станут возвращаться, и тогда, пожалуйста, уходите.

Ида. Пусть так.

Пауза. Виктор, не торопясь, несколько раз целует ее в щеку.

Виктор. Пока ищут Эстер, вы должны мне кое о чем рассказать.

Ида. Слушаю тебя.

Виктор. Я люблю.

Ида. Это невозможно!

Виктор. Вы имеете в виду, что в этом не принято сознаваться? Я исповедуюсь перед вами оттого, что вы уйдете и я вас больше не увижу. Но клянусь, это так: я влюблен.

Ида. Но это невозможно.

Виктор. Заниматься с кем-то любовью я не могу, верно. А потому, перед тем как вы меня покинете, скажите, как это делается. Я знаю все, кроме этого. Я не хотел бы умереть... умереть ведь можно в любом возрасте... не хотел бы умереть, не узнав.

Ида. Но в кого ты влюблен, бедняжка?

Виктор. Не скажу. Сударыня, расскажите, как это делается.

Ида. Право, не знаю, деточка.

Виктор. Как? Расскажите.

Ида колеблется, затем склоняется к уху Виктора и долго что-то шепчет ему; из сада доносятся крики.

О! Где вы? Тереза, подойдите сюда. Ближе. Вы ее нашли? Да, она в ящике, в угольном ящике. Дышит? Дышит. Как сжала челюсти, не разожмешь. Откройте ей глаза. У нее на платье кровь. Она поранилась? Нет, нет, это следы от ногтей. Припадок? Припадок? Это в первый раз. Клянусь вам, это впервые.

Голоса приближаются. Ида обнимает Виктора, встает и быстро направляется к выходу.

Виктор. Спасибо, спасибо, сударыня. Но вы мне солгали. Окажите мне еще одну милость, последнюю.

Ида. Да.

Виктор (*смеясь*). Я бы хотел, чтобы напоследок вы произвели неприличный звук.

Ида вскрикивает и исчезает; но тут же возвращается и кричит Виктору.

Ида. Монстр! Монстр! Завтра явись в магазин рядом с Лувром, найди отдел игрушек, там для тебя от моего имени будет приготовлено маленькое ружье. С пулями.

Ида исчезает. Входят генерал, Шарль с Эстер на руках, заплаканная Тереза и Эмили. В полном молчании кладут Эстер на диван. Ее платье разорвано, руки окровавлены, изо рта течет слюна.

Сцена VII

Виктор, генерал, Шарль, Эстер, Тереза, Эмили.

Виктор. Госпожа Мортемар просила извинить ее за то, что она ушла не попрощавшись.

Тереза. Ах, ушла! Ничуть не жаль. Посмотри, что она сотворила с Эстер.

Виктор. Очевидно, бедняжка мертва.

Шарль. Нет, она жива. У нее случился припадок.

Эмили. Все обойдется.

Генерал. Глядите, она потихоньку приходит в себя.

Тереза. Эстер, девочка моя!

Эстер. Мама! Мама!

Шарль. Ах, как это все тяжело!

Виктор. Я думаю, что бы мне сказать?

Шарль. Сделайте ей примочку.

Эмили. Потрите уксусом виски.

Тереза. Дорогая моя, прими язык.

Генерал. Расстегните ей воротник, чтобы она могла свободно дышать.

Шарль. Она уже приходит в себя...

Входит Лили.

Сцена VIII

Те же и Лили.

Лили. Что случилось? Бедная девочка!

Эмили. Ничего серьезного, у Эстер обморок.

Лили. Позвольте? (*Она дает Эстер две пощечины. Та приходит в себя, привстает.*) Ну вот...

Виктор. Бедная Эстер, ее и наказывают и лечат одним и тем же способом.

Эстер. Где воняющая женщина?

Эмили. Не бойся, малышка, Виктор ее убил.

Эстер. Это правда, Виктор?

Виктор. Да, моя милая. Я взял да и откусил ей уши, а потом шмякнул об пол, ее жемчуга бросил свиньям, а ее саму высек и утопил в умывальнике.

Смех.

Эстер. Браво, браво, Виктор! Жаль, что мне было плохо и я не видела этого. Особенно уши... Но уверен ли ты, что она мертва?

Виктор. Клянусь. Она громко вскрикнула и отдала Богу душу.

Эстер. Это все, что она отдала?

Генерал. Поистине несчастное дитя. Но, Эстер, деточка, не могла же она отдать нам Эльзас и Лотарингию.

Сцена XI

Эмили, Шарль.

Эмили. Нам с тобой также предстоит серьезный разговор.

Шарль. Хорошо, но отложим на завтра. (*Раздражаясь.*) Завтра, или я за себя не отвечаю.

Эмили. Пусть так.

Шарль. Где "Матен"?

Эмили. На камине.

Шарль. Спасибо.

Эмили. Ты что, читать собрался?

Шарль. Да, тебе это неприятно?

Эмили. Да.

Шарль. Тогда я буду читать вслух.

Эмили. Пожалуй. Я разнервничалась, это меня успокоит.

Шарль. Ну и прекрасно. Начинаю.

Эмили. Начинай.

Шарль (*читает*). "Роман с продолжением 'Знатная дама', 'Матен', 12 сентября 1909 года. Юг Леру. Роман о спорте и любви. Часть третья 'Государственная тайна', глава четвертая 'Знатная дама'.

Отодвинув задвижку на двери, ведущей в спальню, счастливый Буль даже не пошел, а полетел к заветной дверце, в которую по-прежнему упирались легкие пальчики. Представшее ему видение несказанно поразило его. Его глаза широко раскрылись. Верхняя часть лица знатной дамы была закрыта черной бархатной полумаской, на плечи накинут пеньюар, приоткрывшийся в то мгновение, когда она входила в спальню, так что стала видна обворожительная шея. Таким образом, нашему герою, пребывавшему в состоянии радостного опьянения, предстало зрелище округлой обнаженной руки, взявшейся за дверь, и золотых волос, стянутых на затылке в пучок, словно колосья, собранные в букет, — зрелище столь целомудренное и более действенное, чем любые заигрывания. Прекрасное создание бросилось в объятия атлета — так преследуемая хищником газель бросается в чащу".

Занавес

Акт III

Спальня. Когда поднимается занавес, сцена пуста. Входит Шарль с газетой в руках, в сердцах бросает ее и одетым ложится на постель.

Сцена I

Шарль, позже Эмили.

Шарль Помель (*лежа*). Что за жизнь! Смейся, смейся, паяц! Ну и вечерок выдался. А я прилично перебрал! Да, ребята собрались все горячие. А эта-то... (*Имитирует неприличные звуки, которые издавала Ида Мортемар, и хохочет.*) Ой, не могу! (*Декламирует.*) Ида Мортемар, мар морте, мертвое море, загнивающая, как Мертвое море. Прямо как будто шарики лопаются: чпок, чпок! Ида... Ида... дада, Ида, дада, морте, мортемар... Ида Мортемар, укуси тебя комар...

Входит Эмили Помель с покрасневшими глазами. У нее в руках носовой платочек.

Эмили (*начиная раздеваться*). Как ты намерен провести ночь?

Шарль. Займусь делами.

Эмили. Какими еще делами, позволь узнать?

Шарль. Да много всякой столярки накопилось.

Эмили пожимает плечами и продолжает раздеваться. Уходит за ширму.

Эмили (*из-за ширмы*). Шарль, умоляю, ложись.

Шарль. Я лежу.

Эмили. Раздевайся. Разве ты не устал?

Шарль. Я собираюсь поработать.

Эмили. Лежа?

Шарль. Пойду постолярничаю.

Встает и уходит. Эмили рыдает за ширмой. Шарль возвращается, у него в руках коробка с инструментами. Он открывает ее, достает молоток, гвозди, рубанок, пилу и проч. Принимается строгать деревянную спинку кровати.

Эмили (*выходит из-за ширмы в пижаме*). Шарль! Ты что, окончательно свихнулся? Строгать, в такое время?!

Шарль. Как видишь.

Эмили. Свихнулся! Окончательно свихнулся! (*Бросается на другую постель и разражается рыданиями.*)

Шарль, сняв пиджак, старательно работает, напевая себе под нос. Берется то за пилу, то за молоток, но все его действия отличаются раздражающей медлительностью.

Шарль.

Бей, бей, не жалей.
Защищай своих маму и папу.
Франции шпага нужна,
Ружье нужно солдату.

Эмили внезапно вскакивает и, как кошка, набрасывается сзади на мужа. Шарль одним движением плеча сбрасывает ее с себя. Эмили падает, поднимает молоток и, замахнувшись им, устремляется к Шарлю. Шарль вырывает у нее из рук молоток и относит ее на постель. Затем аккуратно укладывает инструменты в ящик.

Шарль. Ну да ладно, на сегодня хватит. Завтра займемся зеркальным шкафом. (*Подходя к Эмили.*) Мне показалось, ты только что хотела меня убить?

Эмили. Не знаю.

Шарль. Я тебя прощаю, Эмили. Но больше так не делай, иначе я сочту своей горькой обязанностью заставить тебя произвести на свет еще одного Виктора.

Эмили. Виктор! (*Рыдает.*) Не говори мне о нем. Шарль, не сегодня, ты сам сказал: не сегодня! Умоляю тебя! Я так устала, мне тяжко, я плохо соображаю, что с нами, что ты делаешь, что делаю я...

Шарль. Виноват ли в этом Виктор?

Эмили. Не знаю.

Шарль. Я?

Эмили. Виновата я, я, клянусь. Но во имя Неба, давай спать!

Шарль. Легко сказать: спать.

В продолжение всей этой сцены Шарль раздевается и облачается в пижаму. Эмили ложится. Шарль целует ее.

Шарль. Доброй ночи, Эмили, пусть тебе приснится что-нибудь хорошее.

Эмили. Доброй ночи, Шарль. Извини меня. И поклянись мне всю ночь не произнести ни слова.

Шарль (*высокопарно*). Прошу у тебя прощения.

Ложится и гасит свет. Долгая пауза.

Эмили. Шарль!

Шарль. Что?

Эмили. Ты дверь закрыл?

Шарль. Да.

Сцена III

Шарль, Эмили. Долгая пауза. Кажется, оба уснули.

Шарль (*вставая*). Я не могу спать, просто не могу и все тут. (*Одевается, разговаривая с самим собой, и все больше раздражаясь, пока, наконец, не взрывается.*) НЕ — МОГУ — СПАТЬ. Не могу... Не могу... Не могу СПАТЬ? Спать? Не могу, не могу, не могу. (*Сам с собой.*) Довольно. Пусть так. Довольно. Но спать не могу.

Эмили. Ах, вот как! Ну, тогда и я тоже буду говорить, буду кричать. (*Кричит.*) Радуйся, Мария, Благодати полная, Господь с тобою... (*Смолкает и падает на подушку с громким плачем.*)

Шарль. Поплачь, Эмили, тебе полегчает. Поплачь, поплачь. (*Подходит к ней, гладит ее по волосам, а когда она успокаивается, резко заявляет.*) Да, Тереза — моя любовница.

Эмили (*задушенным голосом*). Я знаю. Давно знаю.

Шарль. Антуан — рогоносец.

Эмили. Я тоже.

Шарль. Вот послушай.

Эмили (*садясь на кровати*). Слушаю.

Шарль (*смущенно*). Ты мне не веришь?

Эмили. Нет.

Шарль. Не хочешь верить, что Тереза — моя любовница?

Эмили. Да, не хочу.

Шарль. А почему ты тогда меня слушаешь?

Эмили. Чтобы немного отвлечься от грустных мыслей. Мне сегодня так тоскливо.

Шарль. Она глупа.

Эмили. Разумно.

Шарль. Разумно. Значит у меня есть разум? Ты говоришь о моем разуме? А я и забыл, что он у меня есть. И впрямь есть. У Антуана нет. А у меня есть. Как ты тонко это подметила.

Эмили. Я тебя внимательно слушаю.

В дверь стучат.

Шарль. Кто там?

Виктор (*из-за двери*). Это я!

Шарль. Чего тебе?

Виктор. Хочу войти.

Шарль. Ну, входи!

Входит Виктор.

Сцена IV

Шарль, Эмили, Виктор.

Виктор. Я пришел потому, что не могу заснуть.

Шарль. Что?

Виктор. Заснуть не могу. А не могу заснуть потому что, во-первых, заболел, а во-вторых, вы слишком шумите.

Эмили. Ты заболел?

Виктор. ...вы слишком шумите.

Шарль. Мы шумим оттого, что нам это нравится.

Виктор. А я болен.

Шарль. Что у тебя болит?

Виктор (*указывая на живот*). Тут.

Эмили. У тебя болит живот?

Шарль. Раз болит живот, пусть идет в нужник.

Эмили. Бывает, живот болит, а потребности испражняться нет.

Шарль. Пойди на кухню, выпей стакан воды, ляг на спину и дыши глубоко. Пройдет. Спокойной ночи. Иди, поцелуй нас и отправляйся!

Виктор не двигается.

Шарль. Ты слышал, что я сказал?

Виктор. У меня очень болит живот, а вы шумите и мешаете мне спать, да мне и не хочется спать. Я тревожусь, как бы у вас до убийства не дошло. У вас тут все так и ходит ходуном. Бывает, кто-то думает, что стреляет в зеркало, а оказывается, это стеклянная дверь. А поскольку окна здесь низкие, а вы с вашей чертовой манией держать револьвер рядом с ночным горшком... Так и кровать повредить недолго, если не сказать больше. А дети всегда в наши дни во всем виноваты. Счастливое детство! (*Выходит, подняв палец.*)

Сцена V

Шарль и Эмили.

Шарль. Да ведь это подстрекательство к убийству, честное слово! Он добивается, чтобы... а чего он в самом деле хотел?

Эмили. Как чего? Заснуть. Он же сказал.

Шарль. Эмили, послушай! Давай рассуждать здраво. Спокойно. Хоть раз проанализируем последствия наших поступков. Взвесим точный смысл слов и, если хочешь, если сможем, давай хоть ненадолго сосредоточимся и поразмышляем.

Долгая пауза.

Эмили. И что?

Шарль. А то, что, если мы не заснем, случится какая-нибудь беда. У меня такое ощущение. Либо я тебя убью, либо ты меня. Не знаю. Словом, я чувствую смерть. Она здесь. Стоит только протянуть руку. (*Он кружит по спальне, все большее возбуждаясь.*) Я ее чувствую, потрогай, у меня руки в поту. (*Берет флакон с одеколоном и разбивает его.*)

Эмили (*пытаясь шутить*). Твоя смерть пахнет одеколоном.

Шарль. Не шути, Эмили, не шути. Хотя... (*Выдвигает ящик ночного столика, достает револьвер, целится в жену, затем открывает окно и выбрасывает револьвер в сад.*)

Эмили. Хочешь, я схожу за ним?

Шарль (*обхватив голову руками*). Это все Виктор! Виктор! Виктор!

Вдруг с улицы долетает хлопок.

Эмили. Ты слышал?

Шарль. Что это? (*Открывает окно*). Что там? Кто вы? Что вам нужно?

Голос (*с улицы*). Это просто шина лопнула, сударь.

Шарль (*закрывает окно и спокойно говорит*). Лопнула шина! (*Долгая пауза.*) Послушай, Эмили... Это Виктор! Он виноват. Но Антуан... пойми... Опять этот Виктор! И с этим олухом генералом... куда ни кинь, везде Виктор. И с горничной та же история... Наверняка Виктор разбил вазу! Милый ангел Эстер... А Ида! Ида Мортемар... Вспомни... Опять Виктор! А мы... я понял. Виктор! Повсюду он! Везде он!

Стучат.

Эмили. Кто там?

Виктор (*из-за двери*). Это Виктор! Мне плохо, я не могу заснуть.

Шарль (*открывая дверь и выходя*). Ну, погоди же, сейчас ты у меня как миленький заснешь.

Шум ударов, крики и восклицания Шарля: "Это Виктор!.. Это Виктор!.."

Эмили (*обращаясь к вернувшемуся в спальню мужу*). Что ты сделал, Шарль?

Шарль. Выпорол его, черт подери! До крови надрал задницу. Ах, этот Виктор! Пусть так! Это Виктор!

Пауза.

Эмили. И что дальше?

Шарль. Что дальше? (*Разражается рыданиями.*)

Эмили. Нет, Шарль! Нет, только не плачь, Шарль! Шарль! Дорогой мой! Это я, Эмили, твоя жена, твоя единственная, та, которая... ну... совсем недавно ты хотел меня убить, я хотела убить тебя, ты хотел убить себя. Что это за поветрие такое, Боже Иисусе!

Шарль (*в гневе*). Это смрадный дух, точно такой же дух доносится из глотки генерала, из задницы Иды Мортемар, и такой же исходит от знамен Базена! Это поветрие безумия-а-а-а!

Эмили. Поветрие безумия! Верно! Как же хочется спать!

Шарль. Где пузырек с лауданумом?

Эмили. Что ты собираешься делать?

Шарль. Спать.

Эмили. Теперь ты решил отравиться?

Шарль. Нет, всего лишь несколько капель в стакане воды, и мы уснем.

Эмили. Склянка в шкафу, на второй полочке справа, рядом с ликером Лабаррака.

Шарль отмеривает несколько капель лауданума в стакан с водой.

Шарль. Выпей треть, а я остальное.

Эмили. Ты хотя бы уверен...

Шарль. Пей сама и передай мне.

Эмили нерешительно пьет и протягивает стакан Шарлю, который одним махом выпивает его содержимое.

Шарль. А теперь в постель.

Они ложатся. Свет внезапно гаснет, затем медленно-медленно загорается снова. В продолжение всего монолога Шарля слышны крики и стоны Виктора.

Шарль (*лежа*). Эмили, мы спокойны. Мы наконец уснем, но никакой наркотик, никакая сила в мире... Сколько звезд!

Крики...

Не могла бы помешать мне признаться тебе, в нескольких словах... Она так хороша... Потерпи немного, Эмили. Три года назад я полюбил Терезу... так и застыл на месте, протянув руку к сахарнице. Тому уже три года. Вот она заносит ножку над постелью, пальчики такие изящные, как листочки клубники.

Крики...

Мы в гостинице "Европейская". Покуда она еще не оторвала вторую ногу от пола, я ей сказал: "Замри".

Крики...

Она замерла... точь-в-точь как мои усы, только вертикальная, щеточка у нее между ног. Ее глаза лукаво улыбались у нее из-под мышки.

Стоны.

Тебе не надоело?

Эмили. Вовсе нет, дорогой! Как, должно быть, она была счастлива.

Шарль. Да уж наверно.

Эмили. И ты так хорошо рассказываешь! Как будто сама там побывала. Расскажи еще.

Долго не смолкающие крики.

Шарль. Ты, Эмили, святая женщина!

Эмили. А Тереза?

Шарль. О, Тереза — это гривуазка, виньетка, пулярка, маркиска, пиросома, грюйерка, профурсетка, сонетка. Тереза — это такая обольстительная телочка.

Эмили. А я?

Шарль. Выбирай, что тебе по вкусу.

Эмили. Жена.

Входит Виктор.

Сцена VI

Шарль, Эмили, Виктор.

Виктор. А я сын.

Шарль. Верно, ты — моя жена, Виктор — мой сын. Как я несчастен!

Выходит.

Сцена VII

Эмили, Виктор.

Эмили. Ложись спать, Виктор!

Виктор. Я болен.

Эмили. Ложись спать, сынок.

Виктор. Мне плохо.

Эмили. Тебе нужно отдохнуть, Тото!

Виктор. Good night, mother.

Виктор уходит, держась за живот.

Сцена VIII

Эмили одна.

Эмили (*в окно*). Шарль? Шарль! Где он? Шарль! Вернись, простудишься! Схватишь насморк! Шарль, во имя Неба, вернись! Какой смысл прятаться? Я тебя вижу. Вернись!

Голос Шарля. Нет.

Эмили. Иди ложись, Шарль! Прекрати эту комедию.

Голос Шарля. Ты мне осточертела.

Эмили. Ах, вот как!

Закрывает окно и ложится. Видно, что ей не удается успокоиться, она ворочается. Вдруг она вскакивает, набрасывает на себя кимоно и выходит в левую дверь. Несколько мгновений сцена остается пустой. Через застекленную дверь в глубине сцены, ведущую в сад, входит Эстер; она молча проходит по сцене и через правую дверь проникает в комнату Виктора.

Чуть погодя в спальню возвращаются Эмили и Шарль.

Сцена IX

Шарль, Эмили.

Шарль (*входя первым*). От этого лауданума толку никакого, одни колики.

Эмили. Ты мог бы пойти в ватерклозет. Что это за новости — гадить в саду?

Шарль. Это не новости, а новость. Как и новость — то, что я только что исповедался.

Эмили (*бьет его по щекам*). Получай! Получай! Свинья! Мерзкая свинья! Вот тебе! И еще! А теперь ложись. Ляжешь ты когда-нибудь спать?

Шарль. Я не защищаюсь. Не защищаюсь больше. Ты права, я отвратительный, гнусный тип, бессовестный. Я думал, что попросил у тебя прощения. Нет? Ну, так прошу: прости!

Эмили. Я тебя прощаю. Но будущее тебя изобличит!

Шарль. Будущее? У меня предчувствие, что будущее и впрямь начинает вырисовываться.

Эмили. Что?

Шарль. О, это лишь предчувствие...

Эмили. Объяснись!

Шарль. Мы пропали.

Эмили. Пропали?

Шарль. Да, пропали, пропало все — наши тела, наши души, наше состояние. В этом доме нет больше ничего, на что можно было бы опереться. Мне страшно.

Эмили. Отчего?

Шарль. Страшно и все тут. (*Пауза.*) Страшно, что не окажусь на должной высоте.

Эмили. На высоте! Скорее нужно говорить о низости!

Шарль. Заснуть! Такая малость.

Звонят в дверь. Шарль и Эмили переглядываются. Вновь раздается настойчивый звонок.

Лили (*ни к кому не обращаясь*). Госпожа, кажется, звонят в дверь.

Шарль. Вы думаете?

Лили. Я уверена. Открыть?

Шарль. Ну, конечно же. Кто бы это мог быть в такое время?

Эмили. Который час?

Шарль. Воскресенье. (*Кричит.*) Лили, вы открыли?

Лили. Да, это госпожа Маньо.

Шарль. Тереза.

В состоянии крайнего возбуждения в спальню входит Тереза.

Сцена X

Шарль, Эмили, Тереза.

Тереза Маньо. Эстер! Где Эстер?

Шарль. Эстер?

Тереза. Да, она убежала из дому со словами: хочу к Виктору. Виктор будет моим папочкой.

Шарль. Глупость какая!

Тереза. И впрямь глупость. Ну и вечерок. Где же Эстер?

Эмили. Но мы ее не видели. Если бы видели, сказали. Уверяю вас, ее здесь нет.

Тереза. Нет? (*Недоверчиво.*) Вы не станете, по крайней мере, отыгрываться на ней? А? Не убьете мою дочь?

Эмили. Убить вашу дочь? Господи помилуй, но зачем?! Нам бы самим с собой разобраться, если уж убивать, то кого-нибудь из своих.

Шарль. Что?

Тереза. Что вы говорите?

Эмили. Скоро обо всем узнаете, Тереза! Господь не допустит, чтобы вы при этом пострадали.

Тереза. Моя дочь здесь! Слышите? Я уверена в этом так же, как в том, что меня зовут Терезой.

Шарль. Тереза, будьте благоразумны... Ну как бы она смогла войти?

Эмили. Подите вон!

Шарль. Уходите и приходите завтра. Эта ночь — передышка. Завтра все обсудим и утрясем.

Тереза. Но я пришла за дочерью.

Эмили. У меня ее нет. Хотите взамен моего сына?

Шарль. Не упрямьтесь, Тереза. Идите домой! Честное слово, Эстер не приходила.

Тереза (*обращаясь к Эмили*). Вы ее где-то прячете! Сперва хотели, чтобы она задохнулась в угольном ящике — за то, что я увела у вас мужа. Так вот, я и, правда, его у вас увела, к вашей досаде, я бы и вас саму увела, будь я мужчиной, и даже сделала бы вам ребенка.

Эмили. Она бы мне сделала ребенка!

Шарль. То, что вы говорите, Тереза, некрасиво. Я вам ребенка не делал.

Тереза. Простите, Эмили!

Эмили. Я вам ничего не прощаю, слышите? Ничего!

Шарль. Возвращайтесь домой, к Антуану.

Тереза. Ха-ха-ха! (*Нервно смеется.*) Антуан! Да ведь он меня прогнал. Этот псих стоит в рубашке на балконе и отдает распоряжения: "Левый фланг! Правый фланг! Вперед, смерть пруссакам!" Эстер сбежала, крича и требуя Виктора. Я весь квартал обегала. Почему бы ей не быть здесь? Шарль, ты ведь не зарежешь ее! (*Кричит.*) Убивают! Убивают!

Шарль закрывает ей рот рукой. В доме поднимается шум, слышатся голоса: "Что происходит? У Помелей кого-то режут..." В дверь звонят.

Сцена XI

Те же, Лили.

Лили (*входя*). Какой толк закрывать дверь, если весь дом переполошился и прилип к окнам! Дом, где совершается преступление! Да замолчите же наконец! Или я уйду от вас. (*Выходит.*)

Сцена XII

Шарль, Эмили, Тереза.

Чей-то голос. Что тут происходит?

Лили (*в кулисах*). Ничего, госпожа рожает.

Другой голос. Кто у нее? Девочка?

Лили. Бастард!

Взрыв смеха, постепенно голоса смолкают, окна закрываются. Все это время действующие лица стоят, застыв на своих местах. Открывается правая дверь. Входит Виктор, ведя за руку Эстер. Эстер отводит глаза.

Сцена XIII

Те же, Виктор, Эстер.

Тереза. Эстер! Эстер! Девочка моя! (*Обращаясь к Эмили.*) А? Я же говорила, вы ее держали взаперти.

Эмили (*пожимает плечами, затем обращается к Эстер*). Как ты сюда попала, детка?

Эстер. Через сад.

Эмили. Зачем ты пришла?

Эстер. Хотела видеть Виктора.

Виктор. Она ко мне пришла.

Шарль. Зачем? Что она тебе сказала?

Виктор. Ничего. Просто легла на коврик у кровати.

Шарль. И ничего не сказала?

Виктор (*обращаясь к Эстер*). Ты что-нибудь сказала?

Эстер. Да. Я сказала: привет, Виктор.

Шарль. Что было потом?

Виктор. Она уснула, а вы ее разбудили. (*Обращаясь к Терезе.*) Хотите ее забрать? Забирайте. У меня страшно болит живот.

Долгая пауза.

Эмили (*в экстазе*). Будь благословен Господь! Я поняла, это Небо послало нам ее. Господь послал! Я усматриваю в этом бегстве чудесное вмешательство божественного Провидения! Дети мои, на колени! На колени и ты, Шарль! На колени, Тереза! И возблагодарим Господа нашего, чьи пути не такие уже неисповедимые! Вот мы и все вместе теперь в силу самой трогательной из невероятных случайностей. Вы, прелюбодейка, — не возмущайтесь! — ты, недостойный отец, я, бесчестная мать, и вы, дети, — неизбежные свидетели и участники искупительного действа!

Тереза. Я поняла! Истинно так! Хвала Господу, чудеса творящему!

Шарль. Просто поразительно, и меня проняло, я понимаю! Иисус! Иисус!

Эстер. Поразительно! Поразительно!

Виктор. Ай, живот! Живот болит, уф!

Эмили. Поднимитесь, поднимитесь все! Дайте мне вашу руку, Тереза. Положите ее на голову Эстер. Дай мне твою руку, руку распутника, Шарль, и положи ее на голову Виктора, и молитесь, молитесь. Дайте торжественную клятву отказаться от вашей преступной связи.

Шарль. Клянусь отказаться от встреч наедине с Терезой и не обманывать Эмили, клянусь стать образцовым супругом.

Тереза. Клянусь головой Эстер отказаться от пагубной страсти к Шарлю и ухаживать за Антуаном вплоть до его смерти.

Эмили. Благодарю вас.

Она смахивает слезу; все обнимаются друг с другом.

Виктор. Кончено? О-ля-ля, как болит живот! О-ля-ля, мочи нет терпеть!

Шарль. Виктор, тебе не лучше?

Виктор. Тонкая кишка, тонкая кишка!

Звонок в дверь.

Шарль. Все звонят и звонят. Пойду оборву звонок.

Эмили. Кто там?

Входит Лили.

Сцена XIV

Те же, Лили, затем Мария.

Лили. Это Мария.

Тереза. Моя горничная! (*Обращаясь к Лили.*) Что ей нужно?

Лили. Ей... входите, Мария.

Мария. Госпожа, принесла вам свой фартук и письмо. Ответ не требуется. Всем добрый вечер. (*Выходит.*)

Сцена XV

Шарль, Эмили, Тереза, Виктор, Эстер.

Тереза (*прочтя, падает в обморок*). Ах!

Шарль (*бросаясь к ней*). Тереза, что с вами?

Тереза. Антуан повесился!

Все. О! Что? А?

Тереза. Повесился, в ночной рубашке, на балконе.

Шарль. Нет.

Тереза. Сами прочтите. (*Протягивает Шарлю письмо. Он читает. Долгая пауза.*) Читайте вслух, Шарль.

Пока он читает, Тереза сотрясается от рыданий вперемешку со смехом.

Шарль (*читает*). "Прощай, Тете. Я вишу. Скалка, с помощью которой ты раскатывала такое чудесное тесто для пирогов, послужила мне перекладиной, я укрепил ее на балконе, привязал к ней зеленый шнур от двойных занавесок в гостиной, сделал узел под названием 'скользящая петля'... Просунул в него голову и вот вишу. Вроде флага, развевающегося на ветру. Я флаг, потому что под ночной рубашкой на мне форма императорского драгуна: голубой доломан и красные штаны. Я как раз успею еще привести в действие фонограф, поставить на него

восковой валик с записью военного марша 'Самбр и Мёз'[1]. Моя последняя воля состоит в том, чтобы, вернувшись домой, ты разбила валик еще до того, как вынешь меня из петли, и в том, чтобы среди камней, которыми вымощена площадь перед Пантеоном, отыскали мандрагору моих последних наслаждений и передали Виктору. Прощай, Тете, прощай, Тереза.

Антуан.

P. S. Да, не забудь передать Шарлю: пусть утешит свою дочь. Отец – рогоносец, дочь рождена от адюльтера. Тем лучше, пусть прервется род".

Все подавленно хранят молчание. Долгая пауза.

Эстер. Что значит рогоносец?

Никто не отвечает.

Эстер. Что значит рогоносец?

Тереза. Птичка такая.

Эмили (*плача*). О, довольно, довольно, довольно!

Тереза (*заламывая руки*). Непомерно. Чрезмерно. Сверх меры.

Виктор. Так не добавляйте еще.

Выходит, держась за живот.

Сцена XVI

Те же, без Виктора.

Эстер.

Кто там в небе синем вьется?
Назад никто не вернется.
Ах ты, маленькая птичка,
Ах ты, птичка-невеличка!

1. Марш "Самбр и Мёз" – знаменитый военный марш, сочиненный в 1789 г. Роски на музыку Робера Планкета. До сих пор поется во французской армии.

Эмили. Шарль, отведи Терезу и Эстер домой и помоги им сделать все, что необходимо в таких случаях.

Тереза. Нет, Шарль, не нужно, я сама справлюсь.

Шарль. Тереза, осилите ли вы... смерть, она ведь... Ах, Эмили, ты святая женщина!

Эмили. Надеюсь, вы понимаете, что я поступаю так от чистого сердца, ничего от вас не таю, надеюсь, и вы не станете меня обманывать этой ночью.

Тереза. Что вы такое говорите, Эмили! Вы сошли с ума! Обманывать вас этой ночью! Да ведь мы поклялись. Мы поклялись, а вы простили.

Эмили. Нет такой клятвы, которую нельзя было бы нарушить.

Шарль (*едва слышно*). Успокойся.

Слышится душераздирающий крик.

Шарль. Что такое?

Эмили (*выбегает*). Виктор! Виктор!

Долгая пауза. Появляется Эмили с Виктором на руках. Виктор без сознания.

Сцена XVII

Те же, Виктор.

Эмили. Это конец всему. Он лежал в коридоре без чувств. Уходите! Шарль, проводи Терезу и Эстер и возвращайся с доктором.

Шарль, Тереза и Эстер поспешно выходят. Виктора укладывают на постель. Эмили рыдает в изголовье.

Сцена XVIII

Эмили, Виктор.

Эмили. Виктор! Виктор! Мой любимый Тото! Сынок! Ты-то уж точно мой сын, моя кровиночка, моя и Шарля. Умоляю тебя, скажи что-нибудь. О Господи! Мария,

Иосиф и все ангелы, сделайте так, чтобы он заговорил и ответил отчаявшейся матери. Виктор! Молчит. Умер. Ты умер. Если б ты умер, я бы это почувствовала. Нет ничего более чувствительного, чем материнское чрево.

Виктор со стоном поворачивается.

Ты двигаешься! Ты не умер. Но почему ты не отвечаешь? Нарочно? Караешь нас? Хочешь, чтобы я заламывала руки, каталась по полу? Этого ты хочешь? Раз ты двигаешься, почему бы тебе и не заговорить? Не можешь? Не хочешь? Ну же, Виктор! Раз, два, три. Получай, упрямец! (*Дает ему пощечину.*)

Виктор. Ну не ужасно ли бить больного ребенка, которому плохо, который на краю могилы? А, мама?

Эмили. Прости, прости, Виктор. Я совершенно обезумела. Но зачем же молчать?

Виктор. Может ли мать быть такой жестокой с умирающим сыном?

Эмили. Так отвечал бы, Тото, дорогой!

Виктор. Я и отвечаю... Мать, поступающая так, — чудовище.

Эмили. Прости, Виктор! Я часто прощала тебя, теперь твой черед простить меня после всего, что произошло этим вечером, этой ночью, будь она проклята, этой жизнью... Тото, ты только подумай, ведь если ты умрешь...

Виктор. Думаешь, я не жилец?

Эмили. Нет, конечно, я так не думаю! Я не знаю, что с тобой. Не беспокойся. Да это просто невозможно — умереть. Ты еще в самом начале жизни!

Виктор. Умереть можно в любом возрасте.

Эмили. Ты не умрешь, я не хочу этого, я хочу только, чтобы ты простил меня.

Виктор. Ну-ну, мамочка. Первое — я теперь умираю, второе — раз уж так надо, и третье — как не простить. Ты прощена. (*Благословляет ее. Эмили рыдает и судорожно целует его руку.*) Бывают такие дети, отличающиеся ранним развитием, граничащим с гениальностью. Бывают такие гениальные дети...

Эмили. Что?

Виктор. Ты послушай меня! Геракл с колыбели душил змей. Я всегда был слишком большим, чтобы такое чудо могло быть мне приписано с достоверностью. Паскаль в детстве с помощью кружочков и палочек постигал основные положения эвклидовой геометрии. Маленький Моцарт скрипкой и смычком приводил в изумление слушателей. Мальчик Фредерик играл одновременно на двух десятках досок в шахматы и выигрывал все партии. И, наконец, самый гениальный из всех — Иисус, с детства был провозглашен Сыном Божьим. Мысль обо всех этих предшественниках удручает сына Шарля и Эмили Помель, которому предстоит умереть по исполнении девяти лет.

Эмили. Мой дорогой!

Виктор. Ровно девять лет было отпущено! Что еще оставалось мне делать в этом домашнем мирке, заполненном моими школьными премиями и наградами? Что еще оставалось? Я тебя спрашиваю.

Эмили. Труд, привязанность близких... Кроме того, ты единственный наследник.

Виктор. Вот ты и сказала: оставалось быть единственным наследником. Единственный — это уникум. Природа наградила меня: в девять лет во мне два метра росту. Я уже с пяти лет — тогда во мне было метр шестьдесят — понял, что мне предначертано быть единственным, то есть уникумом.

Эмили. Как ты сказал?

Виктор. Уникум. Я тайно искал и нашел.

Эмили. Да что нашел-то?! У него бред.

Виктор. Эврика! Я нашел пружины, на которых зиждется положение Уникума.

Эмили. Бедное дитя! И каковы же они?

Виктор. Пружины эти... Мне было бы нетрудно изложить это письменно, будь у меня карандаш и бумага.

Эмили. Хочешь, я принесу?

Виктор. Нет, нет, ни к чему. Сил уже недостанет.

Эмили. И как же?

Виктор. Ничего, попробую объяснить. Пружины, на которых зиждется...

Входят Шарль и доктор.

Сцена XIX

Эмили, Виктор, Шарль, доктор, позже Лили.

Виктор. Ах, черт!

Доктор. Так, это наш больной. Ну что, как дела? Животик болит?

Виктор. Да, господин доктор. Болит. Тонкая кишка.

Доктор. Ничего страшного. Госпожа Помель, приготовьте полотенце, ложку. Хорошо. Так, повернись, ляг на живот. Температура есть?

Шарль. Не знаю, сами разбирайтесь. (*Явно нервничая, выходит.*)

Доктор. Сейчас разберемся.

Измеряет ректальную температуру. Долгая пауза. Входит Шарль, все так же нервничая. За ним горничная.

Лили (*вполголоса*). Госпожа! Госпожа!

Эмили. Тихо! Что еще?

Лили. Послушайте. (*Отводит Эмили в сторонку и что-то шепчет на ухо.*)

Эмили. Не может быть.

Шарль делает несколько шагов по направлению к двери.

Эмили (*бежит за ним*). Шарль!

Шарль. Что?

Эмили. Куда ты? Останься.

Шарль колеблется.

(*Схватив его за руки*). Отдай мне это!

Виктор (*лежа на животе и потому не в состоянии видеть, что происходит*). Папа, слушайся маму. Я так болен, дым мне

мешает. Отдай ей трубку, так ты не поддашься искушению.

Шарль отдает револьвер Эмили. Оба выглядят чрезвычайно удивленными.

Виктор. Не следует слишком давить на пружину, на которой держится Уникум.

Доктор. О чем это он?

Эмили. Он бредит, доктор.

Шарль. Бредит.

Лили, на протяжении всей этой сцены стоявшая неподвижно, уходит.

Сцена XX

Те же, без Лили.

Доктор (*разглядывая термометр*). Не удивительно, что он бредит. У него... У него очень высокая температура.

Эмили. Доктор, что с ним?

Доктор. Подождите, я осмотрю его. (*Осматривает его.*) Считает: тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь...

Виктор. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок...

Доктор продолжает осмотр.

Шарль. Ну что?

Доктор. Так вот...

Виктор (*кричит*). О-ля-ля! О-ля-ля! О-ля-ля!

Шарль и Эмили встают на колени у постели. Виктор успокаивается.

В котором часу я родился, мама?

Эмили. В одиннадцать тридцать вечера.

Виктор. А сейчас сколько?

Эмили. Сейчас... Который час, Шарль?

Шарль. Одиннадцать двадцать пять.

Виктор. Так вот, дорогая мамочка, я тебе назову пружины, на которых зиждется положение Уникума. Пружины эти...

Шарль. Доктор, но отчего он умирает?

Доктор. Он умирает от...

Виктор (*перебивая его*). Я умираю от Смерти. Это последняя из пружин.

Доктор. Что он имеет в виду?

Шарль. Я так ничего и не понял в этом ребенке.

Эмили. А другие пружины, Виктор, какие еще имеются пружины? Быстрее, одиннадцать часов двадцать восемь минут.

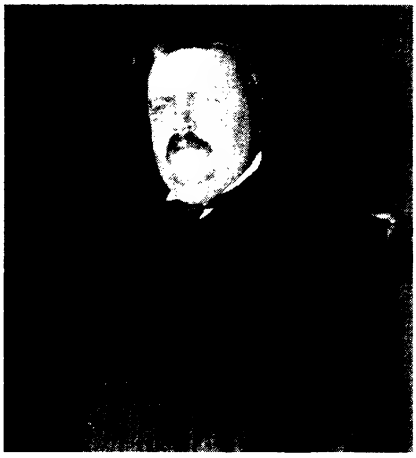
Виктор. Другие... (*Пауза.*) Я забыл. (*Умирает.*)

Доктор. Такова судьба упрямых детей.

Доктор уходит, опускается черный занавес. Слышатся два выстрела. Занавес поднимается. Эмили и Шарль распростерты у подножия постели, между ними лежит дымящийся револьвер. Открывается дверь, на пороге стоит горничная.

Лили. Да это, оказывается, драма!

Г. К. Честертон



Критик

Фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу"

Перевод с английского Т. Казавчинской

...Как удивительно, что Шоу долго был безвестен и жил едва не впроголодь. По-моему, его талант так поразителен и звонок, что мог быть оценен даже издателями и редакторами. А между тем он много лет перебивался в Лондоне случайными статейками в разделе объявлений и подписями под рисунками. Известны добрых два десятка анекдотов (их можно тут не вспоминать), как в те отчаянные дни он постоянно отвергал счастливые возможности и отклонял заманчивые предложения, не отвечавшие его особому и прихотливому понятию чести. Широкой публике его представил Уильям Арчер[1], имеющий так много и других заслуг.

Сейчас не верится, но Шоу оценили по достоинству не сразу, чему есть некая причина, хотя писать о ней и нелегко. Я часто слышу от людей, что Шоу их морочит, и не пойму, о чем они толкуют. По-моему, он оскорбляет их намеренно. Его манера говорить, тем паче о морали, всегда пряма и основательна — у ломовых извозчиков она сложней и тоньше. Богатый обыватель сетует, что Дж. Б. Ш. его дурачит. Но Шоу его вовсе не дурачит, а прямо и открыто говорит, что тот ду-

© Т. Казавчинская. Перевод, 2010

1. Уильям Арчер (1856–1924) — журналист и театральный критик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

рак. Джордж Бернард Шоу зовет домовладельца вором, а тот, вместо того чтобы вскипеть и оскорбиться, твердит: "Ну и хитрец! Такого не поймаешь на слове!" Джордж Бернард Шоу зовет политика лжецом, а тот приходит в восхищение: "Что за причудливый, непостижимый и запутанный ход мыслей! Неуловимая игра таинственных нюансов!" Я нахожу, что шутки и слова писателя всегда ясны и значат то, что значат, — он призывает публику покаяться. Посредственности думают, что смысл его речей замысловат и тонок, на деле же он прост и оскорбителен, и всякий раз, когда им надирают уши, они ропщут на то, что их водили за нос.

Своей стремительной язвительности он выучился под открытым небом, когда был уличным оратором, чем гордится по праву. С неотразимым здравомыслием он похваляется своей новейшей демагогией и требует подать ему тележку с рупором. Всем памятно, как в первом действии прекрасной пьесы "Сирано де Бержерак" герой, вместо того чтобы появиться через дверь или окно, вдруг вырастает над толпой. Вскочив на стул: "Les bras croisés, le feutre en bataille, la moustache herisés, le nez terrible"[1]. Не стану утверждать, что у Бернарда Шоу, когда он вырастал над Трафальгарской площадью, была воинственно заломленная шляпа или огромный, грозный нос, но если Сирано хорош, когда внезапно воспаряет над собравшимися, то был хорош и Шоу, взобравшийся на самодельную трибуну. Хоть я не знал его в те годы, но вижу мысленно, как молодой и уж, наверное, не менее подвижный, чем сейчас, рыжеволосый, бледный, он подымается впервые на перевернутую тачку или кадку в колеблющемся свете фонарей.

Прежде всего обращаешь внимание на его голос — певческий голос ирландца. И это объясняет многое: тому, кто говорит так мелодично, простят немало дерзостей. Это гораздо больше, чем ласкающий ирландский выговор, тут есть и приглашение к разговору, и подкупающая задушевность тона. Прибавьте также и свободную, подчеркнуто небрежную манеру поведения. Он позволяет себе столь необходимую оратору телесную раскованность, но у него она граничит с вызовом: он ходит гоголем, смешно и дерзко вскинув голову и поводя плечами, словно желает сбросить тогу, надетую им самочинно. Ни у кого нет, да и быть не может такой уверенности в жестах и словах, и никому не хватит духу так твердо,

1. "Руки его скрещены, шляпа — лихо заломлена, усы торчат, нос грозен" (*франц.*). Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

просто и небрежно заявить: "Нет, вы не правы, мистер Джонс, поверьте".

Его вибрирующий, мягкий голос, и теплый, и одновременно увещевающий, весьма помог ему вначале. Не нужно забывать, что Шоу заблистал в то историческое время взлета остроумия, которым обычно завершаются серьезные эпохи. То был бесцветный промежуток, явивший миру поколение юных старичков, чьим богом стал Оскар Уайльд. Но сам Уайльд был глубже и опаснее их чопорной, благопристойной, усредненной наглости. Когда повсюду разнеслось, что Шоу остроумен — а с этим трудно спорить, — и что его остроты повторяют, как за Уайльдом и Уистлером, и что это он сказал "семь смертных добродетелей", все приготовились увидеть денди — очередного денди: язвительного, едва цедящего слова, невозмутимого и саркастичного, с заранее заготовленной и сиротливой эпиграммой, единственной, как жало у пчелы. Когда же новый острослов предстал воочию, то все увидели, что у него нет ни натянутой улыбки, ни тихого благоприличия официанта, ни фрака с крашеной гвоздикой, ни страха опозориться, сойдя за дурака, а не за джентльмена. Словоохотливый ирландец в коричневатом сюртуке, с глубоким голосом и смелыми повадками хотел быть убедительным — и только. Само собой, и у него были свои приемы, свои излюбленные трюки, но, слава богу, он развеял чары человечка с моноклем, сковавшего за столькими столами веру и веселье.

К приятной наставительности голоса, тощей фигуре, важной осанке и разболтанной походке прибавим также и черты лица: обличье Мефистофеля с нависшими, кустистыми бровями и рыжей бородой двузубцем — поистине находка для карикатуристов. Как ни легко понять их радость, они перестарались, подчеркивая в нем лишь сатанинское, а доброты в его чертах не меньше, чем насмешки.

Начав работать, Шоу находил дорогу ощупью. Он выступал в трех ипостасях: как театральный критик, как музыковед и как обозреватель выставок. И всюду, разумеется, он ратовал за новый стиль и самую передовую школу, писал со страстью, как и обо всем, — но музыка была ему дороже прочего.

Обычно математики предпочитают музыку поэзии. Таков и Шоу, и потому, желая похвалить Шекспира, он непременно назовет его стихи "музыкой слов". Любовь логика к музыке понять нетрудно. Как и другим, ему необходимы чувства и романтика: в человеческой жизни, достойной называться этим словом, нет ничего важнее чувств. И логик ищет их в поэзии. Но ощущает лишь растерянность и раздражение —

знакомые слова звучат там непривычно. Он полагал, что знает слово "видеть", но Мильтон говорит, что видит и в кромешной тьме. Он полагал, что знает слово "скрыться", но Шелли пишет, что поэт укрылся в свет. Наш логик полагал, что смысл "висеть" ему понятен, но, если верить Уильяму Шекспиру из Стратфорда-на-Эйвоне, гребни неистовых морских валов висят на скользких облаках. И логик отворачивается от поэзии. Слова для него — точный инструмент. Его мутит, когда их применяют не по назначению. И с чувством облегчения он предается музыке, где есть все то, что и в поэзии: и вдохновение, и чистота, и сила, и очарование, но без словесных вывертов, вроде того, что в свет можно укрыться, а темноту увидеть в темноте. Музыка есть красота. Свободная от формы, чистая стихия, где можно плыть, не возвещая и не отрицая истину. Конечно, Шоу не чета математическим педантам, но чувства их похожи. Он обожает музыку за то, что весь словесный реквизит романтиков, и подлинный, и ложный, ей не нужен. Музыка романтична без всякого намека на Шекспира или Скотта, а с ними он не ладит. Музыка католична и за стенами католического храма, где он ни разу не был, но убежден, что там ему не место. Шоу не против композитора Вагнера, который изъясняется без слов, но с человеком Вагнером он бы наверняка повздорил. Пожалуй, музыка для трезвого ирландца (а любит он ее так сильно, что, говоря о нем, нельзя начать с чего-либо другого) играет роль предохранительного клапана.

Возможно, погружаясь в музыку, Шоу становится иным, неузнаваемым, неведомым ни мне, ни миру. Но пишет он о ней с немалой долей гениальности, а также — узости. Из написанного ясно, что он не признает романтики. Очень возможно, что, садясь за пианино в своей комнате, он щегольски сдвигает шляпу, обнажает шпагу и даже осушает чарку. Но из речей его я вижу, что понимает он не все. Быть может, на концертах он проницает сущее, и Бога, и меня — тут я смолкаю и почтительно откланиваюсь. Как хорошо, когда в герое есть такие тайные глубины: биограф держится скромнее — и биография делается занятнее.

Как музыкальный критик Шоу провозгласил себя апологетом Вагнера и разразился множеством изысканных и желчных панегириков этому мятежнику музыки. С другими видами искусства было так же. Став в музыке адептом Вагнера, а в живописи — Уистлера, он в театре стал адептом Ибсена, и это главное, о чем пишу я в этой книге.

Получив с легкой руки Уильяма Арчера отдел театра в газете "Сатердей ревью", он заблистал "звездою сцены", или

скорее метеором, или даже разрушительной кометой. Тот день, когда он начал там печататься, стал первым днем веселой, честной битвы, взорвавшей тишину ползучего, циничного распада, которым завершался век. Теперь он наконец обрел свою тележку и свой рупор и счел их и трубами Страшного суда, и колесницей Апокалипсиса. Ему недоставало раболепия обычного мятежника, бунтующего против короля и церкви, но — и только. Такие мятежи были всегда — как и короли, и церковь. Он пожелал обрушиться на нечто доброе и мощное, а также — на святое, на что никто и никогда не посягал. Ему неинтересно было слыть одним из атеистов — ему необходимо было замахнуться на такое, что почитают даже атеисты. Ему претило быть революционером, которых пруд пруди и без него. Ему хотелось покуситься на святыню, которой дорожат даже насильники и нечестивцы. Он должен был низвергнуть то, о чем "Фри тинкер" говорит в передовой устами Фута не менее благоговейно, чем Литтон Стрейчи в передовой "Спектейтора", и он обрел желаемое. Он отыскал великую, незыблемую ценность, имя которой — Уильям Шекспир.

Нападки Шоу на Шекспира, при всей своей карикатурности, нимало не были подвохом или обдуманным, диким эпатажем. Он говорил как на духу, и то, что люди называли несерьезностью, было весельем человека, который радуется, говоря, что думает на самом деле, а это вправду лучшая из радостей. И больше того — развенчав слепое поклонение пришельцу с Эйвона, сказать по правде, Шоу совершил благое дело. Такое поклонение вредило Англии. Оно произвело на свет опасное самодовольство, которое заставило нас думать, что Шекспир не просто величайший поэт, а неподсудный критике, единственный. Это вредило и словесности, ибо набросанный вчерне, неотшлифованный шедевр прослыл искуснейшей поделкой. Оно вредило и морали, и религии, ибо, воздвигнув эдакий огромный идол, мы слепо и бездумно идеализировали такое же, как мы, дитя человеческое. Конечно, если бы не собственные недостатки, Шоу не разглядел бы недостатки Барда. Но чтобы устоять перед такой поэзией, необходимо было быть равновелико прозаичным. Ведь не случайно сокрушать скалу сирен отправили глухого.

В борьбе с Шекспиром отразились три особенности Шоу — о них мы говорили выше. Отчасти важно было то, что он ирландец и порицает англичан, которые творят религию из своего художественного вкуса, воспитанного в детстве тетушками и дядюшками. Шоу твердил, что мы не наслаждаемся, даже не восхищаемся Шекспиром, а, грубо говоря, кля-

немся им. Он бог, а к богу следует взывать. От Шоу требовалось малое: лишь показать, что почитаемое надлежит хулить. Отчасти то была позиция прогрессиста, который одержим идеей нового и борется с засильем прошлого, или скорей с самой историей. По мнению Шоу, пророкам нужно воздвигать гробницы, а после — побивать каменьями. В нем говорила дерзость янки, которого мутит от власти мертвеца, пролежавшего в земле три века, — подобно Марку Твену, он требовал труп посвежее.

Его любовь к прогрессу и происхождение важны, но суть была не в них. С Шекспиром воевала не на шутку третья — пуританская — часть его души. Он обличал его, как только что покинувший молельню пуританин в высокой шляпе с жесткими завязками усовещал бы своего современника-актера, который вышел из своей уборной в театре "Глобус". Газеты распустили слух, что Шоу хвастает, будто пишет лучше Шекспира. Это неправда, и обидная. Кого он в самом деле ставил выше, это Бэньяна. Он показал и мужество Бэньяна, и его отношение к жизни как к возвышенному и ответственному приключению. В Шекспире же он не видел ничего хорошего — один греховный пессимизм, тщету пресыщенного сластолюбца. По мысли Шоу, Шекспир только и мог, что заклинать: "Догорай, огарок", ибо тот был лишь бальной свечой, тогда как Бэньян захотел возжечь свечу, которую по милости Господней не загасить вовек.

Парадоксально, но через главный свой изъян — нечуткость — Шоу пришел к прекраснейшей из всех своих идей. Шекспира он хулил по недоразумению, но пессимизм Шекспира поносил разумно. Тут проявилось настоящее величие Шоу — его серьезное, трагическое жизнелюбие. Жизнь слишком хороша, чтоб ею наслаждаться. Она сурова и тяжка, и трубный глас волнует и страшит. Шекспира он не понимал как пуританин, которому католик чужд по духу, а Шекспир — католик. Пуританин рвется постичь истину, католик довольствуется тем, что она есть. Пуританин хочет стать сильным, чтобы быть тверже, католик — чтобы быть гибче. Шоу не принимал унылые признания Шекспира — по большей части жалобы на смены настроения, которые порою разрешает себе тот, кто крепок в вере. "Все суета сует", "жизнь — тлен", "любовь — прах" — такие вольности и шутки католик позволяет себе выговорить вслух, ибо не сомневается ни в вечной жизни, ни в небесной любви. И в радости, и в горе он разрешает себе больше пуританина. Переизбыток горести у Гамлета, по сути, то же, что кипенье радости у Фальстафа. Не думайте, что все это придумал я, — так говорит Шекспир. Ведь

даже признаваясь в пессимизме, Гамлет роняет, что таково лишь чувство, а истина — в другом. Это ему возвышенные небеса кажутся лишь грязным скопищем паров, и только для него венец творения, человек, — лишь квинтэссенция праха. Гамлет — полная противоположность скептику. Его мощный ум верит сильнее, чем позволяет вялый темперамент. Эта способность знать, не ощущая, и верить, не чувствуя, — старое католическое противоречие, не доступное уму пуританина. И, сознаваясь в грусти и тоске — чаще всего устами злодеев и неудачников, Шекспир не противопоставляет их уму. Его стенания о суете сует — все та же безобиднейшая суета. Боюсь, читатели не согласятся, что он католик с большой буквы, но думаю, не станут возражать, что он *католик*, а это главное. Шекспир скорее был не пессимистом, а столь глубоким оптимистом, что наслаждался даже пессимизмом, чем и разнился, в основном, от пуританина. Истинный пуританин не чопорен — может и чертыхнуться. Тогда как елизаветинский католик в порыве раздражения готов отправить к черту все на свете.

Незачем говорить, что "нехорошему" Шекспиру, достойному лишь развенчания, Шоу противопоставил "хорошего" Ибсена, заслуживающего прославления. Ему мало было сравнить Шекспира с Бэньяном. В его искрометных статьях, выходивших в "Сатердей ревью", все вертелось вокруг главного — сравнения Шекспира с Ибсеном. Со всем присущим ему пылом он ринулся в спор о великом норвежце. Понятно, за кого он ратовал. Но в избранной им "линии защиты" было немало личного. Сейчас не время ворошить этот потухший кратер. Вы скажете, что ибсенизма нет, что нет ни Ибсена, ни спора, и можно повторить вслед за великим римлянином: лишь в смерти видно, как ничтожно наше тело. Противники Ибсена держались, как толпа, чьи ощущения верны, а доводы превратны. Объявив Ибсена пессимистом, они ошиблись, и серьезно. Главной его слабостью было почти детское доверие к природе и свободе, а главным заблуждением (рожденным то ли опытом, то ли родной ему культурой) было непонимание греха. И потому Ибсен не столько пессимист, сколько весьма наивный оптимист. Но человек толпы, как водится, не ошибался в главном: на свой неяркий северный лад Ибсен — оптимист, вот только оптимизм его совсем не весел и утешает меньше пессимизма Данте. Так дивный северный рассвет всегда прохладней южной ночи.

Среди адептов Ибсена согласия не было, а, может статься, не было и трезвости. Разрозненную армию прогрессистов (которая движется к прогрессу сразу во все стороны) объеди-

няло чувство, что им положено быть с Ибсеном, ибо он тоже прогрессивный. К тому же все они поверили Флоберу и Уайльду, твердившим, что искусство выше этики и социального блага. Все прочие — их было большинство — превозносили пьесы Ибсена как choses vues[1], или как эстетическое доказательство возможного безотносительно к необходимому. Такую точку зрения Джордж Бернард Шоу отмел решительно и гневно.

Со всей присущей ему пуританской страстностью и деловитостью он возвестил, что Ибсен — моралист, а не художник; что его пьесы просвещают, как просвещает всякое великое искусство; что Ибсен, горячо сочувствуя одним своим героям, не менее горячо клеймит других; что у хороших драматургов всегда есть поучение и дух гражданственности, а будь это не так, и драматурги, и все прочие художники лишь пособляли бы духовному разврату, и, значит, их пришлось бы сажать под замок, как и поступали пуритане с актерами. Кто не оценит этот молодой мятеж в защиту этики и против чистого искусства, тот не поймет Бернарда Шоу. Бунт этот очень важен. В нем выступают те особенности честолюбия Шоу, благодаря которым членство в приходском совете ему было милее славы первого драматурга Европы. Но чтобы понять самое существенное, нужно вновь припомнить особенности характера Шоу. Тогда мы сможем различить и голос человека, который признает лишь подлинные ценности и отвергает новизну как самоцель, и голос пуританина, который больше не согласен быть лишь прогрессистом.

Став приверженцем Ибсена, Шоу возложил на себя немалую ответственность. Коль скоро целью новой драмы было воспитание, цель эту нужно было прояснить. Коль скоро Ибсен учил нравственности, необходимо было разобраться, что это за нравственность. На эти темы Шоу блестяще рассуждал в критических статьях, в те годы выходивших в "Сатердей ревью". Но прежде чем судить об Ибсене в связи с новейшей пантомимой или последней опереттой, он все обдумал очень основательно. Давайте возвратимся несколько назад. В 1891 году вышла блестящая книга Шоу "Квинтэссенция ибсенизма", которую немедля объявили квинтэссенцией Шоу. По сути, а также исходя из заявленной позиции, то была квинтэссенция морали Шоу и его преданности Ибсену.

Его книга много длинней той, что пишу сейчас я, и с каждым ее абзацем мне хочется спорить — как и положено столь

1. Тут: нечто замечательное (*франц.*).

пылкому апологету. Я мог бы написать эссе о каждой фразе, с которой согласен, и три — о каждой, вызывающей у меня протест. Шоу — мастер краткости, он лучше всех умеет изложить суть дела сжато, и пересказывать его — занятие нелепое, вроде сгущения бульонных кубиков до суперконцентрата. Главное в "Квинтэссенции ибсенизма", по-моему, можно передать так: это книга неверия в идеалы — при всей их универсальности — и книга веры в факты — при всей их разнородности. В каждой строке автор неустанно потешается над "идеалистом", иначе говоря, над человеком, который всерьез относится к нравственным истинам. "Не те поступки хороши, что отвечают нравственности, а те, что доставляют счастье", — учит Шоу. Это, конечно, непоследовательно: выбрасывая за борт идеалы, он первым делом выбрасывает счастье — оно ведь тоже идеал. Но если сказанное отнести к сегодняшнему дню, это, вне всякого сомнения, программное высказывание. Солгав, я должен укорять себя не в том, что предал истину, а в том, что сбился и запутал дело. Нарушив слово, сохраняй спокойствие (волнение было бы пережитком), не бойся повредить душе, как повреждают порой важный телесный орган, существенно лишь не испортить что-либо вовне — так, скажем, люди портят праздник. Убив отца, не огорчайся — очень возможно, что ему так лучше, хотя было бы идеализмом надеяться, что ты не избежишь мук совести и ощущения вины. Все происшедшее рассматривай изолированно — вне социальных и моральных рамок. "Золотое правило" этики состоит в том, что правила такого нет. Неверно, будто совестно нарушать обещание, хотя иные обещания сдерживать и стоит. По существу, это анархия, и нелегко понять, зачем в общественной морали быть социалистом, если в личной ты — анархист. Впрочем, коль скоро это и анархия, то без обычной своей удали. Это какая-то тревожная, стыдливая анархия, болезненно предупредительная, даже осторожная. Она не верит ни традиции, ни опыту; не хочет следовать проложенным путем; любую частность судит по отдельности и в то же время — с точки зрения всечеловеческого блага; и каждому велит держаться так, как будто до него людей на свете не было. Однако требует постоянно думать о потомках, заботиться о будущем, причем не прибегая к опыту отцов. Иные опасаются, что расходившиеся анархисты растопчут наши чудо-города. По-моему, они будут ходить на цыпочках. Не думаю, что анархизм ведет к безудержной свободе, скорей — к великой неуверенности. Когда трудно понять, что нравственно, что нет, можно и вовсе перестать над этим задумываться. Вместо запутавшейся нити, которую нам

предстоит распутать, мир превратится в страшный механизм, вроде часов, до которых дикарь боится дотронуться. Не верится, что Ибсен насаждал такой дикарский страх, и еще меньше верится, что Шоу насаждал его сознательно. Одно лишь ясно – он так говорил.

Как бы то ни было, "Квинтэссенция ибсенизма" призвана была поднять сиюминутную реальность над общими теориями. Шоу был не согласен с тем, что каждая подробность в пьесе обобщает все, о чем там говорится. Он не любил, когда в последнем акте побеждала справедливость, а зло терпело поражение – вопреки правде страстей и характеров. Он не любил deux ex machina за то, что Бог является из машины. Но он не жаловал его и без машины за то, что Он всеобщ. Нередко говорят, что Шоу – враг семьи, враг дома, но тут он предстает домашним до невероятия. Любую частность ему хочется решать келейно, по-домашнему, без ссылок на мораль и этику. Против такой гигантской казуистики нельзя не ополчиться – театр слишком мал, чтобы вместить ее. Нечестно представлять Давида с Голиафом на сцене, коль скоро сцена не вмещает Голиафа. Нечестно рассуждать о личной нравственности, если общественной – на театре тесно. С тех пор как кончилось Средневековье, подобных героев на сцене не было, имя им – Обычные Люди, их честь у нас в руках.

Михаил Матвеев
В "Глоб" по Стрэнду – с Вудхаусом

Назвать статью следовало бы яснее. Что за "Глоб"? Почему по Стрэнду? О чем тут речь? То ли дело — "Ранний Вудхаус" или "Поэтическое наследие Вудхауса". Загляденье! Правда, слишком емко. Может, "Мистер Вудхаус и попугаи"? Слишком узко. "П. Г. Вудхаус и английская стихотворная журналистика конца XIX — начала XX столетия"? Хорошо, но длинновато. "Вудхаус-пародист"? Наоборот, коротко. Еще древние римляне советовали: "Ne quid nimis"[1]. "Вудхаус-журналист"? Уже лучше. "Несколько слов о..."? О чем? "О влиянии С. Уилберфорса на творчество Вудхауса"? А влиял ли? "Некоторые аспекты..."? Больно мудрено. "Лингвоэстетические особенности лексико-семантического поля Psittacinae в ранних и поздних текстах Вудхауса"? Чересчур просто.

Как названа, так названа, тут уж ничего не попишешь. Сам Вудхаус сетовал: "...по неведомой причине придурка Гасси неудержимо влекло к указанной девице, и тут уж ничего не попишешь"[2]. Однако статья не девица, как говаривал Берти Вустер[3], так что попишем.

Итак. "Если вы не видели, как я еду на велосипеде по Стрэнду к редакции "Глоба", <...> если вы не видели этого, вы ничего не видели. Память людская коротка, если все забыли, как я победил в матче "Глоб"—"Ивнинг ньюс" со счетом 2 : 2.

© Михаил Матвеев, 2010

1. Ничего слишком (*лат.*). См. П. Г. Вудхаус. Не позвать ли нам Дживса? "Встретить на странице пометки (1) или (2) для меня все равно что, гуляя по ровной изумрудной лужайке, внезапно наступить ногой на грабли", — заметил как-то Вудхаус. (Перевод А. Ливерганта.) Увы! Нам придется огорчить мистера Вудхауса, страстно ненавидевшего сноски, — такие грабли встретятся на пути читателя ("Или читателей. Будем же оптимистами!" — *Прим. П. Г. Вудхауса*) не раз и не два.
2. П. Г. Вудхаус. Ваша взяла, Дживс. Перевод. И. Шевченко.
3. "Дживс, вы повторяете прежнюю ошибку. Гасси не попугай. Вам необходимо последить за собой". Там же. О попугаях разговор особый, нам он еще предстоит.

Было это в 1904 году"[1], – пишет семидесятипятилетний Вудхаус о заре своей туманной юности.

Начало XX века. Воспоминания писателя о той поре скупы. А между тем именно тогда он начинает свой путь по Стрэнду не только в "Глоб", но и в "Панч", и, не побоимся этого слова, – в мировую литературу. Его печатают, как он сам признается, "раза два в самом 'Стрэнде', это для новичка соответствовало ордену Подвязки"[2]. Вудхаус "заслужит" еще не один орден Подвязки. В "Стрэнде", заметим, публикации Вудхауса будут появляться с известной регулярностью вплоть до начала 20-х годов. Впрочем, к тому времени он уже не будет новичком.

Пока же Вудхаус публикуется много, ведет колонку в "Глобе", его юмористические стихи появляются в "Дейли кроникл", "Ивнинг ньюс", "Дейли экспресс" и многих других "утренних, вечерних и еженедельных газетах", которых, – вспоминает он скромно, – было столько, что с тридцать пятой попытки кто-нибудь да печатал ваш очерк о "Ярмарке цветов" или пародию на Омара Хайяма"[3]. (И где же эта пародия? "Утраченная пародия Вудхауса" – чем не тема для пытливых умов? Не красного же словца ради вспоминает Вудхаус Хайяма?)

Память людская действительно коротка, и об этой стороне творчества Вудхауса все основательно подзабыли (включая самого автора), поскольку только в 1988 году вышел его сборник "Попугай и другие стихотворения"[4].

Стихи Вудхауса смешны, частенько пародийны, порой весьма изобретательны, написаны всегда на актуальные темы, почти всегда служат откликом на то или иное событие, на ту или иную публикацию и, видимо, находятся в русле традиции британской "рифмованной" журналистики в духе Уильяма Гилберта и Томаса Гуда[5].

1. П. Г. Вудхаус. За семьдесят. Перевод Н. Трауберг.
2. Там же.
3. Там же.
4. The Parrot and Other Poems. – Hutchinson Ltd., 1988.
5. Уильям Швенк Гилберт (1836–1911) – английский журналист, драматург, либреттист, прославившийся совместной работой с композитором Артуром Салливаном, поэт. Томас Гуд (1795–1845) – английский поэт, автор лирических и сатирических произведений, редактор ряда ведущих британских журналов. Вудхаус, похоже, столь же нежно относится к Томасу Гуду, как и Берти Вустер. Вот какие воспоминания оставил по себе Томас Гуд в неокрепших умах того и другого: "...я чувствовал себя примерно так же, как Юджин Арам, когда ему надели наручники. Помните это место? 'Ти-там-ти-там ти-там-ти-там ти-там-ти-там ненастье' (вроде бы там была плохая погода), и Юджин Арам посреди, оковы на запястьях". (Радость по утру. Перевод И. Бернштейн; Юджин Арам – преступный персонаж поэмы Т. Гуда "Сон Юджина Арама" (1829). "Знаю я этого 'Бена Воина', сам в детстве неод-

Вудхаус сам раскрывает источники своего поэтического вдохновения: "...я бросил бы поэзию[1], но через несколько дней утренняя газета сообщила, что, согласно исследованиям Мичиганского университета, куры очень болезненно воспринимают какую бы то ни было грубость.

Как не написать поэму? Я и написал"[2].

Как не написать поэму или стихотворение, если, по замыслу Конан Дойла, Шерлок Холмс вот-вот должен удалиться от общественной жизни и предаться разведению пчел? Как не написать стихотворение, если тот же Конан Дойл, немало посмеявшийся над инспектором Лестрейдом, расточает похвалы британской полиции? Как не написать стихотворение, если все Смиты города Чикаго ополчились против отщепенца, решившего изменить свою фамилию Smith на Smythe?

Как не написать стихотворение, если британские медицинские журналы сообщают, что любой мужчина, отмеченный печатью гения, будет несчастлив в браке, а американские ученые утверждают, что быть умной вредно. Отсюда и стихотворение "Как глупо быть умной"[3]:

> Американские ученые пришли к заключению, что повышение уровня образования и интеллектуального развития женщин должно пагубным образом сказаться на женской привлекательности.

О, Филлис, ты — само очарованье,
Своим пером я воспевал его,
Но стих померк, пусть выполнит старанье
То, что не в силах сделать мастерство.
Сейчас — увы! — ты тихо увядаешь,
И я обязан быть непримирим —
По слухам ты испанский изучаешь
И греческий — одновременно — с ним.

нократно его декламировал. Эдакий антиквариат с неаппетитными подробностями, и в каждой строчке — игра слов, ни один нормально мыслящий мальчик не взялся бы его читать по своей воле... 'Бен-Воин-сра-жался-под-грохот-и-стук-но-ему-оторвало-обе-ноги-тогда-он-поднял-обе-руки-и-все-сошло-ему-с-рук', — выпалил он, затолкав всю строфу в одно сверхдлинное слово. И пустился чесать дальше". (Брачный сезон. Перевод И. Бернштейн). Вот, можно сказать, пролог к разговору о пародиях Вудхауса.

1. Поэзию Вудхаус так и не бросил. Его стихи постепенно перекочевали со страниц газет и журналов в тексты его будущих прозаических произведений. Например, довольно известное стихотворение "Гну" украсило рассказ "Злые чары Бладли Корта" (1929).

2. П. Г. Вудхаус. За семьдесят.

3. Впервые опубликовано в "Панче" 29 октября 1902 г.

Твой томный взгляд — ему слагал я стансы.
Бывало, он ко мне благоволил,
Теперь же Дон Кихот и Санчо Панса
Владеют им, а может быть, Эсхил.
Когда твердишь ты речи Фукидида,
В твоих глазах страдание и боль.
Ты этот факт не упускай из вида,
И мне предостеречь тебя позволь.

Остерегись, молю я: обученье —
Свирепо и жестоко, как вампир,
Красивой быть — твое предназначенье,
И красотою осчастливить мир.
Я убежден, не стоит обаянье
Всех этих книг, надменных и сухих,
Изящна будь, прекрасное созданье, —
Моих мозгов нам хватит на двоих.

Стоит отметить, что уже здесь звучит пародийная нотка, поскольку название стихотворения — это последняя строка из оды Томаса Грея "Вид издали на Итонский колледж", которую, в свою очередь, пародировал Томас Гуд в сатирической оде "Вид издали на Клефемскую академию". Академию эту традиционно противопоставляли Итону.

Однако, по утверждению Н. Л. Трауберг, "должно быть, самым большим успехом пользовалось анонимное стихотворение "Попугай", которое печаталось в "Дэйли экспресс". Попугай рассуждал шесть дней в неделю на финансовые темы; длилось это с октября до середины декабря (с перерывами). Стихи, действительно прелестные, написаны по образцу "Ворона". Каждое восьмистишие кончается фразой: "А еда подорожает", которая вошла в поговорку и настолько, что либералы использовали ее на выборах 1906 года"[1].

Конечно, это беспримерный писательский (пародистский) подвиг — два с половиной месяца сочинять пародии на одно и то же стихотворение практически ежедневно, пусть даже оно (стихотворение) к этому располагает. Что ж, снимем шляпы перед великим талантом Эдгара Алана По.

Нетрудно посчитать, сколько "Попугаев" вышло из-под пера Вудхауса за это время! Мы ограничимся тремя.

1. Пэлем Грэнвилл Вудхаус. Краткая биография. Наталья Трауберг специально для сайта Российского общества Вудхауса http://wodehouse.ru/bio.htm

Попугай (№ 1)

В Кобден-клубе[1] в час томленья после пищепресыщенья
Попугай влетает в двери и, не слыша ничего,
Что бы вы ни говорили, что бы ни произносили,
Все одно бормочет: "Пища будет стоить о-го-го!"[2]

Он из твердых соткан тканей и к потоку замечаний
Отнесется с древней скукой — не добьешься от него,
Чтоб сказал он: "Повторите!", или просто "Поясните!",
Заключает тут же: "Пища будет стоить о-го-го!"

Если скажете, что долго, повинуясь чувству долга,
Жернова крутиться будут или более того,
Что поднимется зарплата, монотонно, как когда-то,
Все равно он скажет: "Пища будет стоить о-го-го!"

На слова, что в нашей жизни не бывать дороговизне,
Ни на фартинг жизнь не будет стоить больше... — ничего
Не услышите иного, повторит он слово в слово,
Задремав почти что: "Пища будет стоить о-го-го!"

На цепочку доказательств, что имперских обязательств
Для колоний точно хватит, хватит точно для того,
Чтоб снабдить нас урожаем, он, как прежде несгибаем,
Не колеблясь, скажет: "Пища будет стоить о-го-го!"

Будет он сидеть, кивая, монотонно отвечая, —
С этим свойством попугая вам не сделать ничего,
И на возглас: "Духом нища! Птица, что ж ты все о пище!?" —
Он для верности добавит: "...будет стоить о-го-го!"

Попугай (№ 2)

На Флит-стрит в мансарде скромной
Жил поэт; вдруг ночью темной
Попугай нахальный втерся

1. Назван так в честь Ричарда Кобдена (1804–1865) — английского политического деятеля, поборника свободы торговли. Клуб и был создан как раз для пропаганды идей свободной торговли.
2. Лозунг либералов пришлось перевести, скажем так, более броско.

В дверь обители его.
Попугай, найдя поэта
За созданием сонета,
Закричал внезапно: "Пища
Будет стоить о-го-го!"

Бард взмолился: "Тише, птица!
Пища мне не пригодится! –
Тайны древнего Парнаса
Мне постичь важней всего.
Эта страстная идея
Для меня всего важнее.
Мне-то что, пусть даже пища
Будет стоить о-го-го.

Я не ем котлет и мяса,
Только лилиями с часа
Восхищаюсь ежедневно
И до полчетвертого.
Ну а счет за пару лилий
Я осилю без усилий,
Так что мне еда не будет
Стоить больше ничего".

Попугай (№ 3)

Съев на ланч миссионера, –
Что за жуткая манера! –
Казуар вздремнул, но тут же
Попугай вспугнул его.
Приземлившись незаметно,
Он изрек авторитетно
Афоризм бесценный: "Пища
Будет стоить о-го-го!"

"Не общаюсь я обычно
(Казуар сказал тактично)
С теми типами, которых
Не встречал я до того.
Впрочем, тонкие дилеммы
На финансовые темы
Я люблю решать... Так что там
Будет стоить о-го-го?

Пташка! Я во время оно
(Казуар сказал смущенно)
Ел людей, их рясы, нимбы...
Так ответь мне, отчего
Станет мне не по карману
Съесть еще одну сутану?"
Попугай ответил: "Пища
Будет стоить о-го-го!"

"Тьфу ты! Сна и аппетита
(Казуар сказал сердито)
Я лишусь, общаясь с теми,
С кем не знался до того.
А теперь я жду, когда ты
Прекратишь со мной дебаты..."
Попугай сказал лишь: "Пища
Будет стоить о-го-го!"

В последней пародии Вудхаус обыгрывает еще одно хрестоматийное четверостишие, принадлежащее епископу Оксфорда Сэмюэлу Уилберфорсу (1805–1873)[1], который оппонировал в знаменитейшей дискуссии о "Происхождении видов" Томасу Гексли, получившему прозвище "бульдог Дарвина".

Епископ отнюдь не был лишен чувства юмора (иначе дискуссия рисковала стать не столь знаменитой) и за словом в карман, как и Вустеры[2], не лез. Когда при нем как-то заявили, что невозможно подобрать рифму к слову Тимбукту (Timbuctoo), он немедленно откликнулся четверостишием:

If I were a cassowary
On the plain of Timbuctoo
I would eat a missionary
Cassoks, bands and hymn-book too[3].

1. Справедливости ради, следует сказать, что порой это четверостишие приписывается У. Теккерею. А писательница Мэри Ф. Никсон-Рулет (Mary F. Nixon-Roulet – если б не Roulet, почти Рози М. Бэнкс) приписывает стихотворение Томасу Маколею. Контекст тот же, с небольшими разночтениями. Существует великое множество вариантов этого четверостишия. "Нью-Йорк таймс" в 1906 г. просто атакуют благодарные читатели, присылая в редакцию все новые и новые варианты. Ну что тут скажешь, вполне в духе фольклорной традиции.
2. "Мы, Вустеры, за словом в карман не лезем". П. Г. Вудхаус. Дживс, вы гений. Перевод Ю. Жуковой.
3. Существует сделанный С. Маршаком пере... – нет, пожалуй, переложение этого четверостишия, из которого, к сожалению, исчезла не только составная рифма, но и алчущий миссионеров казуар, не имеющий к Африке, кстати сказать, никакого отношения:

Любопытно, что с этих ли пор или с каких иных Вудхаус испытывает глубокую, непреодолимую привязанность к имени Уилберфорс. Уилберфорсы просто кишмя кишат, словно тритоны, в произведениях писателя. Второе имя Берти Вустера — Уилберфорс, которое ему дал родитель, когда "сорвал куш на скачках 'Гранд нэшнл', поставив на аутсайдера по кличке Уилберфорс"[1], — сообщает нам тетка Вустера. Боевого Биллсона зовут Уилберфорс, давняя любовь лорда Якслн — миссис Уилберфорс, имя Уилберфорс звучит в романах "Дядя Фред посещает свои угодья", "Что-то не так", "Не позвать ли нам Дживса?" и "Так держать, Дживс". И это, вероятней всего, далеко не исчерпывающий перечень вудхаусовских Уилберфорсов.

Попугаи не менее обильно населяют книги Вудхауса. Может ли обойтись сэр Пелэм без попугаев, спросим мы себя. Нет. Они ему столь же дороги, как и Уилберфорсы, эссекские, кумберлендские, шропширские[2] и какие бы то ни были еще, поэтому тема "Вудхаус и попугаи", безусловно, заслуживает специального и пристального рассмотрения. Никто, пожалуй, не удивится, если какой-нибудь мистер Уорпл напишет внезапно книжку-другую: "Птицы Вудхауса" и "Еще раз о птицах Вудхауса"[3]. Тут и казуары пригодятся[4].

Будь я крупного размера
Африканский крокодил,
Я бы враз миссионера
С книгой гимнов проглотил.

Рискнем предложить свой вариант. Конечно, удовлетворительный перевод вряд ли возможен, однако, "почему бы... не попробовать силы на этом поприще?" Кто это сказал про кого-то, что он "опьянен избытком собственного красноречия"? (Тысяча благодарностей, Дживс. Перевод Л. Мотылевой и Л. Мотылева.) Назовем нашу попытку эскизом перевода:

Если б я был казуаром
Здесь, в долинах Тимбукту,
Ел бы папских эмиссаров,
Чуть заметив нимб их тут.

Или, как процитировал бы Вустер: "Будь я ти та казуаром... (как-то так. Какая же там была рифма?) та та ти та Тимбукту, Я бы ел миссионеров... (или не миссионеров? Дживс, как там дальше?) Чуть заметив нимб их тут". Спасибо Берти.

1. П. Г. Вудхаус. Тысяча благодарностей, Дживс.
2. П. Г. Вудхаус. Так держать, Дживс.
3. П. Г. Вудхаус. Тернистый путь к славе. "Мистер Уорпл же в свободное время был, что называется, орнитологом. Он написал книгу под названием "Птицы Америки" и теперь работал над следующей, которая называлась "Другие птицы Америки". Предполагалось, что по завершении второй он начнет третью книгу и будет продолжать в том же духе, пока видовое разнообразие американских птиц не иссякнет". Перевод Н. Сечкиной. Замените Америку на Вудхауса — получится то, что надо.
4. См., например, П. Г. Вудхаус. В конце концов, гольф есть гольф: "Похож он на креветку с гастритом. Дохлый, чахлый, в очках. Спасовал бы перед... ну, казуаром". Перевод Н. Трауберг.

Не мог обойти вниманием мистер Вудхаус и "Алису в Стране чудес".

К слову сказать, Льюис Кэрролл прекрасно знал Сэмюэла Уилберфорса и был посвящен им в сан диакона. Усматривать в этом обстоятельстве какой-либо глубокий смысл вряд ли уместно, но тем не менее это дает нам возможность перекинуть мостик к еще одной пародии Вудхауса. Бывают странные сближения, как сказал поэт. Хотя, если речь идет об Англии, то вовсе и не странные. Удивительная особенность английской словесности, по нашему скромному мнению, заключается в том, что ее представители не столпы, а мостики[1], ведущие от одного к другому, над незамутненной, как сказала бы Мэдлин Бассет[2], водной гладью фольклора и традиции.

На этот раз Вудхаус предлагает нам узнать, чем закончилась трапеза "Моржа и Плотника".

Расплата[3]

Помолчав, Алиса проговорила:

— Ну, тогда, значит, оба они хороши![4]

— De mortuis...[5] — сказал Траляля с упреком.

— Я не знаю что это такое, — сказала Алиса.

— Ты многого не знаешь, — отрезал Труляля. — Это уж точно!

Алисе совсем не понравился его тон, и она подумала, что лучше бы перевести разговор на что-нибудь другое.

— Если Вы уже закончили... — *сказала она как можно вежливее.*

— Ни в коем разе! — отвечал Труляля. — Большое спасибо за внимание!

— Премного благодарны! — поддержал его Траляля. — Есть еще четыре строфы.

Траляля нежно улыбнулся и начал снова:

1. Впрочем, британские мосты бывают довольно вычурны.
2. Мэдлин Бассет — героиня саги о Дживсе и Вустере, склонная к безудержной сентиментальности. По словам самого Вустера, "девица Бассет была профессиональной созерцательницей красот". П. Г. Вудхаус. Ваша взяла, Дживс.
3. Впервые опубликовано в "Панче" 11 февраля 1903 года.
4. Все цитаты из "Алисы" даются в переводе Н. Демуровой.
5. De mortuis aut bene aut nihil (*лат.*) — о мертвых или хорошо, или ничего.

— О Плотник, — так промолвил Морж, —
Закон еды суров:
Источник радостей земных
Иссяк, как наш улов.
А Плотник слабо простонал:
— Я что-то нездоров.

— О, я так рада! – сказала Алиса.

"Мне жаль тебя, — заплакал Морж, —
Совсем угас твой взор.
Ты говоришь, что не здоров —
Таков удел обжор.
Хоть это странно, но и я
Похоже тоже хвор".

"Пришла пора, — промолвил Морж, —
Прибегнуть к докторам,
К таблеткам, к помощи микстур,
Пилюлям, порошкам.
И завещание пора
Уже составить нам".

Тут Плотник, вымолвив: "О, Устр...",
Тот час лишился сил
И тихо голову свою
Сложил в прибрежный ил.
Морж воздержался от речей —
Он вечным сном почил.

— А Плотник поправился? – спросила Алиса.

— Ни в коем разе! – сказал Труляля.

— Задом наперед, совсем наоборот! – сказал Траляля. – Он же умер.

— Так, – сказала Алиса, – огромное вам спасибо. Но мне не кажется, что последние строфы, так же хороши, как первые.

— Ах, – сказал Траляля, – очень может быть. Но зато они гораздо, гораздо правдивее. Видишь ли, беда в том, что те устрицы, как оказалось, водились вблизи сточных вод.

Тема, как видите, актуальная. Звучит современно.

Завершая этот краткий и далеко не полный обзор пародийного творчества Вудхауса, мы не можем не вспомнить рассказик, написанный им в другое время и по другому поводу. В переводе его можно было бы назвать, скажем, "Лирический приступ". Приступ сочинительства настигает Родни

Спелвина, в чьем образе явно угадывается А. А. Милн, автор "Винни-Пуха". Вудхаус пародирует не только его стиль, но и сам процесс сочинительства, благо повествовательная форма позволяет. Вот как Родни Спелвин работал над строчкой:

У Тимоти-Пимоти новый щеночек,
Хорошенький, маленький...

Под этим стояло:

"Нет! Минуточку!
Заменить кроликом...
(Ролик? Нолик? Столик? До колик? Тьфу.)
Нет, не то. Может, канарейку?
(Рейка, шейка, шлейка, лейка, лей-ка, рей-ка.)
Канарейки поют. Песенка? (Лесенка... — м-да).
А что, если просто птичка?
.....
Тимоти-Пимоти скок, скок, скок...

Тут Родни усомнился:
"Уже было? Может быть, "поскок"?" — и приписал на полях:

"А если хоп, хоп, хоп?" [1]

Однако насмешка Вудхауса, как всегда, легка и добродушна.

И напоследок еще одно стихотворение Вудхауса, "к делу совершенно не относящееся". "Помнится, таким образом однажды высказался Дживс. Он еще, кажется, упомянул о жаворонках и улитках, но это к делу не относится, так что не будем отвлекаться"[2]. Даже более того, "Задом наперед, совсем наоборот!" Жаворонки к делу, конечно, не относятся, а вот улитки... улитки — почти устрицы, а мы как раз *от них* и собираемся отвлечься.

1. Лирический приступ. Перевод Н. Трауберг, А. Азова.
2. П. Г. Вудхаус. Держим удар, Дживс.

Опечатка

Я из своих последних книг
Открыл одну, и что же?
Ее швырнул я в тот же миг
И закричал: "О, боже!
Со мной такое сделать вновь!" –
Сурово я нахмурил бровь,
А мог бы впасть в унынье.
Писал я так (отличный труд!),
Что, мол, похорошела Рут,
Став ныне (sic!) из тех девиц,
Кто повергает сразу ниц
Своих поклонников. И вот –
Столь безупречный оборот
Испортить мне,
Вписав "но не",
Там, где стояло "ныне"!

Закон, скажу наверняка,
К убийствам беспощаден:
Раз А прикончил Б, то к А
Закон весьма прохладен.
Считает он, что повод мал,
Когда писатель наповал
Убьет наборщика, и им
Подобный акт недопустим
Ни по какой причине.
Однако ради общих благ
Уж лучше сделать этот шаг:
Купить и вычистить ружье,
И дело выполнить свое,
И в тишине
Наедине
Убить вписавшего "но не"
Там, где стояло "ныне".

В его укромнейшей из нор
Нашел я негодяя.
"Приветик! Слушай приговор, –
Ему сказал тогда я. –
Я весел был и терпелив,
Когда менял ты 'граф' на 'гриф',

И на 'курсив' менял 'красив',
'Рябина' — на 'рабыня'.
Я не устраивал скандал,
Когда ты вместо 'гусь' вставлял
То 'лось', а то 'гусыня'.
Ошибку сделать так легко,
Но ты зашел, брат, далеко,
Вписав 'но не', хотя вполне
Мог знать, что надо 'ныне'.
Молись и кайся, видит бог! —
(Как ты сказал бы — 'бидит вог')
Готовься-ка к кончине!"

Двумя неделями поздней
Уже стоял в суде я.
Судья сказал: "Ну что, злодей?
Давай-ка побыстрее!
Тебе скажу я напрямик —
Мы мигом вынесем вердикт!
Итак, несчастный разгильдяй,
Есть что поведать нам? Валяй!
Так есть?" —
В ответ я: "И не
Представить вам, как много есть
Что рассказать мне, ваша честь.
Да, был он мною умерщвлен.
Что было делать, если он
Вписал 'но не'..." —
"О, горе мне! —
Судья сказал. — Где 'ныне'
Стояло? Это выше сил!
Я помню, так же поступил
Со мной один разиня.
Сэр! Вашу руку. Сей же час
Снимаю обвиненье с вас.
Закрыто дело. Очень рад!
(Кричала публика: "Виват!",
Забыв о благочинье.)

Теперь он в камне, как живой, —
На радость книголюбам
Увековечен наш герой
Признательным ПЕН-клубом.
Прочтут прохожие слова:
"Он отстоял свои права,

Он совершил поступок — меч
Не побоялся он извлечь,
Как следует мужчине,
И смело, не скупясь в цене,
Купил ружье и в тишине
Убил вписавшего ‘но не’,
Там, где стояло ‘ныне’”.
Не ради почестей и благ
Решился он на этот шаг,
А потому, что был он вне
Себя, когда нашел ‘но не’,
Где следовало ‘ныне’”.

Сельма Лагерлёф
Selma Lagerlöf
[1858–1940]. Шведский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1909].

Автор книг *Сага об Йёсте Берлинге* [*Gösta Berlings saga*, 1891], *Невидимые узы* [*Osynliga länkar*, 1894], *Чудеса антихриста* [*Antikrists mirakler*, 1897], *Предание о старом поместье* [*En herrgårdssägen*, 1899], *Деньги господина Арне* [*Herr Arnes penningar*, 1904], *Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции* [*Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige*, 1906–1907], *Дом Лильекруны* [*Liljecronas hem*, 1911], *Император Португальский* [*Kejsarn av Portugallien*, 1914], *Изгнанник* [*Bannlyst*, 1918], *Морбакка* [*Mårbacka*, 1922], *Мемуары ребенка* [*Ett barns memoarer*, 1930] и др.
Текст публикуется по изданию *Мемуары ребенка. Морбакка* II [*Ett barns memoarer. Mårbacka* II. Albert Bonniers Forlag AB, 2002].

Эрнест Миллер Хемингуэй
Ernest Miller Hemingway
[1899–1961]. Американский писатель. Лауреат Пулицеровской премии [1953], Нобелевской премии по литературе [1954].

Автор романов *И восходит солнце (Фиеста)* [*The Sun Also Rises*, 1926], *Прощай, оружие!* [*A Farewell to Arms*, 1929], *По ком звонит колокол* [*For Whom the Bell Tolls*, 1940] и др., повести *Старик и море* [*The Old Man and the Sea*, 1952], автобиографической книги *Праздник, который всегда с тобой* [*A Moveable Feast*, 1964] и др.
Текст публикуется по изданию *Dateline: Toronto Hemingway's Complete Toronto Star Dispatches 1920–1924* [United States: Charles Scribner's Sons, 1985].

Антуан де Сент-Экзюпери
Antoine de Saint-Exupery
[1900–1944]. Французский писатель и профессиональный летчик. Лауреат премии *Фемина* [1931], Большой премии Французской академии [1939], Национальной книжной премии США [1940].

Автор книг *Южный почтовый* [*Courrier Sud*, 1929; рус. перев. 1960], *Ночной полет* [*Vol de nuit*, 1931; рус. перев. 1962], *Планета людей* [*Terre des hommes*, 1938; рус. перев. 1957], *Военный летчик* [*Pilote de guerre*, 1942; рус. перев. 1963], *Маленький принц* [*Le petit prince*, 1943; рус. перев. 1958] и др.
Публикуемый репортаж взят из книги *Осмыслить жизнь* [*Un sens à la vie*. Paris: Gallimard, 1956].

Зигмунт Хаупт
Zygmunt Haupt
[1907–1975]. Польский писатель, художник, архитектор. Лауреат литературной премии парижского эмигрантского журнала *Культура* [1963], обладатель награды фонда имени Костельских [1971].

Автор репортажей, очерков и рассказов, публиковавшихся в периодической печати. Единственное прижизненное книжное издание – *Бумажный перстень* [*Pierścień z papieru*, 1963]. На русском языке два рассказа Хаупта опубликованы в издающемся в Польше журнале *Новая Польша* [2003, № 6].
Публикуемые рассказы *Tarok, Elektra* [I], *Elektra* [II] взяты из сборника *Баскский дьявол* [*Baskijski diabeł*. Warszawa: Czytelnik, 2008].

Лёринц Сабо Lőrinc Szabó [1900–1957]. Венгерский поэт. Лауреат премий имени Ференца Баумгартена [1932, 1937, 1943], имени Аттилы Йожефа [1954], имени Лайоша Кошута [1957].

Автор сборников *Земля, лес, бог* [*Föld, erdő, isten*, 1922], *Ты и мир* [*Te meg a világ*, 1932], *Сепаратный мир* [*Különbéke*, 1936], *Песня сверчка* [*Tücsökzene*, 1947] и др. На русском языке его стихи печатались в антологии *Венгерская поэзия. XX век* [М.: Художественная литература, 1960].
Публикуемые стихи взяты из книги *Избранные стихотворения* [*Osszegyujtött versei*. Budapest: Magvető, 1960].

Владимир Соломонович Познер Vladimir Solomonovich Pozner [1905–1992]. Русско- и франкоязычный поэт, переводчик, журналист, сценарист, критик.

Автор сборника *Стихи на случай* [*Poemes de circonstance*,1928], книги о русской литературе *Litterature russe* [1929], публицистической книги об СССР *Тысяча и один день* [*Mille et un jours*, 1967], романов *Закусив удила* [*Le Mors aux dents*, 1937], *Траур за сутки* [*Deuil en 24 heures*, 1942; в рус. перев. *До свиданья, Париж*, 1965], сборника рассказов *Место казни* [*Le Lieu du supplice*, 1959] и др.
Текст публикуется по изданию *Les États-Désunis* [Canada: Lux Éditeur, 2009].

Джозеф Редьярд Киплинг Joseph Rudyard Kipling [1865–1936]. Английский поэт и прозаик. Лауреат Нобелевской премии [1907].

Автор романов *Свет погас* [*The Light that Failed*, 1890; рус. перев. 1937] и *Ким* [*Kim*, 1901], книг рассказов и стихов *Книга джунглей* [*Jungle Book*, 1894] и *Вторая книга джунглей* [*The Second Jungle Book*, 1895], а также многих сборников стихотворений, новелл и сказок.

Владимир Андреевич Скороденко [р. 1937]. Критик, литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

Автор многих статей к изданиям на русском языке произведений британских, ирландских, американских, австралийских писателей. Составитель ряда антологий английской поэзии и английской новеллы. Переводил М. Спарк, А. Брукнер, С. Моэма, М. Р. Джеймса, Э. С. Гарднера, Р. Стаута и др. В *ИЛ* опубликован его перевод романа К. Исигуро *Остаток дня* [1996, № 11], глав из книги *Джеймс, каким мы его знали* [2005, № 10], рассказ Ю. Маккейба *Сирота* [2009, № 12], рецензия на книгу *Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!: Книга памяти А. М. Зверева* [2007, № 10] и др.

Симона Вейль Simone Weil [1909–1943]. Французская общественная деятельница, публицист, писатель, поэт, религиозный философ.

Автор философских трактатов, большого числа статей на социальные и политические темы, оригинальных исследований по истории религии, философии и литературы. При жизни публиковала в основном политические статьи в левых изданиях. Трактаты, отражающие христианский опыт Симоны Вейль, были изданы только после ее смерти. Среди переведенного на русский язык: *Илиада, или Поэма о силе* [*L'Iliade ou le poeme de la force*, 1940–1941; рус. перев. 1990], *Письмо клирику* [*Lettre à un religieux*, 1942; рус. перев. 2001, 2008], *Укоренение* [*L'Enracinement*, 1943; рус. перев. 2001], *Тя-*

жесть и благодать [*La pesanteur et la grâce*, 1940–1942; рус. перев. 2008], *Любовь к Богу и несчастье* [*L'Amour de Dieu et le Malheur*, 1942; рус. перев. 2009]. С 1999 г. издательство *Галлимар* осуществляет полное многотомное собрание ее сочинений. См. также сайт: www.simoneweil.ru

Переводы выполнены по изданию *Произведения* [*Œuvres*. PARIS: GALLIMARD, 1999]. Текст молитвы Симоны Вейль переведен по изданию *Полное собрание сочинений. Том 6. Тетради* [*Œuvres complètes. Tome 6. Cahiers*. PARIS: GALLIMARD, 2006].

АЛЬФРЕД ДЁБЛИН
ALFRED DÖBLIN
[1878–1957]. Немецкий писатель.

Автор романов *Три прыжка Ван Луня* [*Die drei Sprünge des Wang-lun*, 1915; рус. перев. 2006], *Валленштейн* [*Wallenstein*, 1920], *Манас* [*Manas*, 1927], *Берлин Александерплац* [*Berlin Alexanderplatz*, 1929; рус. перев. 1961], *Вавилонское странствие* [*Babylonische Wandrung*, 1934], трилогии *Амазонка* [*Amazonas*, 1937–1938], тетралогии *Ноябрь 1918. Немецкая революция* [*November 1918. Eine deutsche Revolution*, 1948–1950], *Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу* [*Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende*, 1956; рус. перев. 1983], сборника рассказов *Убийство одуванчика* [*Die Ermordung einer Butterblume*, 1913], многих пьес, теоретических эссе, очерка *Подруги-отравительницы* [*Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord*, 1924; рус. перев. 2006] и др.

Фрагменты романа *Горы моря и гиганты* публикуются по изданию *Berge Meere und Giganten* [MÜNCHEN: DEUTSCHER TASCHENBUCH VERLAG, 2006].

РОЖЕ ВИТРАК
ROGER VITRAC
[1899–1952]. Французский поэт и драматург.

Автор сборников поэзии *Черный фавн* [*Le faune noir*, 1919], *Знание смерти* [*Connaissance de la mort*, 1926], *Жестокость ночи* [*Cruautés de la nuit*, 1927] и др., пьес *Художник* [*Le peintre*, 1922], *Тайны любви* [*Les mystères de l'amour*, 1924], *Трафальгарский удар* [*Le coup de Trafalgar*, 1934], *Уличный торговец* [*Le Camelot*, 1936], *Ссора* [*La bagarre*, 1938], *Сабля моего отца* [*Le sabre de mon père*, 1950] и др.

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН
GILBERT KEITH CHESTERTON
[1874–1936]. Английский христианский мыслитель, журналист и писатель.

Его перу принадлежат несколько сотен стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, ряд пьес, романы *Человек, который был четвергом* [*The Man Who Was Thursday*, 1908], *Перелётный кабак* [*The Flying Inn*, 1914] и др. Широко известен благодаря циклам детективных новелл с главными персонажами Брауном и Фишером, а также религиозно-философских трактатов, посвящённых апологии христианства.

Текст публикуется по изданию *Рассказы, эссе, стихи* [*Stories, Essays, Poems*. LONDON: DENT, 1935].

Михаил Львович Матвеев
[р. 1958]. Математик, IT-специалист, переводчик с английского.

В его переводе выходили стихи Л. Кэрролла, Т. Гуда, О. Нэша, а также книга Л. Кэрролла *Фантасмагория и другие стихотворения* [2008].

Переводчики

Татьяна Михайловна Линденер
Историк, преподаватель русского языка как иностранного, переводчик со шведского. Живет в Стокгольме.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Елена Александровна Фельдман
Переводчик с английского. Студентка Литературного института имени А. М. Горького.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Марианна Юрьевна Кожевникова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили произведения Э. Ионеско, Ж. Жироду, П. Валери, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Саган, А. Арагона и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказа Я. Ю. Щепанского [2008, № 3], рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов книги В. Шимборской *Литературная почта, или Как стать / не стать писателем* [2009, № 7], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5] и др.

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники Шандора Мараи [1993, № 12], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2], Л. Краснахоркаи 2007, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], главы из романа *Белый король* Д. Драгомана [2008, № 7], фрагменты романа И. Силади *Камень в сухом колодце* [2010, № 5], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], Б. Балашши [2006, № 4], ф. Кёльчеи [2009, № 12] и др.

Людмила Генриховна Пружанская
Преподаватель, журналист, переводчик с французского, кандидат филологических наук. С 1993 г. живет в Монреале.

Автор многих публикаций об общественной и культурной жизни Квебека, вышедших в канадской, французской и российской прессе. В ее переводе издан роман Ж. Годбу *Привет, Галарно!* [2008]. В *ИЛ* опубликован ее перевод романа Ж. Годбу *Консьержка Пантеона* [2008, № 11], фрагменты книг А. Мажора *Улыбка Антона, или Прощание с романом* и *Переменчивое сознание* [2008, № 11] и др.

Наталья Рэмовна Резник
Поэт, переводчик с английского. С 1994 года живет в США.

Публиковалась в стихотворных сборниках и периодике. Детские стихи печатались в российском журнале *Веселые картинки*. В ее переводе выходили стихи А. Милна и Р. Киплинга.

Антон Владимирович Ротов
[р. 1965]. Поэт, переводчик англоязычной поэзии.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Брауннинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

Петр Владимирович Епифанов
[р. 1963]. Писатель, историк, литературовед. Живет в Подмосковье.

Автор двух книг прозы [2006, 2007], ряда литературных публикаций в журналах *Знамя*, *Звезда*, *Зинзивер*, *Русская провинция* [Тверь] и др., а также исторических и богословских статей. Переводы других сочинений Симоны Вейль, а также статьи о ней опубликованы в журнале *Континент* [2009, № 8] и на сайте *simoneweil.ru*.

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в ее переводе печатались повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], пьеса Э. Елинек *облака.дом.* [2008, № 9], отрывки из романа У. Телькампа *Башня* [2009, № 10] и др.

Татьяна Владимировна Чугунова
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе издавались статьи М. Пруста *Против Сент-Бева* [1999], романы Р. Радиге *Бес в крови* [2000], А. Маалуфа *Самарканд* [2003] и *Лев Африканский* [2004], Юлии Кристевой *Смерть в Византии* [2008] и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликован роман *Давний спор* С. Карьера [2007, № 4] и рассказы Л. Годе [2010, № 4].

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков. Обладатель почетного диплома критики зоИЛ [2009].

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон Х. Блума* [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], английские эссе *Национальные предрассудки* [2007, № 8], повесть Д. Лоджа *Горькая правда* [2009, № 4] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины австралийского художника Чарлза Мифра [1890—1961] *Австралийский пляж* [1940].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.07.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1330.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новос
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[9] 2010

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА РАЙНХАРДА ЙИРГЛЯ "В ОТКРЫТОМ МОРЕ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА РОБА ГИФФОРДА "ДОРОГИ КИТАЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ОДИНОЧКУ ВГЛУБЬ СТРАНЫ" / "ДВА ЭССЕ О НАБОКОВЕ" БОРИСА ПАРОМОНОВА В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE" / ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЕ ИСАБЕЛЬ ГАРСИА ЛОРКИ "ПАМЯТЬ МОЯ, ПАМЯТЬ" / ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР И ГЕОРГИ БОРИСОВ В РУБРИКЕ "НАШИ ИНТЕРВЬЮ"